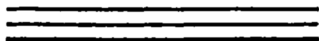
КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 1

ЯНВАРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ 

Набрано в 1-й Образцовой типографии. Отпечатано в типографии „Красный Пролетарий“, Москва, Пименовская, д. 16. Главл. № 24120. Зак. 8356. Тираж 15000. П. В. Гиз № 30025.

В тот вечер.

(Отрывки из романа «Энергия».)

Федор Гладков.

Как обычно, клуб был открыт в пять часов, и электричество расточительно брызгало лампочками во всех комнатах, чуланчиках и закоулках — на нижнем и на верхнем этаже. Вверху помещался районный клуб комсомольцев, и там всегда с раннего вечернего часа начинался молодой ералаш — далекий дурашливый хохот, певучий, спрятанный за дверями гомон голосов, визги девчат и песни в ненасытном горлане юношеских, только что рожденных басов. И неутомимый топот и возня глухим барабаном били в потолки нижних стильных комнат. Гордеев с усилием отворил тяжелую дубовую дверь в инкрустациях, шагнул в вестибюль и сразу же ослеп от ярких электрических шаров на стенах и пузатых колоннах. Он оглянулся на дверь и смерил ее сверху донизу маленькими упрямыми глазами; серые клочкастые брови его шевелились, как живые, — всползали на лоб и падали на глаза. Он высморкался в пальцы и крякнул. Потом ощутил, что усы отяжелели, и от того, что он сморкался, коркой ломались под пальцами. Не отнимая руки от лица, стал с болью сдирать сосульки и наотмашь бросать на пол. Он смотрел на дверь, точно впервые увидел ее, и удивился ее тяжелой прочности.

— Гляди вот, живоносец... строили хозяйственно, крепко, на всю жизнь... Дуб!.. — он строго ударил на этом слове: — дуб! в полтора вершка... Кремлевские затворы... Делали для себя — надежно и честно. А вот попало нашему брату — уже расколошматили. Такую твердь расколошматили... Эх, шашки-деревяшки!..

Говорил он, не видя никого и ни к кому не обращаясь, — сам с собою, как всегда по давнишней привычке. Говорил он и на работе, и по дороге, и у себя дома. Все знали Гордеева только с этой его привычкой и все были бы удивлены и встревожены, если бы он вдруг замолчал и ушел в себя. И когда Гордеев поднимался по широкой мраморной лестнице вестибюля, после своего тесного жилого угла в доме коммуны, чувствовал себя маленьким, дряблым среди огромных толстых колонн, похожих на вытянутые бочки, и огромных черных чудовищ по обе сто-

роны лестницы. Вестибюль был выдержан в строгом египетском стиле: и колонны, сплошь расписанные иероглифами, с листьями лотоса в капителях, и глянцевые черные сфинксы, ползущие к парадным дверям, и в иероглифах и лотосах карнизы у самого потолка. Поднимался по ступеням вверх, шлепал ладонями по туловищам сфинксов, по пузатым стволам колонн и по-хозяйски строго щупал их зоркими глазами, отвердевшими от пятидесятилетних наблюдений. В клочковатых седых усах над большим ртом и в седых паучиных бровях, таких же как усы, было что-то песье, и в них всегда шевелилось его внутреннее состояние. Они дрожали, ползали, подпрыгивали или замкнуто в ожидании опускались вниз, — и по их движению видно было, что чувствует Гордеев в разные минуты жизни, — не по глазам, не по лицу, не по его жестам, а только по его усам и бровям: они слушали, щупали, цепко наблюдали и кричали раньше, чем крик вырывался из горла. Вот и сейчас шлепал он по туловищам сфинксов, и усы его насмешливо ползали по мясистым губам, а брови дрыгали над острыми искорками глаз.

— Да, брат, строило купечество, возводило... для детей, внуков и правнуков... силу свою утверждали в камень... а мы вот расколошматили... расколошматили, живоносцы...

На верхней площадке вестибюля и в дверях, таких же огромных, дубовых, в инкрустациях, толкались рабочие, в шубах, в пальто, курили и вместе с дымом дышали паром друг другу в лицо. Здание было большое с множеством просторных и тесных комнат, оно пожирало большое количество топлива, и все-таки не было тепла: в зимние вечера люди ходили в шубах и шапках, и когда сидели в зрительном зале или в комнатах за шахматами и на репетициях в драмкружке, у всех мерзли ноги. И в клубе никогда не было тишины: во время лекций и докладов все переходили с места на место, в зале был топот, шорохи, передвижение толп; докладчик и лектор сами не стояли на месте, а шагали по сцене и зябко втягивали голову в воротник.

— Расколошматили, шашки-деревяшки... А вот какая от этого польза? от этих вот псов с бабьими мордами? Тоже, скажем, эти пустые столбы с узорами? Ни к чему. И псы и столбы — чтобы оторопь навести на нашего брата: не кажи носа, чумазый!.. А для своей шайки — пыль пустить, и из шальных денег выдувать мыльные пузыри. Жили — не тужили, жили — тянули жилы... А мы вот — на̀ тебе: колошматим, а мебель на чураки колем да на них картошку варим. Мельница... барабан... колесо...

И нельзя было понять, сердится он или радуется.

Рабочие стояли в пальто и шапках. Пальто и шапки — старые, дореволюционные, — потертые, с засаленными воротниками, с протертыми рукавами, а шапки с облезлой мерлушкой. В открытые двери видно было, как в зеркальных просторах зрительного зала, с карнизами и пилястрами классического стиля, в мутном огне электричества, грязного от табачного дыма, слонялись другие рабочие, в таких же пальто,

в серых шинелях, женщины в теплых платках, в коротких овчинных шубках, в кожанках, в старинных жакетках. Мелькали девчата в шляпках котелком, в ботиках, коротких модных юбках и тонких чулках. Издали видно было, что лица их покрыты пудрой, а глаза неестественно большие и темные. Оттуда звонко и певуче рокотало разноголосье и невнятно уносилось в глубину волнами эхо. Где-то далеко озорные руки без жалости колотили по клавишам рояля.

И оттого, что рабочие стояли кучей, лицо в лицо пыхали папиросами и, слушая галчиный голос человека, затертого в середине, смеялись взрывно и раскатисто, — у Гордеева захлебнулось сердце от обиды. Шел он сюда с глубокой душей, весь еще во власти неиспытанной скорби. Эти дни и ночи были иными, чем прежде: они были полны немого значения, — они были больше и глубже тех бесчисленных дней, которые ушли вместе с его жизнью: они были необъятны, полны молчаливого величия и раздумья, и жизнь его казалась ничтожной, бедной, как пылинка, в этих днях, которые насыщены были только одним словом — Ленин — и которые растворяли в себе его душу, и то, чем была его душа, нельзя было выразить словами. Вот и эти колонны, и псы, и сверкающие зеркалами стены, и эти люди, такие обыденные и близко знакомые, — всё было ничтожно, надоедно и чуждо душе. Вот они смеются, — должно быть, несут в анекдотах обычную похабщину, и девчонки не чувствуют этих дней — намазались, напудрились и скалят зубы с лоботрясами в каракулевых шапках, с выпученными бритыми лицами. Был он, как всегда, в своем цеху, работал за станком, но работа шла как-то сама собою: даже не помнит, как работал, — все смылось. И пища была противна: в заводской столовой была нудная вонь, — пахло кислой капустой, черным хлебом и помоями. Было такое состояние: точно он потерял что-то такое, без чего нельзя выйти из заводских корпусов. И когда шел домой — старался итти один, отдельно от всех, и все мучился, точно забыл какое-то важное слово, — силился вспомнить, понять, осмыслить и — никак не мог. Умер Ленин — Владимир Ильич. Все об этом говорили, и он думал об этом, а в чем был смысл и самая сердцевина, что̀ в этом для него было самое важное, от чего отяжелела его душа, — не мог найти и оформить. Было только одно: не мог выносить смеха, громкого разговора, обычных дневных хлопот, своей маленькой комнаты в доме коммуны с развешанным мокрым бельем на веревках, обычных будничных работ своей хлопотуньи-старухи. Всё было лишнее, неважное и шло вразрез с тем, что переживал он, Гордеев. Из кучки рабочих двое — один смуглый, глянцевый, с черными усами, в заячьей шапке-ушатке, а другой — бритый, с переломленным носом и вывороченными веками, в пухлом длинном пиджаке и серой шапке времен войны, — смешливо смотрели на Гордеева и громко скомандовали:

— Смирно! Гордеев идет.

— Гордеев нагрянул, живоносец... На караул, шашки-деревяшки!..

И смеялись одним кадыком.

Другие гоготали, слушая галчиную неразбериху затертого в середину веселого рассказня.

Гордеев взмахнул бровями и опять уронил их на глаза. Клочки серых усов покрывали губы и не шевелились. Он остановился на площадке у самых ступеней лестницы, быковато подумал и через брови посмотрел на рабочих.

— Чего скалитесь? чего глотку дерете? Такой ли для этого день? Не башки, а кадушки... Болторезы... В какую дыру глядите только? Не мозги, а мякина... Эх, живоносцы!..

А оба рабочие затопотали от радости, — один шлепнул себя по коленке, другой — по шапке, — и захлебнулись:

— Кгы-кгы-кгы...

Брови поднимались и опускались у Гордеева, и усы ползали по губам. Он постоял немного, плюнул, и весь костлявый, с отеками дряблой кожи на щеках и под подбородком, пошел в зал.

— Эх, шашки-деревяшки!..

В зале была бестолочь. В зеленом дыму люди толкались, шуровили густой толпой. Никто не стоял на месте: всё равно не устоять. В этой густой человеческой каше даже и ходить было нельзя спокойным шагом: толкали и в спину, и в бока, и в грудь, — и каждый мотылял из стороны в сторону, елозил по всему пространству зала, увязнувший в душном толпеже, насыщенном холодной сыростью испарений, кислотным запахом овчины и портянок. Каждый встречался с множеством лиц, с которыми сжился за эти последние годы и которые видел каждый день, — встречался с множеством глаз, улыбок, крепко сжатых челюстей. И волнами рокотал гул — крики и смех — без слов, без смысла, как стадное мычанье, и от этого дрожали стены, пол, и воздух клубился и плескался в лицо теплым паром и холодной пустотой нежилого, промороженного помещения.

Гордеев запутался и увяз в этой нудной и бестолковой толпе и не знал, куда итти и что делать. Он вглядывался в лица рабочих — молодежи и пожилых людей, — знакомых уже много лет, и чувствовал, что эти близкие люди — чужие ему, и не лежит его сердце к ним: они давят его, мешают думать о чем-то важном и большом. Когда пришел домой с завода, мучился в маленькой комнатке, похожей на кухню: сразу почувствовал себя одиноким, и весь многоэтажный дом придавил его огромной каменной глыбой, а он будто очутился в кубышке, в могиле, заваленной домашней рухлядью. И негде было сесть, нельзя было свободно шагнуть: на стульях лежало тряпье, посуда, ведро под ногами, корыто с намоченным бельем, табуретка, а комната опутана крест-накрест веревками. И всю комнату заполняла только старуха-ворчунья, хлопотунья-хозяйка, которая знала Москву только в пределах собственного квартала и рынка. Раньше он любил этот свой угол: он отдыхал после работы в уютной и душной конуре, и хлопотунья-старуха

с ее воркотней, с лицом старой собаки, прокопченным кухней за всю долгую совместную жизнь и похожим на лик почерневшей иконы, и эта ее неустанная возня в свалке жилого скарба, — все казалось уместным, надежно нерушимым, останавливающим время, а завтрашний день был осязаемым и плоским, как страница засаленной старой книги, которая перелистывалась из года в год множество раз. А теперь вот почувствовал, что сразу всё стало иным, невыносимо ничтожным и угрожающе тяжелым: невыносима комнатка, невыносима эта рухлядь, которая не давала ему ни шагнуть, ни сесть, ни отдохнуть от сверлящего металлом трудового дня. Впервые увидел, что и эта комната, и старуха, которая приросла к нему, как раковина, с далеких дней юности, похожих на угасающий сон, и этот по-вагонному набитый людьми многоэтажный дом, — всё стало вдруг безнадежным, безликим, жутким, как тюрьма, в которой он заключен на пожизненное заточение. Лизка... Но Лизку он видал только по праздничным дням, да и то по утрам: домой она приходила только ночью, когда он уже спал, изнуренный работой. Он даже забывал о ней, и она казалась ему чужой, оторванной от него силой, которая была выше его отцовской власти и против которой он не мог даже вымолвить слова.

Эта муравьиная толкотня, разбухшая от теплой одежды, многоликая и размытая от худосочного электричества и табачной мути, затягивала его в свое густое нутро, и он никак не мог освободиться от этих наплывающих на него лиц, беспричинно праздничных, вспыхивающих огоньками папирос в оскалах зубов с сизыми отблесками электричества на щеках, и лица эти казались похожими одно на другое — выпуклыми и слепыми, как пузыри. Чего они все ухмыляются? Почему они так глупеют от ожидания? Стоит ему поднять вверх руку, а на кулак надеть шапку, и вся эта орава дрогнет, забеспокоится, ринется к нему со всех сторон и, выдавливая из него кишки, загогочет, заорет сборищем идиотов.

Было одиноко и у себя в конуре со старухой, которая понимала его только через домашние вещи. А пришел сюда, и здесь тоже одинок. Вот она, молодежь: скалит зубы — и парни и девки — и занята только собою. Они — эти юнцы — плавают в собственных волнах. Их лица немного пьяны, и в пристальных глазах и вздрагивающих улыбках вспыхивают намеки и тайные вздохи. Им нет дела до него, до его тоски, — они его не видят.

Около стены и в углу кучей барахтались, толкались, мяли друг друга, орали ребята. Они сидели на стильных стульях, креслах и диванах с неоклассической орнаментацией. Мебель кряхтела и трещала в последних потугах сдержать эту ораву, орущую смехом. И каждую субботу, после одиннадцати часов, завхоз Ежов, длинный, тощий, с носом грача, с собачьим подвываньем выносил вниз, в подвальные ночные пустоты, обломки стульев и бросал их в кучу, а потом сжигал на очаге: на них очень скоро вскипал чайник и хорошо кипела картошка.

У Гордеева задохнулось сердце. Как старый мастер, который сжился со своим станком, он вкладывал всего себя в работу, и вещи, которые выходили из его рук, он любил и всегда делал их честно и красиво. Он любовался ими, гладил их и ласково пошлепывал, как живых. И эту любовь и любованье он перенес и на чужие вещи, которые выходили из рук другого, неведомого ему, хорошего мастера. А эти стулья и кресла были прекрасной работы, и он всегда, когда приходил в клуб, осматривал их, поглаживал и восторженно бормотал обычные слова:

— Эх, шашки-деревяшки... золотые были руки у живоносцев...

И вот эти вещи орава балбесов ломает: они не знают, сколько потрачено на них труда, любви и настоящего человеческого сердца.

— Эй, вы, поганцы сопливые... Живодавы!.. Я вам уши оборву, хабарникам... Вон отсюда! Я вам покажу, как вещи ломать... Вам только одно — громить, шарлатанам... А руки, которые их делали — знаете?..

И с трясущейся челюстью, за шиворот стал разбрасывать ребят в разные стороны. А они орали и нахально смотрели ему в лицо.

— Ну, полегче, старый чорт... чего разбушевался?.. Не твое добро, и нечего шебаршить... Ишь, какой хозяин нашелся!.. Пораспоряжайся: мы тебе всыпем в загривок, старый кобель...

А у него дрожали складки кожи, и брови и усы прыгали и ползали, как живые.

— Ах, вы бандиты!.. сосунки!.. Что вы понимаете в вещах? беречь надо... беречь пуще глаза... Ее делали неспроста: для пользы человека... А вы вот крушите... все колошматите... Колошматьте!.. Бейте!.. Ломайте!.. Мерзавцы!.. Взяли в свои руки — крушите, в щепки всё... Делать — на это вас нет, лодырей, а крушить вы — мастера...

И, как всегда, толпились люди около Гордеева и гоготали ему в лицо:

— Разоряется Гордеев... Он, брат, везде разоряется... Он, брат, задаст перцу — попадись ему под руку...

И он с обидой и отчаянием видел, что все смотрят на него как на забавника, не чуют его гнева и не понимают его возмущения.

Он пошел через душную гущу, сам не зная куда и зачем: лишь бы не видеть этого слепого издевательства над вещами. Потом понял: не может вынести этого озорного барабанного звона у рояля Помнил, что здесь было два таких инструмента. Стояли они, огромные, в черном глянце, важно изгибаясь боками. Заколошматили. Что-то изломали, порвали струны, искалечили клавиши, и их увезли куда-то, а на их место появился новый — вот этот красавец. И его забарабанят, и его увезут так же, искалеченного и разбитого, как и прежние.

Эта вся густая толпа в суматошном муравьином движении, подгоняемая волнами нутряного гомона, в перекликах и пересмехах, в праздном и терпеливом ожидании, сбивалась в непролазные кучи, распирала стены, как в обычные вечера клубных зрелищ. Так и казалось, что распахнется парусиновый занавес, выйдет конферансье—

белобрысый, угреватый, с разбухшим носом от хронического насморка — Шурка Шпигель, секретарь фабкома — и заломается, как клоун. Рабочие постарше стояли длинным рядом вдоль стены, плечом к плечу, и спинами терли обои.

— Ничем не проймешь, шашки-деревяшки... Пришли на гульбище... Ничем не возьмешь мерзавца-человека, кроме дурацкого балагана. Умри спокойно — и ухом не поведут, а удавись — валом повалят поглазеть на высунутый язык...

На рояле сидело трое парней в кожанках и шапках-ушатках и все враз болтали ногами и хрюкали поросятами. Опираясь плечом о клавиатуру, тупо, с застывшей улыбкой блаженного бездумья, парень, тоже в кожанке и тоже в ушатке, упрямо и назойливо тыкал пальцем в клавиши. И от каждого удара что-то стукало внутри рояля, как молотком, и весь рояль и парни на нем звонили, как колокола. И эти молотки и колокола нагло били по голове и по сердцу Гордеева изуродованным звоном «чижика».

— Ну, чего колотишь? Чего колошматишь вещь своими дурьими руками? Ко времю ли, сопливый чорт? Эх, безотцовщина, шашки-деревяшки!..

На него глядели быками и скалили зубы. Парень не шевелился и бил по клавишам с пьяным обалдением.

— Ну, иди, иди... Проходи стороной без причала, а то разом штаны спустим и вставим перо... Жарь, Макарка! веселей!.. Подпевай, ребята, и работай ногами враз... не сбивай размера — в рядах пойдешь... Репетируй!

У Гордеева онемели и руки и ноги, будто он отсидел их, и они не могли двигаться, пронизанные миллионами иголок. Сердце захлебнулось и стало большим и тяжелым, как туго надутый пузырь. Нудная боль, которая горечью и тошнотой мутила его нутро, кровью бросилась в голову, и сразу же лицо его покрылось потом, и он заметался, как в горячке. Все пятьдесят лет его жизни нестерпимой болью воспалились нарывами и залили мозг гноем. Жизнь прожита впустую: вся работа его рук, вся его сила, поглощаемая машинами и взятая по частям несметным числом изготовленных им вещей, гибнет у него на глазах. Почему он раньше этого не замечал? А теперь вот точно все оголилось, и на каждом шагу он натыкается на безумный остервенелый погром. Он привык видеть в каждой вещи частицу самого себя, и все эти неизвестные ему мастера, разбросанные по всему миру, были кровно с ним связаны: он ощущал их в себе через вещи, через простое прикосновение к ним своих пальцев, протравленных металлическими опилками и пылью. Эти болваны не вещи разбивали, а оскорбляли и калечили человека, который жил в этих вещах. Этого он не мог переносить: не мог переносить, как все эти люди не уважают своего труда и топчут свою жизнь, свою душу в безудержной жажде истребления.

Гордеев схватил за шиворот парня и со всего размаху бросил его на пол. Слов нельзя было разобрать в его хрипе. Он только дрожал,

топал ногами, а глаза у него были такие, каких никто никогда не видел: они выползли наружу, залитые горячей влагой, и струились кровью.

Парни, которые сидели на рояле, сначала застыли в изумлении и испуге. Они растерянно смотрели на Гордеева и на товарища и не знали, что делать, пришибленные неожиданностью. Парень быстро вскочил на ноги, и как слепой, изуродованный злобой, быком бросился на Гордеева, размахивая кулаками. И как только парни услышали этот звериный вой, они все сразу спрыгнули с рояля и со всех сторон сдавили Гордеева пухлой удушливой кожей. Близко, почти около своего лица, он видел только осатанелые глаза и задыхался от их дыхания, прогорклого от табачного перегара.

Сразу же весь зал из его широкой пустоты надвинулся густой гулкой толпой на Гордеева, и в то же время сильные руки отбросили насевших на него парней, а Гордеева оттеснили к стене двое рабочих. Это были Молокососов, предзавкома (смутно узнал по хохлацким усам) и Коваль — секретарь ячейки (увидел его уже потом, по-цыгански смуглого и жаркого, в черной небритой щетине).

Молокососов держал его подмышку, лукаво и смешливо щурил глаза и скалил широкие зубы из-под густых мочек усов, которые болтались хлопьями ниже квадратного подбородка.

— Ну, не кирпичись, Гордеев. Вот горячка идолова!.. Все тебе мешают, и всех ты берешь на метлу...

Гордеев смотрел на него прыгающими бровями, и в глазах его кровью наливались отчаяние и гнев. Он покорно прислонился спиною к стене, долго не мог выговорить слова. Было похоже, что из горла его рвется плач и он никак не может сдержать его.

Коваль был спокоен и тускло поблескивал бронзовым отливом на щеках и на твердом горбатом носу, похожем на топор. Он не улыбался, был замкнут, точно знал больше, чем знали другие, был будто глух и смотрел мимо Гордеева, Молокососова, мимо людей и видел то, что не видели другие.

Скандал затихал и растворялся в гомоне толпы. Парней оттащили куда-то далеко, и их проглотила густая толпа, жадная до зрелищ.

Коваль вдруг заползал глазами по лицу Гордеева и с прежним застывшим лицом, без всякого выражения, но с мыслью, скрытой от всех, рассеянно и натужливо сказал:

— Гордеев — прав. Я понимаю Гордеева. Гордеева надо ценить. Мы слишком распоясались, невнимательны к себе, друг к другу и к своему хозяйству. Надо подтянуть молодежь.

А Молокососов никак не мог сдержать смеха; хохлацкие усы его точно были ненастоящие и трепались ниже подбородка весело и молодо, так и казалось, что он тряхнет головой и запоет залихватскую песню. Он взял руку Гордеева, сразмаху шлепнул по ней правой ладонью и потряс ее. И засмеялся писклявым мальчишечьим хохотом.

— Гордеев?.. Да я его знаю пятнадцать годов... Это, брат, старикан надежный... Да вот — буза... балалайка... Везде ты бузишь, и все тебе мешают... Знамя понесешь сейчас, имей в виду... Будешь в корню...

Коваль с тем же замкнутым лицом, без улыбки, сосредоточенный на одной мысли, отвернулся и пошел к двери, в черную дыру коридора.

Молокососов взял Гордеева под руку и повел его вслед за Ковалем.

— Эх, шашки-деревяшки... Живоносцы!.. Хозяева!.. Бить — мы хозяева, а для дела — еще нос в соплях. Колошматить — на это мы мастера, а насчет труда — это чужому дяде... Рабы, Молокососов!.. Все колошматим, живоносец: и хари, и станки, и всякую вещь... Сколь мебели было — всю искрошили и сожгли. Бульвар и тот весь измызгали — всю деревь ободрали. Стекла бьем, двери бьем и в стены сморкаемся. Ведь всё наше, Молокососов: наша кровь, наш пот. Деды и отцы наши трудились, сложили кости... (Он тыкал черным пальцем в разные стороны.) Все это — наша жизнь, кости наших отцов... А что мы делаем?.. Хранить бы и любоваться... Эх, живоносцы!..

Молокососов стал вдруг серьезным и хмурым, и лицо его стало похоже на морду мопса. Всегда, как он только становился деловито-строгим, он начинал хныкать и прочищать горло ревущим кряканьем, точно у него першило в глотке. Подумал, помолчал и дружески похлопал Гордеева по спине.

— В партию тебе надо, Гордеев. Вот оно как. Расхулиганились — верно. Строительство называется, а сами — стоп-брынь, балалайка... корежим все и не уважаем друг друга. Восстанавливаем производство, а сами волыним и тянемся к пьяной лавочке. Понатыкали пивных на каждом углу, а там — чистый притон. Обидно, Гордеев... что говорить. Верно. Вот — клуб, а что — клуб? Казарма. Пустобрех. Людей нет. Не знают, что надо, — не знают, за что взяться. А мы не знаем, как занять себя, и несем в себе старого беса: какое мы удовольствие видим, кроме пьянства? В партию тебе надо, Гордеев. Вот оно как.

Шли по узкому кривому коридору, — справа стена была выпуклая, слева — вогнутая. Лампочки горели далеко одна от другой, и когда одна исчезала позади, за поворотом, другая не была еще видна. В коридоре было сумеречно и призрачно, и только стены туманились рыжим отраженным огнем. Пахло сыростью, мышами и грязью.

Гордеев остановился перед дверью и погладил ее ладонью. Ощупал то место, где ручка и замок — все ли в порядке?

— Вот оно, шашки-деревяшки... Видал? На той неделе было, а теперь... Выворотили с мясом... Эх, живоносцы!..

Наклонился и стал внимательно осматривать и ощупывать со старческим свистом и хрипом в дыхании. Молокососов стоял рядом и смеялся.

— А верно, потешный ты, Гордеев. Тут — такие дни, а ты во всякую щель залезаешь, как таракан. Люди враспах глядят, а ты свои глаза —

в дырочку. Вот Владимир Ильич лежит там... сотни тысяч людей прут, а ты — как мышь скребешь по уголкам...

Гордеев медленно и костисто выпрямился и через брови, лохматые, без глаз уставился на Молокососова.

— Так пускай дерут? выворачивают замки и ручки? вывинчивают лампочки? громят мебель и выбивают стекла? Так оно, шашки-деревяшки? А чем же мы поминать-то его будем? С какой душой глядеть-то будем на него? Он учил нас, дураков, а мы — враспах, верхоглядами? Он долбил нам каждый день: учитесь, живоносцы, хозяйничать, а мы — враспах, как мародеры... Обдираем все по частям, как грабители... да — в карман, да — в пивную, да — в свою нору... Хозяева! Ежели не уважаешь общее достояние и только умеешь плевать в открытую дверь, — не ходи к нему...

Молокососов опять взял его под руку и смеялся ласково и конфузливо:

— Ну, и злой же ты, Гордеев. Злой и навязчивый, как свекор... А совсем тебя не страшно. Правильно ты режешь, балалайка, да никто всерьез не берет. Надоедаешь больно. И к делу, и не к делу. Чего-то в тебе нет. В одиночку хлещешь. Ну, пойдем. Знамя возьмешь, как старейший рабочий.

Дверь распахнулась, и Гордеев ослеп от яркого белого света. Комната была маленькая, нарядная, похожая на часовню, — вся расписанная фресками и причудливыми арабесками с позолотой. Вся она от потолка до пола была выдержана в мавританском стиле. Двери и ниши — в форме червонных тузов. Всюду — лепная тонкая вязь, как кружево, и надписи на карнизах — на незнакомом далеком языке. Вся она была чужая, загадочная и немая, как татарская мечеть. Коваль стоял в переднем углу и разворачивал бархатное знамя с золотой надписью и с золотым копьем на конце древка.

* * *

С распущенным знаменем в руках Гордеев увяз в толпе, обалдевшей от грязной мути табачного дыма и от собственной тесноты. Людей стало еще больше, они копошились, мяли друг друга, раздавленные, ослепшие в массе сросшихся спин и плеч, но Гордеев видел, как эти бесчисленные, безликие кучи голов точно арбузы плавали в незримом омуте. Все кружились на месте, продирались изо всех сил с выпученными глазами и там вдали забивали напором открытую дверь в вестибюль. Дверь раскрыта была во весь распах, и в квадратную пустоту над головами видны были верхние части египетских колонн с листьями лотоса в капителях, а за ними — дымные сумерки в призрачной лепке карнизов. И от этого неудержимого движения раздавленных людей дрожал пол угрожающей судорогой, дрожали стены, встряхивался и волновался занавес на сцене, точно за ним тоже толпились люди и колыхали его своим движением. Зеркала в простенках проваливались в глубину тоже бурым дымом и сплошным засевом плавающих шапок и кожаных картузов. Непролазное нутро

этой изнуренной и грузной толпы рычало стонами, криками, гулом, потрясая воздух: может быть, от этого неумолкаемого рычанья дрожал пол и стены и колыхался занавес на сцене, может быть, от этого тускло горели лампочки у потолка, в квадратах, разделенных пересекающимися матицами в стиле римских триклиниумов.

— А ну-ка, дорогу, шашки-деревяшки!.. Давай, давай!..

Толпа густо, тестообразно расползалась перед знаменем и опять сливалась позади в сплоченную массу, только впереди и позади она взволнованно ворошилась и пузырилась, взбаламученная тяжело и важно стекающими складками знамени. Все эти вороха голов густели вокруг него, подползали со всех сторон. Задние ряды накатывались на передние, сбивались в тесные сгустки. Гордеева уже не было видно, а знамя, как живое, вздрагивало, дышало и толчками крылато плыло к выходной двери в вестибюль.

— Да что же это?.. Товарищи?.. Раздавили же!..

— Полегче, черти... Ребра ведь трещат... понимаете или нет?

— Как не понять, папаша... понимаем...

Женские вскрики раскалывались как плач:

— Ой, не могу!.. Да что же это за бешеные!..

— Ай, мама, умру!.. Девочки!..

Где-то в разных местах хулиганили парни:

— Нажми, братишки... Наддай, мальчики...

— Да что вы, черти паршивые?.. Где вы?.. С ума вы спятили, окаянные...

Было мучительно и тошно, панически хотелось выбраться скорее на улицу, на мороз, скрипучий от снега, и облегченно поглядеть на звезды.

Позади Гордеева шли Коваль и Молокососов. И все время пока продвигались до двери, Молокососов вскрикивал тоненьким мальчишечьим визгом:

— Товарищи!.. Сейчас же на улице — по четыре в ряд.. Организованно, товарищи, а не балалайкой... Наш завод всегда был примером... Не подгадь, товарищи... Надо знать, куда идем...

Коваль молчал, занятый своими мыслями, и будто совсем не видел людей, которые тискали его и мяли кости.

Гордеев крепко держал древко знамени и шел истово и строго, как хоругвеносец. Брови и усы его сурово, с угрюмой углубленностью, неподвижно лохматились на лице, он быком пер в людскую гущу и только мычал властно, со старческой хрипотцой:

— Давай, давай!.. Сторонись, живоносцы!..

А на него смотрели и смеялись. Не могли не смеяться, когда видели Гордеева. Смеялись снисходительно и добродушно: точно все, что делал и говорил Гордеев, было несерьезно и совсем не шло к нему.

Как только Гордеев вышел на улицу и лицо его обожгло морозом, а под ногами упруго заскрипел снег, он сразу почувствовал, что та мутная тоска, которая мучила его в эти дни — и на заводе, и дома, и в этой клуб-

ной толпе, — уже не ест его сердце: оно бьется полнокровно и необычно молодо. Он твердо воткнул в снег древко, и оно отнизу доверху вздрогнуло, захрустело и зазвенело струной. За ним Молокососов покрикивал бабьим голоском, суетился и распоряжался: строил в ряды людей, которых уже нельзя было узнать в снежном голубом сумраке, — все были чернофиолетовы и похожи друг на друга. В распахе двери — удушливая толчея: должно быть, сбились в ней упругой пробкой. Топотали, надсадно и придавленно мычали, мурзились и вылетали кучами. Потом разбегались в разные стороны и смеялись. Становились в ряды, изнуренно дышали, как после борьбы.

Звезд не было, — небо мутно и огнисто дымилось в разных местах далекими заревами, и от этого казалось, что где-то далеко на окраинах, а может быть, в районах центра полыхали пожары. Раз за разом эта опаловая муть вспыхивала далекими и близкими молниями — зелеными разрядами на трамвайных проводах. На бульваре призрачно голубели инеем густые вороха деревьев. Они были похожи на застывшие клубы тумана. Когда мимо, лязгая, проносился с сиренным воем огненный трамвай, деревья четко рассыпались кружевной горящей паутиной и кружились над трамваем, как живые. И, как всегда, в эти вечерние часы, по бульвару, под облачной паутиной деревьев, сидели на скамейках мутными тенями молчаливые пары, окоченевшие в любовной обнимке. Какое им дело до Гордеева со знаменем в руках и до этой толпы, которая клокотала в мутных дверях, копошилась за его спиною в перекликах и пересмехе и привычно вырезала из толпежной сутолоки строгие ровные ряды? На конце тротуара, около угла здания, наверху чугунного столба, горел газовый фонарь, и свет от него, отраженный металлическим диском, падал только на угол дома, на тротуар и на мостовую. И тяжелые складки знамени, с горбатой старческой фигурой Гордеева, казались не красными, а черными. А когда полотно встряхивалось и колыхалось сверху донизу в руках Гордеева, смутные и изуродованные буквы искрились и переливались в огне фонаря, точно знамя тоже было покрыто кристаллами инея.

Где-то очень далеко подземным гулом поплыл над Москвою тяжелый металлический вздох огромного колокола. Этот странный звон могуче, плавно, мягко насытил и небо и необъятный размах ночного города до самых горизонтов, пел долго, и звук его был такой же туманный и ночной, как воздух и небо. На вокзале в один раз закричали гудки паровозов — один тоненький, игрушечный, другой — басовитый и хриплый. И как только врезались в звон эти гудки, — все опять стало маленьким, обыденным, скучным: и людская суета в перекликах, в гомоне и пересмехах, и дома, мутные и льдистые, замороженные ночью, и изъезженный снег на мостовой в искрах, которые лучились не то над снегом, не то внутри его зернисто-сахарной белизны. Потом опять необъятным вздохом загудел металлом далекий колокол, будто гигантской струной запел весь город в погребальной печали. И опять внутри у Гордеева заныла вместе с этим

звоном мутная тоска. Вот он стоит со знаменем в руках, позади него строятся люди в ряды. Здесь, за его спиною, они ежатся от мороза, дышат паром, топчут снег, и улица скрипит и повизгивает от множества ног. В переднем ряду, за ним, никого нет из тех, с кем прожил он свою жизнь на заводе: все — молодежь, которая живет своей жизнью, далекой и недоступной для него, как давно угасшая юность. Может быть, и он был такой же когда-то, как эти бритые рёбята с крепкими мускулами и с глазами, не знающими скорби, потому что они, эти мозгляки, не знают того, что знает он, и не видят того, что видит он, Гордеев. Он привык уже к их снисходительной насмешке: для них он был уже не просто Гордеев, а человек, перерожденный в машину. И все его слова, волнения и жесты были смешны для них и непонятны. Вот и сейчас они не замечают его, не чувствуют его тоски, — не чувствуют, что он — одинок, что впереди, недалеко — могила. Владимир Ильич... вот он тоже ушел из жизни таких же лет, как и он, Гордеев и его, Владимира Ильича, должно быть, тоже многие не понимали и смеялись над ним, и у него тоже, должно быть, была такая же мутная тоска и одиночество.

Мыча и грохая, промчался опять трамвай с мерзлыми стеклами, как горящий перламутр, и на них, встряхиваясь, толкались кучи теней, а на задней площадке была немая давка. Куда едут эти люди? И вперед, и назад вагоны прожорливо набивают людьми свои утробы, тяжело, со стоном и воем, несут их по ночным промороженным улицам. Зеленая ослепительная молния вспыхнула над трамвайной дугой, и бульвар, и улица, и дома волшебно ожили, встрепенулись и заколыхались с крылатой легкостью, а потом опять потухли и отвердели — стали меньше и темнее. С провода упало несколько огненных капель на крышу трамвая. Одна — самая большая, красная, — скатилась с крыши вниз и исчезла в снегу.

В огнистой мути неба — не поймешь откуда — необъятно и глухо рокотал очень далекий гул, точно ломался лед на реке и громоздился горами, или где-то вдали завывала по крышам вьюга. И звон далекого колокола, и этот тоже далекий и воздушный гул города, и ночные туманные зори над крышами, и далекие и близкие вспышки зеленых молний были по-ночному тревожны, полны неясного смысла и космического величия. Стоял Гордеев со знаменем в руке и чувствовал, как зыбится в нем вся прожитая его жизнь, прикованная к маленьким вещам и к тесной конуре. И точно впервые испытал он эти дрожащие зори, и этот необъятный далекий гул, и звон города, и эту толпу, живущую иною жизнью, и ему было грустно, что жизнь его прошла и больше не воскреснет.

На бульваре заорал на всю улицу какой-то парень. Орал он как раз против Гордеева, но его не было видно.

— Гришка! Иди, чорт прелый. Тебя Нюшка ждет. Гришка!

«Эх, дураки, живоносцы!.. В такой вечер и в такой час. Ничего не знают и ничего не чуют, собаки...»

В дверях забесновались в веселой горластой сутолоке комсомольцы. Визжали девчонки, хохотали и завывали парни. Они не могли совладать

с своей молодостью и были похожи на табун молодых жеребят. Они гур: бою нахлынули на Гордеева и сразу же, с привычной уверенностью, ст: ли впереди него нанизывать ряды, толкаясь, подпираясь плечами, нетеј пеливо приплясывая и поднимая ералашный гвалт.

Коваль будто не замечал комсомольцев и, глядя мимо Гордеев: глубоко засунув руки в карманы полушубка, думал о чем-то неотложном простом, повседневном. И сейчас, как и всегда, похож был на очень з: нятого человека, которого неожиданно оторвали от дела, а это дело нужн выполнить немедленно.

— Я видел Ильича два года назад на съезде Советов. Ты помниш Гордеев, как он был у нас на заводе?

Он не дождался ответа, будто сам ответил себе за Гордеева, и поше назад в задние ряды, смылся в рыжем полумраке, только хрустнул по его ногами сухой, примороженный снег.

Гордеев стоял в прогалине между рядами комсомольцев и рабочих оторванный от тех и других. У него замерзали пальцы до нудной ломоты и он часто менял руки. От мороза скрипел и звенел воздух, снег в отблес ках фонаря блестел в накатах санных полозьев, как стекло, а гранитны цоколь клубного здания переливался на огне рыбьей чешуей.

К нему неожиданно, неизвестно откуда, вплотную подошла Лиз под руку с Шагаевым. Он привык к этому: она всегда являлась неожидан но — и домой, и на дороге, и на заводе, и в клубе. И так же неожиданн убегала. Как всегда, дышала шумно, запыхавшись, в глазастой усмешке и всегда спешила. Он не знал, что она делает, чем живет и где проводи время. А беспокоился, как бы чего не случилось с девочкой. Вот и сейчас дышала срывно, всей грудью, открытым ртом и смеялась глазастым лицом точно быстро бежала сюда, чтобы не опоздать.

— Это ты, папашка?.. Ты это зачем тут со знаменем? Разве тво место здесь? А ну-ка, иди, иди!.. Ты должен быть впереди... Вон там в головке у комсомольцев... А ну-ка, ну-ка!.

И она взяла его под руку и потащила за собою.

Она всегда так обращалась с ним: не говорила, а командовала с ве селой молодцеватостью, — туркала его и подталкивала, и он не успева. отвечать ей, собраться с мыслями, оборвать и одернуть. Так и сейчас он молча подчинился ей и, положив на плечо древко знамени, зашорка. валенками мимо рядов комсомольцев. А комсомольцы ежились от холода приплясывали, толкались в рядах, угощали друг друга тумаками и вкус но крякали от юности и мороза. И каждый ряд провожал Гордеева пере путанными криками и смехом, и голоса были, как чужие — ни мужские ни мальчишечьи.

— Гордеев идет... Ползет живоносец... шашки-деревяшки.. Двигай Гордеев!..

— Герой, живоносец... Красное знамя — больше самого героя.. Чудеса!..

Горласто и табунно гоготали, приплясывали и шлепали в ладоши

— Лизка, ты что это, чортова кукла, разлагаешься? За отрыв от массы взгреть тебе надо по первое число. Кто тебя избирал в головку?.. Карьеру строишь, чортова перечница... в вожди лезешь... на командные высоты... Марш сюда, в ряды!.. Лизочка!.. Родненькая!.. Лизок!..

А Лиза смеялась и никак не могла настроить голос на сердитый упор:

— Вот, шпана, оболтусы... Им хоть башку расколоти или нежно погладь по головке — один чорт: только зубы скалят и строят из себя идиотов. Товарищ Шагаев, сюда!.. Становись рядом с папашкой: ты — по одну сторону, я — по другую, а то папашка не выдюжит: он — старенький, и ему нужна опора. Не робей, папашка: плечи—наши молодые, а руки — крепкие. Впрочем, что я?.. Ты ведь товарищ Шагаев, сам нуждаешься в поддержке: у тебя ведь нет крепкой идеологической выдержанности... Интеллигенция ты гнилая...

И захлебывалась своими словами, разрывала их вздрагивающим смехом, и смех тоже захлебывался горячим дыханьем.

Шагаев стал плечо в плечо с Гордеевым и, заглядывая ему в щетинистое лицо, взял его под руку и пожал ее в локте.

— Дайте мне знамя, товарищ Гордеев: я понесу его. Руки у вас уже окоченели.

Гордеев шевельнул усами, брови его быстро прыгнули на лоб и воткнулись в шапку.

— Не шебути, живоносец. Я — еще не калека. Дело пока терпит. Там видно будет. Сердце у тебя — шелковое: это — хорошо. А погляди на этих вот сморчков, — сердца у них нет. Не сердце, а шашка-деревяшка. Раньше человек узнавался по сердцу, а теперь — по нахрапу. Стали изображать из себя хозяевов и — сердце потеряли. Живешь средь людей — будто в лесу. Одни пеньки, а человек скопытился. Вот в чем затычка, живоносец...

Шагаев чувствовал иное: за ним плескалась молодежь, и волны ее проходили через него горячими наплесками. Они стояли в твердо отсеченных рядах, привычно, не ломая линий, но ряды эти все-таки несдерживали напора молодости. А Лиза в коротеньком пальтишке и в заячьей шапке с длинными хвостатыми наушниками, крутилась на месте и, круглолицая, глазастая, будто дразнила и подзадоривала парней своим бойко вздернутым носом. Шагаев волновался от этой неуёмной ядреной возни ребят. Он чувствовал их кровь: избыток ее переливался в его жилы, и сердце его молодо и беспричинно замирало от ожидания: хотелось твердо, всем упором ног итти вдоль бульвара и отбивать шаги—итти долго, бодро и наслаждаться жизнью, сгущенной в этих рядах.

Гордеев ворчал и переминался с ноги на ногу: видно было, что они у него коченели. Шагаев засмеялся и сам удивился своему смеху: к этому не было никакого повода.

— Нет, товарищ Гордеев. Вы поглядите на них: ведь это — удивительная молодежь. Такой молодежи в мое время не было. Она была слишком худосочна и забита — хмурая, тусклая, без будущего. Она умирала

еще в отроческом возрасте. И той жизни, которая бурлит в этой горсточк комсомольцев, хватило бы на несколько прежних поколений. Вспомнит о себе, товарищ Гордеев: как вы прожили свои юные годы? Это была бе: радостная юность. А вот теперь в одной вашей Лизе заключена цела эпоха. Каждый комсомолец наших дней, это — целая законченная полс са нашей истории. Это — сгущенная энергия, которая в наших условия создает социализм: ни больше, ни меньше, товарищ Гордеев.

Он опять пожал его руку выше локтя и ласково смотрел в брови которые не улыбались.

— Вы тоже значительный человек, товарищ Гордеев: в вас тоже зак лючена целая тяжелая эпоха нашей истории.

Гордеев дрогнул головой, размяк и засопел.

— То-то оно и есть, живоносец. В наше время молодежь была скром нее, и к старикам было уважение и страх. А теперь вместо сердца — ло ханка с помоями. Очерствели люди. Все — в рядах, по дисциплине, душевного, своего человека не ущупаешь. Вместо сердца — железна: болванка... Вот в тебе я чую сердце: ты — душевный, пристальны человек. А где же другие люди? Или люди застыли в эти годы, или кров у них — не кровь, а грязная вода?

Хрумкая снегом, по-мальчишечьи подбежал Молокососов. Он шлеп нул руку об руку, потом наотмашь ударил по шапке, и в полумраке ка залось, что его хохлацкие усы смеялись.

— Ну, как, Гордеев? Значит, пошагали стройными рядами? Жаль музыки нет: не полагается. Нам снежок будет играть барабаном. Ого, п одну руку — пролетарская интеллигенция... насчет идеологии, а по дру гую — юный коммунар. Ну, а мы уж с Ковалем будем как бы комсоставом

Он отшагнул назад, к тротуару, и строго посмотрел на ряды моло дежи.

— Вот что, ребята. Возьмите себя в зубы и хвосты спрячьте межд ног. Ни на минуту не забывайте, что идем к праху товарища Ленина Это — на всю жизнь. Самая хорошая музыка сейчас, это — молчание Кроме ваших шагов, чтобы ничего не было слышно. Ленин умер, дороги друзья, а дух его жизни в нас. Докажите на деле. Вот и все. Точка.

Он замолчал и прислушался, с пристальным лицом. Комсомольць стихли, но еще бормотали, хихикали и толкались плечами.

— Ну-ка, я послушаю. Все меня поняли, ребята?

Молчание и неподвижность застыли в рядах. Тихо и спокойно был сзади у рабочих. Молокососов поднял руку и тихо, как-то немного грустно со вздохом, скомандовал:

— Ну, пошли, ребята. Трогай, Гордеев. Шаго-ом!..

И Шагаев впервые почувствовал, что на бульварных проездах и н бульваре было пустынно и тихо, и от этого весь размах бульварного про- странства будто раздвинулся шире; что-то новое было в этой безлюдной тишине, какая-то тревожная углубленность, какой-то огромный нече- ловеческий вопрос, на который готовится где-то внутри этих облуплен-

ных стен, обожженных огненными годами, суровый и такой же огромный ответ. Он слышал только наплывающий на него мерный хруст множества ног и невольно сам шагал в один грузный удар, не отставая и не прибавляя шагу, и как всегда, утопая в рядах рабочих масс, сразу ощутил себя окрыленным, с другою кровью, без обычных вопросов, без обособленных мыслей, которые скребли мозг, как мыши по ночам. Он терял себя, а чувствовал только всех, и ему чудилось, что эти колонны тянутся бесконечно далеко назад, — есть только масса, которая идет, подчиняясь только себе, и не может не итти, потому что сама подчиняется могучему закону множественного движения. В пустынных проездах бульвара слепые стены домов и голубые облака заснеженных деревьев рокотали, хрустели отраженным звоном и скрежетом, и казалось, что и эти дома и дымчатая паутина ветвей тоже движутся и колышутся, оживленные горячей силой человеческого ритма. Впереди, на площади, горели созвездия, а слева, по линии тротуара, к этим созвездиям прямой падающей линией лучились другие звезды: ближе — редкие, далекие одна от другой, яркие, а дальше — частые и маленькие. И там, у этих далеких созвездий, улица суживалась, как воронка, была туманна, и этот туман сам горел тусклым зеленым огнем.

Мороз был сухой и жгучий, и воздух рассыпался искрами. Мерзли щеки, уши, слезились глаза, и было трудно дышать.

Рядом молча шоркал валенками Гордеев, горбатился еще больше, бычился от натуги и нес знамя с истовой углубленностью. И Лиза шла молча, немного откинувшись назад, и от этого грудь ее поднималась высоко, как у зрелой женщины.

На площади было необычно пусто: народ уже не толпился у трамвайных остановок. Только одинокие горбатые фигуры торопливо хрустели по тротуарам или, пересекая площадь, горящую от снега, молча скрипели в сторону бульвара, а от бульвара — в улицы. Высоко на стройных чугунных столбах электричество горело ослепительно ярко, — невыносимо было глядеть на стеклянные полушария, готовые лопнуть от напора обильного света. Воздух был здесь будто гуще, и весь размах площади леденел от голубого дыма. Он мутно горел у фонарей опаловыми кругами, а от них острыми призрачными языками искрились вверх фосфорические вихри — сколько огней, столько и вихрей. Только здесь, на площади, впервые заметила Лиза эти сказочные странные вихри. Вдоль по проезду бульвара и в перспективах улиц ниспадающие четки огней тоже огнились этими острыми вихрями. Они были похожи на исполинские свечи, холодные, серебристые, тревожные, как знаменье. Здесь, вблизи, они трепетали искрами, как радужная мошкара. И от того, что эта сказочная горящая пыль летала, не падая на землю, и искрилась над фонарями тревожными языками, острыми, как кинжалы, в сердце Лизы плеснула волна восторга. Сердце волновалось у ней еще с раннего вечера, как только пришла она в клуб, и всё ей чудилось, что где-то и близко и далеко стройный большой хор поет чудесную песню, которую хотелось слушать без конца. И странно,

что эта же песня заполняла ее всю и тогда, когда она путалась в толі ребят, когда она отбивалась от навязчивых парней, когда хохотала и ла: лась с ними, а когда уходила в другие комнаты, где было пусто и холодi и пахло кошками и грязью, — песня немела, и она слышала только, ка где-то внизу хлопали двери, а рядом, под полом, грызли дерево крысь

И вот здесь, на площади, эти фосфорические вихри над фонарям тоже невиданные, фантастические, всколыхнули сердце горячей волно радости. Будто сердце стало неиспытанно большим, — оно замиралс летело на широких крыльях. И всё — и бурые многоэтажные домі и седые паутины деревьев на бульваре, и электрические огни, и эти круі лые часы с раскаленным циферблатом, — все было живое, имело сво облик, двигалось, колыхалось и говорило своим языком. Неудержим тянуло раскинуть руки, закинуть высоко голову и запеть какую-то ши рокую песню, похожую на гимн, которую не пел еще никто и никогда Уже не дразнили, не лезли к ней назойливо ребята в передних рядах и шла она впереди не в тесном месиве, а рядом со старым папашкой, то варищем Гордеевым, со знаменем в руках. А по другую сторону папашки — товарищ Шагаев, немного рыхлый в движениях, с сердцем, которое всегда плескалось улыбками и лаской. Вот она — впереди, а за нею, позади — колонны рабочих. Они тянутся далеко, почти на целый квартал и тоже волнуются в движении, и множество ног потрясает улицу, а бульвар домà, площадь хрипло вздыхают и звонко рокочут отраженными взрывами шагов. Эти волны колонн плывут на нее в ритме движения, в звоне промороженного снега, в сдержанном невнятном говоре, похожем на дыхание толпы, и она не может выйти из этих живых, упругих человеческих волн, не может оторваться от них, будто вся сила, которая плещется от задних рядов вплоть до красного знамени, проходит через ее кровь и делает ее, Лизу, большой, больше всех, сильной и крылатой. Стоит ей взмахнуть руками и крикнуть с призывным восторгом: «Товарищи, за мной!» и побежать вперед — так, просто, от переизбытка сил, — и все ринутся за ней с таким же как вот у ней восторгом и криками самозабвения. Но колонны шли мерно и неторопливо, с суровым спокойствием, сосредоточенно и замкнуто. Из распаха боковой улицы вступал на площадь, тоже молчаливый и угрюмый, отряд с таким же знаменем впереди.

Улица была пустынна и лунно горела снегом. Дома неприютно громоздились мшистыми утесами. У парадных дверей и у ворот дремотно спускались с палок длинные полотна, и нельзя было понять — красные они были или черные.

* * *

На углу Воздвиженки остановились. Гордеев воткнул древко в промороженный снег, и оно опять запело и задрожало, как струна.

С Воздвиженки на Моховую дугой заворачивал такой же молчаливый отряд рабочих. Ряды старательно шли в ногу, и казалось, что сапоги у всех были со скрипом. Эхо разнесло этот нахлынувший скрип

множества ног по площади, и этим скрипом зашелестел и Коминтерн с длинным фасадом в размашистых полотнищах, и грузный манеж, сарайно приплюснутый, и белая круглая Кутафья — мертвая древность. Круглые часы с огненно-льдистым циферблатом стояли одиноко и замкнуто. Когда Лиза взглянула на мутно-огненный круг, длинная черная стрелка стрекнула вправо и дрогнула.

— Минутка... Прыгнула минутка...

Лиза засмеялась, неизвестно отчего, и всё смотрела на стрелку, — ждала, когда она коротко стрекнет и дрогнет между черными цифрами.

Огней было мало, — не все горели фонари, — и огненные мечи над фонарями были неподвижны и фосфорно-бледны. Где-то, не то близко, не то далеко, вспыхивали отраженные зеленые молнии, и от этих вспышек вздрагивали и небо и здания.

Обжигало морозом уши, и нос больно свертывался в крошечную сосульку. Лиза схватилась за уши и заплясала на одном месте.

По морозцу босичком
К милому ходила...

Гордеев стоял, горбатый, старчески ушедший в себя, и от мороза серые усы его и брови выросли будто еще больше: брови закрывали глаза, а усы — весь подбородок.

— Дура! чего егозишь?.. чего стрекочешь, сорока?..

И Гордееву опять стало лихо: будто это — не Лизка, не дочка, а чужая незнакомая ветреница. Всё в ней было ново — не от его тесной конуры, где пахнет только старухой, всегда уставшей, распаренной кухней и ежедневной стиркой. Как-то так случилось, что Лизка будто незаметно и очень давно исчезла из семьи, и он забыл о ней. Когда она приходила домой, он спал, а когда ночным утром уходил на завод, спала она, свернувшись калачиком на полу и укутавшись с головой. Он не видел ее даже по праздникам и помнил ее только такой, какой она была три-четыре года назад, еще мокроносой девчушкой. Он вглядывался в нее и не мог понять ее, не мог привыкнуть к ней, и ему было больно, что девка рвет в его жизни какую-то последнюю дорогую жилочку.

А Лиза будто не слышала окрика отца, скалилась обожженным лицом и все притопывала, согревая уши ладошками.

К Мейерхольду я пошла
Поглазеть Рогатого.
Рогоносца не нашла,
А нашла носатого...

Отряд рабочих с Воздвиженки уже шел по Моховой, и головы впереди волновались вразнобой, а над головами, вдали, звездочкой мерцал наконечник знамени. В заднем ряду люди шагали не в ногу, торопились, толкались плечами и смешно горбатились, чтобы не отстать.

Позади комсомольцы гурьбой зябко топотали и скрежетали снегом.

— Ну, пошли, что ли... Эй, Гордеев, поводырь, старикан!.. Какого чорта?.. Шагай!.. Молокососов!..

Молокососов вынырнул откуда-то сбоку, так же внезапно, как и раньше. Лицо его было красное и жухлое от мороза, а хохлацкие усы смеялись обычной ухмылкой. Концы их около рта белели и искрились от инея, и было похоже, что он скалит зубы от неудержимого хохота.

— Ну, ходу, Гордеев! Пойдем и мы по Моховой.

Махнул рукой и пошел рядом с Гордеевым.

А Шагаев шел с Лизой под руку и говорил ей, точно читал лекцию:

— Ты много раз проходила мимо манежа и, вероятно, не обращала на него внимания, Лиза. А между прочим, это — памятник тяжелой эпохи рабства. Это здание предназначено было для верховой езды и для тренировки лошадей. Здесь прохлаждалась золотая, то есть аристократическая, молодежь. Здание построено в классическом стиле лучшими художниками того времени — Ботанкуром и Бове. Это было сто лет назад. Запомни, что это — могильный склеп крепостного деспотизма. Он создан из костей и крови рабов, наших прадедов. Как видишь, они строили на века, и им в голову не приходило, что это замечательное здание когда-нибудь будет использовано их же рабами, но уже господами страны, для гаража, что одно и то же, что для конюшни.

Лиза подпрыгивала, хваталась за коленки и смеялась.

— Ну, и наплевать! У меня коленки замерзли, а он рассказывает мне о каких-то дураках. Были и нет их, а я вот есть.

Гордеев тыкал рукою в здание и крякал от удовольствия.

— Вот, шашки-деревяшки, а? Гляди, как строили люди: великая крепость, до скончания дней. Крепкого состава были люди и знали свою силу, живоносцы. Вот у кого надо учиться нам, чертям, как делать свою жизнь. А мы — только крушить, мочалить, плевать в зеркала, волынить и бить друг другу рожи. Шантрапа!.. Ну-ка, сковырни его, попробуй: никакая революция не возьмет... шалишь...

И он несколько раз толкнул Молокососова плечом, точно хотел попробовать крепость и основательность здания.

— А ну-ка, старый чорт, не бузи. Чего бузишь? Не пузырись, друг, и не плети лаптей, а гляди в корень. Разве мы не можем строить? Строим. Кто строит нашу страну? Мы. Не чужой дядя.

— Мы! Мы! Эх, шашки-деревяшки! Вот и Ильича растоптали, как топчем всякую вещь, живоносец. Мызгуны, наплеваки... наймиты, матери вашей чорт. Мы! Мы!

Гордеев ссутулился еще больше и зашоркал валенками, как чурбаками.

Молокососов стукнул его кулаком по спине, по-дружески взял под локоть и засмеялся мягко, молодо и тепло.

— Ну, молчок, Гордеев. Чудак ты, ведь никто тебя так не любит, как я. Балалайка ты старая! Погляди, какая девка-то у тебя растет молодец: вся — в отца.

— Эту девку драть надо, как сидорову козу. Бродяжка и бездомница. От таких девок добра не жди. Может, она уж потаскушка, шашки-деревяшки. Может быть, уж брюхатая... Не девки сейчас, а — сучки...

Гордеев онемел от неожиданности. Лиза бросилась к нему сбоку и смяла его. Древко знамени взметнулось и упало ему на плечо. Произошло это быстро и оглушило его. Лиза глядела злым, изуродованным лицом и сказала спокойно и неслыханно дерзко:

— Ты, папашка, порешь дурацкую чушь. Я тебе не позволю говорить про меня эти поганые слова. Посмей только сбрехнуть в другой раз...

И опять исчезла — слилась с фигурой Шагаева.

А Молокососов всхлипнул от смеха, и усы его трепанулись, как клочки пакли.

— Видал? Теперь, брат, этой молодежи на хвост не наступишь! Руки обломают и усы выдерут. Здорово умеют постоять за себя.

Гордеев чучелом шел около Молокососова и не знал, что делать. Точно его спутали по рукам и ногам, и он лишился языка. Древко дрожало в руках и падало на плечо. Брови неудержимо таращились на лоб, подпрыгивали, а усы щекотали подбородок. Сердце падало куда-то вниз живота и тошнотно тонуло в кишках. Случилось такое, чего никак не могло случиться. Была Лизка, которую он когда-то тютюшкал, кормил своими руками. Когда он приходил с работы, она воробушком порхала около него, путалась в ногах, пухленькая и беленькая, как калачик, и причитала: «Папочка, мой папочка, миленький папочка!..» И вот вдруг этот цыпленок незаметно и давно оторвался от семьи и гнезда, пропадал где-то на задворках, а потом неожиданно поднимается на дыбы и дерзко хлопает крыльями. Если бы это было дома, где все привычно и всякая вещь твердо лежит на своем месте, а мысли спокойны и обычны, — он убил бы ее. Вот—отряд рабочих, который идет позади, шоркая сотнями ног, — сила, которую он не может превозмочь, а он — только ничтожная пылинка в этой толпе, построенной в ряды. И Лизка здесь — не дочь, не цыпленок, который беспомощно дышит в руках и дрожит в горячей судороге, а одна из волн, которые плещут через него из задних рядов. Вот он несет знамя, как старейший рабочий, и за ним, как за знаменосцем, идут плечом к плечу сотни человек, а у него дрожат руки и ноги, и кряхтит старость в ногах. Он слышал, как сквозь сон, слова Шагаева, который говорил спокойно, будто ничего не случилось:

— Здесь каждый дом — целая эпоха. Это — памятники, по которым можно читать, как по книге, пережитую трагедию наших отцов и кровавое торжество господствующих классов. Вот, например, университет. Это здание строили лучшие художники, и в нем могли учиться только дети дворян. Наши отцы и деды должны были только знать ярмо и кнут и рабским трудом своим обеспечить блестящего шелопая в этом храме науки. Другой пример — стены и башни Кремля. Эти башни — суровой сказочной красоты: их воздвигали итальянские и английские мастера. Эти башни служили не только для защиты от врагов, но и для варварской,

кошмарной расправы со своими классовыми врагами. Их погибли сотни и тысячи в невероятных пытках. Эти башни, стены, земля, на которую они опираются, Красная площадь залиты кровью, пропитаны ею на большую глубину. Так диктатура класса утверждала свою мощь. Это надо знать, Лиза, чтобы понять закономерность нашей диктатуры. И работа нашей Чека, как ни ужасаются наши классовые враги, вчерашние свирепые господа и диктаторы, — работа нашей Чека, в сравнении с сыскным приказом или с жандармскими застенками, кажется шаловливой игрой грудного ребенка. Но теперь все эти башни — только музейная редкость, а стены университета — для нашей рабочей и крестьянской молодежи, для потомков замученных, затерзанных рабов, которые могли только плакать кровавыми слезами и петь песни, похожие на стон.

Лиза прижималась к его руке и ласково смеялась.

— Ну, какой же ты хороший, товарищ Шагаев. Замечательный. Хоть и интеллигент паршивый, а я тебя люблю. Расскажи мне что-нибудь о Ленине. Я — дура и ничего о нем не знаю. Каждый день слышу: товарищ Ленин, товарищ Ленин... а никак не вижу его и не знаю...

Шагаев запнулся и промычал что-то неопределенное в звуке. Потом засмеялся конфузливо и растерянно.

— Ленин? А я сам не знаю. О нем нельзя ничего рассказывать. Его нельзя передать в словах, как человека. Понимаешь — невозможно передать... Я не могу, Лиза. Не могу, потому что не знаю. Я никогда не видал его, а читал только его книги.

Отряд колыхался позади, упруго хрустели шаги — множество ног, связанных ритмом, — хрр, хрр... и волны движения, мягкие, живые, шли издали, перегоняя людей, а люди чувствовались неудержимой лавиной в дыхании, в шагах, умноженных на ряды, в невнятном говоре, спрятанном внутри зыбкой массы, — в каждом ряду, который сам был отдельной теплой волной.

Улица была пустынна: тротуары обезлюдили (милиция не пропускала пешеходов), и огни в перламутровых стеклах магазинов мутнели золотой чешуей и блистали причудливыми растениями и цветами, а за ними красными размытыми квадратиками огнились кумачи. В прорехи проталин выглядывало в ночную улицу лицо Ленина — и не лицо, а только обрывки лица — лоб, щека и бородка, половина лба и глаз, зорко смотрящий в бок. Трамваи звякали, выли и визжали железом где-то очень далеко впереди — должно быть, на Лубянской площади, а здесь, на Моховой, рельсы были уже затоптаны снегом и убегали из-под ног вверх к Охотному ряду, как гигантские струны на грифе, суживаясь вдали и поблескивая тусклым металлом.

Очень далеко вспыхивали зеленые молнии.

На углу Тверской, на тротуаре у первого Дома советов, толпился народ — вольные граждане. Тут была плотная пробка. Пересекая Тверскую поперек, стояли красноармейцы с винтовками, конные милиционеры, на иззябших лошадях. Несколько пеших милиционеров махали руками

на толпу и оттесняли ее обратно на Тверскую. Люди толпились, крикливо спорили с милиционерами, тоже махали руками, хотели прорваться вперед, а потом бессильно отмахивались и исчезали, а на место их выныривали другие. На другой стороне улицы, плотно прижимаясь друг к другу, стояли попарно тоже люди. Они стояли успокоенно, терпеливо и бесконечным хвостом уползали вверх по Тверской. Передний отряд рабочих шел уже по площади Охотного ряда, и видно было, как четко шевелились фигуры на-ходу и поблескивала звездочка знамени. Там вдали, в морозной лунно горящей мути, осевшей сгущенной тьмой, расплывались по площади огромные толпы, и кубическая церковь Прасковии-пятницы громоздилась над черными толпами белой ледяной башней.

Огни электричества рассыпались по площади беспорядочным частым засевом: вдали — густо и звездно, а вблизи — ослепительно, редко, в длинных ресницах, и над ними всюду пламенели сказочные мечи. С фасадов длинными полотнами спускались флаги, и опять нельзя было понять — черные они были или красные. И было странно и непривычно от неиспытанной густой тишины, от этих звездных огней с пламенными мечами, от неподвижных длинных полотен, от молчаливых групп милиционеров, странно вытянутых, сбитых в плотный комок. От этого тишина была необъятно широкой, тревожной, торжественной, полной глубокого смысла. И от этой необъятной тишины хотелось стоять неподвижно и молчать, уйти в себя и ждать — долго, всю ночь, до рассвета.

Гордеев остановился перед милиционером, который оторвался от кучки товарищей и молча поднял навстречу ему руку. Наушники его шапки плотно закрывали уши и шею и были завязаны у подбородка, и от этого голова у него, красная, суживалась кверху булочкой. Лицо его было костляво, брито, с птичьим носом, омертвевшее от мороза, а глаза — маленькие, подслеповатые, с роскосью. От пристального взгляда он винтил головой и никак не мог поймать лица Гордеева. Передние ряды отряда нахлынули на плечи Гордеева и упруго остановились.

— В чем дело? Стой, товарищ, не напирай — затор. Опять остановка на полустанке.

И ряды затормозились, загомонили, задымились паром от дыхания и зябко сбились в непролазный сгусток.

— Чей отряд?

Голос милиционера простудно сипел и вздрагивал, но был строг и казенно-недружелюбен.

Молокососов сразмаху ткнул кулаком в свои хохлацкие усы и крякнул:

— Наш отряд — с завода «Герой труда». Я — предзавком. Комсомольцы и рабочие.

Милиционер винтил головой и никак не мог поймать лица Молокососова.

— Собственно говоря, придется обождать.

— Как это так — «собственно говоря?» Наш завод — самый большой в Москве... рабочие-металлисты всегда шли в первых рядах, а вы со своим «собственно говоря»...

— Вот именно, товарищ. Вы не стойте на посту и не имеете понятия насчет правил. А тут, собственно говоря, специальные инструкции.

— Вот, шашки-деревяшки. Режет он правильно. Исполняет... Это — хорошо, живоносец.

Прихлынули комсомольцы и задышали паром.

— В чем дело? Шагай, ребята, чего там. Какие-такие инструкции? У нас — знамя, и вы не имеете права задерживать. Трогай, Гордеев. Чего торгуешься, Молокососов? Это, брат, отряд с завода «Герой труда», а — не фунт изюму... шире дорогу! Бери приступом баррикады, ребята. Шуруй!

Милиционер строго винтил головой.

Лиза приплясывала перед Шагаевым, прижимала руки к ушам и с лицом, изуродованным морозом, приговаривала в такт:

— Коле́ночки, коленочки мои... оморозила коленочки свои... Не коленочки — ледяшечки...

И вдруг присела — схватилась за ноги.

— Совсем деревянные, мерзавки, — чистые костыли. И чего, дура, не надела теплых штанов... идиотка! Прямо издыхаю.

Мороз жег лица, и воздух дымился мглой. Кожа мертвела, и раз за разом по ней пробегала боль.

У трамвайной остановки горел костер. Около него стояли черные и вспыхивающие фигуры красноармейцев и милиционеров. Они пристально смотрели на костер и не двигались, как очарованные. А издали, от необъятной толпы, неясной, туманно-черной, плыли странные, нутряные волны, и снег на площади и под ногами тоже будто волновался, а в воздухе зыбился гул, будто где-то далеко выл на крышах ветер.

Подошел другой милиционер с длинной шеей, которая болталась в воротнике шинели и была слишком тонка для головы. При каждом шаге голова таращилась подбородком вперед, и человек был похож на гуся, который целится ущипнуть. Лицо его было рябое и долгоносое, слишком рабочее, и пенснэ на носу было непомерно маленькое и совсем не шло к нему.

— Это что такое? отряд, товарищи?

Кто-то из комсомольцев съехидничал смешливо:

— Нет, это — бандиты. Ты протри хорошенько свои зеркала, мильтоша.

А первый милиционер все винтил головою, вытер нос перчаткой и вдруг озлился.

— Вот оно — одно горе с печалью: стой, мерзни, распинайся, жизнь, — можно сказать, — на карту, подыхаешь с голоду, — и в награду от своего же брата — мильтон, собачья кличка.

Комсомольцы вздрогнули смехом и сразу повеселели. Кто-то хлопнул его по спине и, захлебываясь от радости, крикнул, покрывая голоса:

— Чудак парень — сирота-обида! Мильтон есть великий человек английской нации. Его почитали короли и вельможи.

Молокососов трепанул усами и засмеялся пискливо и восторженно.

— А у нас этих королевских любимчиков обратили в собачьи клички. Хорошо, что только одного мильтона дали милиции на общее пользование.

Милиционеры обиделись и замкнулись.

Гордеев забычился и заворочал головою из стороны в сторону:

— Эх, шашки-деревяшки! и тут не обходишься без того, чтобы не обмызгать верного человека. Только и мочалим, только и топчем, живоносцы...

Милиционер в пенснэ повернулся на каблуке и махнул рукою.

— Проходи, товарищи!

И пошел вперед, к кучке других милиционеров, а за ним натужливо пошагал и первый.

Все отхлынули назад и быстро вытянулись в ряд. Гордеев поднял знамя и зашоркал валенками.

Совсем неожиданно около Лизы завихлялась маленькая горбатенькая старушонка. Одета она была в длинное мужское пальто, подпоясанное тряпьем, а голова закутана шалью, и от этого голова была непомерно велика. Старушка семенила около Лизы, наскакивала на нее курицей, хваталась за ее рукава и взвизгивала в плаксивой настойчивости. Откуда она взялась, как она прорвалась сквозь заграждения — неизвестно.

— Родненькая, красавица моя, рыбка золотая! Я уж — с тобой... Не гони меня. Куда мне, старой мокрице, толкаться по улицам? Сомнут, все кости переломают, деточка. Закоченела вся... Уж сколь часов бьюсь, чтобы попасть к нему... Дай мне поглядеть на него, милого... поклониться ему, непутевому грешнику...

Эта старушка сразу привлекла к себе Лизу. Ей стало вдруг тепло и весело.

— Ты с ума сошла, тетища! Сама ты — непутевая грешница.

— Так, так, родненькая. Так, так, деточка... грешница... непутевая... Охальница была в молодости, в твоих летах. Не серчай, красавица... Такая же была, как ты вот...

— Да откуда ты знаешь, какая я? Я — смирная и тихоня.

— Вижу, вижу, глазастая. Всё у тебя есть и всё тебе мало. До греха ты жадная, как и я была. Сколь мытарства, сколь слез, сколь греха прошло через душу! Он меня поймет, он меня узнает. Не может он меня не понять. Пройти через кровь, пройти через людей не может немудрый.

Лиза смеялась, и ей хотелось грубить и издеваться над старухой.

— Ну, иди, бабка... только в ногу иди. Не топчись, не юли, как собачонка. Хоть ты и глупая, а очень интересная.

— Ну, да, интересная... очень даже интересная, деточка. И глупая и дура набитая.

Она трепалась около Лизы, семенила не в ногу и была похожа на бабу-ягу.

— Не отставай, бабка. Сомнут тебя. Откуда ты такая взялась, и какой леший погнал тебя в эту мельницу? Дай-ка я тебя потащу, стожильная

— Так, так, девочка, правда твоя, — стожильная. Мяли меня мяли, вся в мозолях, и никакие меня не перемелят жернова. Вы, молодые, — хлипкие, а я вот живу семой десяток и чурбачком докачусь до ста Живущая! Не возьмешь ни мытьем ни катаньем. От грехов человек богаче. И весь человек — черепаха: не возьмешь ни кнутом, ни пинком ни злобой...

Лиза шалила со старухой, как с веселым сказочным уродом.

— Ну, кто ты такая, тетища, и с какого неба свалилась? Совсем ты ненужная. Взять бы тебя в толчки и под зад коленом, а расставаться с тобой жалко: уж очень занятная.

— Так, так, плотичка-рыбочка: очень я даже занятная. И совсем я ненужная — истинно. Умница ты. Старость — как язва: она, лихая, — неизлечимая. Я к нему, милому грешнику, трепалась многажды раз в эти самые Горки, да пути к нему были заказаны. Я — мать, деточка, страдная мать. И сыночки мои сгорели в собственной крови. А кровь молодая — сочная, и земля до нее — жадная. Эта кровь сыновняя коснулась и его, грешника, и кровью этой мы связаны. Он вот за ними идет, за моими сыночками, а путь мой один теперь — предуказанный...

И вплоть до самого Дома союзов Лиза болтала со старухой, а старуха трепалась около нее и изнемогала от быстрого шага отряда. Она задыхалась, горбатилась еще больше, шмыгала носом, сморкалась в пальцы, и непонятно было — плакала она или смеялась.

Колонны на фасаде были усыпаны огнями и будто сами горели изнутра, как янтарные. Стекали длинные красные полотнища, и они тоже были похожи на колонны. Гигантскими огненными крыльями пластались всюду по фасаду черно-алые холсты, и на них трепетали, кричали ослепительные слова.

Всё пространство от площади Свердлова до Охотного ряда было засеяно сплошными толпами, а перед огненным фасадом эти толпы сбивались в плотное текучее море. Здесь уж не было отдельного человека, оторванных групп и отрядов: здесь волновалась только однородная, упругая, прессованная масса, которая извилистыми потоками ползла медленно, напряженно, густо, в пару дыхания. В дверях были грохот, гул и крики боли и радости: там за дверями, внутри, шла какая-то жуткая работа машин — может быть, там дрались, душили друг друга, падали, ломали кости и топтали мозги. А люди все-таки неудержимо и жадно тянулись к узкой квадратной дыре, не умещались в ней, давили грудные клетки и ребра и со стонами проваливались в огненное нутро, точно в раскаленную печь.

В дверях стояли красноармейцы, что-то надсадно кричали и выполняли какую-то странную работу с людьми.

Казалось, что эти толпы на площади были несметны и бесконечно текли со всех сторон. Они текли и по склону, с Лубянской площади, и с площади Революции, и с Охотного ряда. Они терялись истоками за домами, в переулках, в улицах, как во время великих демонстраций, когда вся Москва выходит половодьем из берегов. И всюду крылато дрожали плакаты, знамена, реяли, переплетались в беспокойных порывах к полету.

И как только Гордеев утонул в этих толпах и чьей-то властной рукой был введен в стройную линию колонн, он сразу почувствовал строгое спокойствие, чинность и глубокий непререкаемый смысл в этом размеренном, рассчитанном движении человеческого множества. Он не оглядывался, а знал, что его отряд стал плотнее, потерял свою обособленность и подчинялся каким-то особым законам, которым подчиняются армии и согласованный массовый труд. Вот уж два дня беспрерывно, и день и ночь, текут и прибойно несутся эти человеческие массы, — они движутся, как великая река во время ледохода. Когда кончится этот разлив и где его последние всплески?

Гордеев уже забыл, что около него, направо, греет его плечо Молокососов, налево — Шагаев и Лиза. Он и себя уже не ощущал отдельным, с своими мыслями и привычками. Эти бесчисленные колонны в глубоком молчании двигались, подчиненные суровому порядку, без команды, без окриков, без стадных порывов, как движение гигантского приводного ремня в могучих и плавных волнах сгущенного воздуха. И это стройное здание в огненных столбах колонн и ниспадающих красных полотнищах величаво горело силой и молодостью. Там, в этом пламенном здании, гордо выросшем из столетия, как храм, плывущий из тумана, совершается необычайное таинство, невиданное за все пятьдесят шесть лет его жизни. Вот он, Гордеев, идет к нему, к этому таинству, со всей своей жизнью, полной испытаний, унижений и обид, и, может быть, увидит новый ослепительный рассвет, и все его долгие годы от детства до этой минуты запылают чудесными зорями.

— Старуху бы надо было взять, шашки-деревяшки... вытащить бы ее... Ведь никогда уж не доведется увидать...

Но бормотал по привычке, и мысль о старухе не трогала его — мелькнула мгновенно и исчезла.

Сколько времени двигались до двери, как он очутился в вестибюле, пылающем огнями, — он не заметил. Очнулся он только от этих огней, которые ослепили его, и от того, что впереди сплошные толпы народа плыли с гулом и громом вверх по широкой лестнице. Он видел только клокочущее месиво спин, голов, плеч, рук, — они бурлили, неслись вверх в странном стремительном полете. Чей-то одинокий армейский голос выкрикивал певуче:

— Шапки, товарищи... шапки снять...

Плескались над головами и спинами плакаты: знамена стекали по древкам и сверкали копьями наконечников. У самой стены люди тормозились в заторе, волновались, изнемогали, плыли дальше по другой лестнице и исчезали из глаз, только мелькали отдельные головы да плескались полотна плакатов.

Откуда-то с высоты широкими размахами гремела музыка. Она заполняла все здание, и казалось, что колыхались и пели все эти стены, карнизы и огненные пустоты. Это была не музыка оркестров, а музыка живого металла. И как только Гордеев услышал эту музыку, сердце его захлебнулось слезами восторга. Эта необъятная музыка то затихала, то опять потрясала здание. Реяли в воздухе красные облака и черные тени, и всюду волновалось пламя, и эти красные волны и пламя были непереносно огромны, как великие пожары, которые волшебно полыхают во сне. И в этом огне и оркестрах где-то далеко впереди пели чудесные гимны и эти несметные толпы в своем бесконечном стремительном потоке.

Лиза летела в воздухе, как птица. Она подымалась все выше и выше, и крылья у нее все росли и загорались розовым опереньем. Как хорошо и свободно, и мир так велик и чудесен! Лететь, всегда бы так лететь и чувствовать землю в необъятных волнах музыки и света. Как хорошо! Смутно чувствовала она, как толкалась и теребила ее старушка, смутно видела множество лиц с необычайными глазами. Промелькнули хохлацкие усы Молокососова и старчески дряблое лицо отца с дрожащими бровями. Потом ощутила неловкость от руки Шагаева, который говорил ей что-то об этом здании, где когда-то гнездились холопство и низкое чванство дворян. Она взмахнула руками, вырвалась из тесноты и побежала вперед, расталкивая людей и ныряя между ними в неудержимом взлете.

И когда огненным провалом открылась храмная пустота зала, в блистающих колоннах и красных летающих полотнах, в зарослях пальм и причудливых растений, в сказочном ослеплении множеста люстр, цветущих хрусталем, — Гордеев не мог совладать с собою. Всхлипывая и захлебываясь слезами, он потерял сознание и не замечал, как остановился, как припал лицом к полотнищу знамени, как толкали его и куда-то тащили за собой. Сквозь слезы он видел только полыхающее пламя пожара в грохоте и металле и с отчаянием и надеждой тянулся в эту пучину огня.

Чей-то строгий голос больно ударил его по сердцу, и сильная рука потащила в толпу. Он сразу пришел в себя и внезапно увидел в густой зелени красное возвышение, а на нем маленького вытянутого человека, одетого в простую куртку, с протянутой вдоль тела рукой. Отчетливо заметил белые пальцы, немного скрюченные судорогой, серое лицо со складками на щеке, лысину, серебристую бородку, стриженные усы и трупно заострившийся нос. Он опять услышал строгий командный голос, но сразу же забыл о нем. Рука, которая тащила его за рукав, отор-

валась, и он бессознательно, с одним потрясающим слезным восторгом, побарывая какие-то препятствия, проталкивая какие-то густые тени, выбиваясь из сил, грудью шел вперед, спотыкался, точно взбирался по крутой лестнице. И не мозгом, а всем нутром чувствовал Гордеев, что ему ничего сейчас не нужно, а нужно только одно — к нему, к этому маленькому человеку с мертвенно-серым лицом, к этим скрюченным пальцам — подойти и преклонить перед ним свою рабочую жизнь.

Кто-то ласково, мягкими движениями, взял его под руку, и сразу стало легко, свободно, точно у него выросли крылья. Что-то острое, легкое, пернатое защекотало его лицо. И опять отчетливо он увидел перистые листья незнакомых растений и сквозь них почти рядом — седую женщину с припухшим лицом и выпуклыми глазами. Она смотрела на него немного удивленно, с неуловимой застывшей улыбкой. Спиной к нему неподвижно, нечеловечески напряженно стоял высокий человек и заслонял собою половину зала. Справа грохотала шагами бегущая толпа, масса изумленных и обалдевших лиц, и они исчезали за спиной этого человека, точно он поглощал их с чудовищной ненасытностью.

А он Гордеев, весь дрожал, растворялся в горящем красном тумане, и никак не мог удержаться на ногах. Несли его куда-то гигантские шквалы, и сердце заполняло всю грудь. Горячим наплеском покрыла его тяжелая волна, заколыхала его, и он стал опускаться на пол, а по лицу его текли обильные слезы восторга.

Потом кто-то очень мягко, ласково, сильно повел его под руку к густым зарослям пальм и к жирным потокам красных полотен, бережно взял из его рук древко знамени, и Гордеев, как сквозь сон, опять увидел рядом около себя неподвижное тело в серой тужурке, с протянутой рукой и скрюченными пальцами, землисто-мертвое лицо, со складками на щеках, с серебристой щетиной с подстриженными усиками и острой бородкой. Немного выпяченные губы, морщинки около глаз и строгая, чутко слушающая, приподнятая лысая голова.

Кто-то шепнул ему с суровой лаской:

— Стойте и не шевелитесь. Старые рабочие — это ветераны, с которыми Владимир Ильич начинал первые бои.

Слезы все еще лились из глаз, и Гордеев, застывший на месте с дрожью в ногах и руках, плавающий в необъятных всплесках огня и музыки, видел только бурные вихри толп, ослепительного света, зелени и красных водопадов, точно все бурлило в струях хрустальных призм. И когда он близко и четко увидел это маленькое тело лежащего человека с мертвенно-бледным лицом, таким близким и чужим, он уже больше не мог оторвать от него своих изумленных, вдруг отвердевших и что-то внезапно понявших глаз в суровых бровях, взлетевших к морщинистому лбу.

Сцены из трагедии «Петр I».

Алексей Толстой.

I.

Москва. Святки. Палата на московском дворе Ивана Лопухина. Лавки, кованые сундуки, стол, покрытый парчой, весь угол в иконах и лампадах. Старорусский уклад смешан здесь с польскими новшествами, внесенными еще при царе Алексее Михайловиче. Кресла, обитые кожей. На стене — портреты Лопухиных. Сравнительно большие окна с прозрачными стеклами. Клетки с певчими птицами.

Лопухин стоит посреди палаты. Он в немецком платье и парике. Лицо — багрово-красное, бритое и до крайности недовольное. На сундуке сидит его жена, Софья Лопухина, одетая по-старорусскому. Около нее стоит недоросль, Михаил, сын Лопухина. Он в немецком платье, но без парика, стрижен в скобку. Одутловатый и сонный.

Лопухин. От самого Санктпетербурха день и ночь скакали по дремучим лесам. Ни доесть, ни доспать. Обморозились. Что задов растерли... Что коней побили...

Софья *(тихо воет)*. Ба-а-а-атюшка ты мой, ба-а-а-атюшка...

Лопухин. Государь дня на месте не посидит, и мы за ним скачи... Султану лучше служить турецкому... Где на свете видано дворянству такие муки принимать?

Софья. Не томись после бани-то... Надень ты, ба-а-атюшка, штаны православные. В немецких тебе тесно...

Лопухин. Опять — дура: при алонжевом парике, при французском кафтане я портки надел...

Софья. Да ведь святки, увидят — скажут: ряженый...

Лопухин. Ты, ворона, пойми: в сенат меня царь хочет послать, сенатором буду, — хошь какая ни на есть честь... Посему ломаюсь в узком платье, — ни сесть, ни прислониться... А то князь Одоевского за строптивость городоначальником загнали на такой север, где и дня-то нет... И вот тебе мое распоряжение, Софья Степановна: в неделю всю рухлядь домашнюю сложить и на подводы увязать, — всем домом ехать тебе в Санктпетербурх на вечное жительство...

Софья *(завыла)*. Лучше в землю меня в Москве закопайте, — не поеду на болото жить...

Лопухин. Паки и паки дура становая... Царь приказал. Замолчи!

Софья. Замолчала, ба-а-а-атюшка...

Лопухин. Телогреи ты носить брось. Вострогу наденешь с фижмами и со шлепом, польские башмаки на каблуках о полтора вершка, привыкай... Голову ныне дворянкам мукой обсыпать велено, волосья каленым железом жечь, путать и взбивать во как высоко...

Софья. О-о-о-о-ой!.. Безобразно, чай...

Лопухин. Приседать учись, французскому политесу учись... Ныне настрого велено всем дворянкам зубы чистить.

Софья. Чистить зубы не буду...

Лопухин. Это как так не будешь? А раз мне по службе надобно?

Софья. Белые зубы только у арапов да обезьян... А у боярынь зубы всегда желтые.

Лопухин. Ай плетки я давно не брал?

(Михаил заревел басом, боярыня его обхватила.)

Софья. Чада мово милово не отымайте... От тела не отрывайте... В Амстердам не гоните чадо мое...

Лопухин. Подойди, недоросль. *(Михаил подходит, кланяется в ноги.)* Родил я тебя, пестовал. Чаял — рындой будешь стоять у престола государева. Ах, Миша, Миша!.. Деды и прадеды в думе царской сиживали, у гроба государева дневали и ночевали... Не служили, только честь берегли... Бог по грехам наказал... Поедешь ты навигатором-школьником в Амстердам, святки пройдут, и собирайся...

Михаил *(заревел)*. Родный батюшка, родная матушка, зачем меня на свет родили!

Софья. Лучше бы тебя титешным бог взял...

Лопухин. Бога не забывай. Научись там чему-нибудь, а то царь спросит, — неучен, — отдаст в солдаты али в матросы навечно... Не пьянствуй, на кулачки не дерись, како иные дети дворянские поступают за границей... Узнаю, — жезл об тебя изломаю. *(Плачет.)* Иди, чадо. *(Михаил кланяется в ноги отцу, матери.)*

Михаил. Батюшка, матушка, дозвольте на двор пойти — с дворовыми ребятами позабавиться.

Лопухин. Позабавься, чадо. *(Михаил уходит.)*

Софья. Последние деньки. *(Плачет.)*

Лопухин. И ты иди, Софья. Я гостей жду. *(Вынимает бумагу.)* Святки, ныне опасно: вдруг царь пожалует Христа славить... Указом велено в каждом дворе ставить запасы для гостей... *(Читает.)* «Что иметь в доме, в оны же входим... Хлеб, соль, калачи, икра, сельди, окорока, сухие куры или зайцы, ежели случится...»

Софья. Что ты — зайцы! Чай — поганые, у них лапы кошачьи...

Лопухин. Молчи... Указано, — с печатью, тут не шути... «Сыр, масло, колбасы, языки, огурцы, капуста, яйцы и табак... Над

всем же сим — превозлюбленные наши вины, пива и меды...» Иди, собери все, а то, не приведи бог, налетят, спросят...

Михаил *(в дверях)*. Батюшка, гости приехали.

Лопухин. Кто?

Михаил. Царевич да Нарышкин, да еще кто-то...

Софья. Ах, гости приехали!.. Ай, гости приехали!.. *(Хлопотливо убегает.)*

Лопухин. Эй, холопы!.. Гостей встречать! *(Уходит в среднюю дверь.)*

Михаил *(у окна)*. Пьяные, веселые... *(Входит челядинец с подносом, с бутылями и штофами, ставит на стол.)* Ванька, в Амстердам еду, лопни глаза!.. Вот пошумим!.. Там, — говорят, — Ванька, девки голландские в домах вовсе голые ходят... Ванька, вот где житье!.. *(Слышен смех, голоса. Михаил скрывается во внутреннюю дверь. Челядинец расставляет штофы и кубки. Входят царевич Алексей, Андрей Нарышкин, — по прозвищу «Сатана», ключарь Иван Афанасьев — по прозвищу «Захлюстка», подьячий Федор Еварлаков — по прозвищу «Жибанда», рыжий поп Филька и Лопухин. Нарышкин — молодой, картинно-красивый, одет по-старорусскому в полукафтанье. Иван Афанасьев — темный лицом, испитой, истовый, — в черном русском кафтане. Подьячий Еварлаков — в темном немецком платье, в очках, — хитрый, востроносый. Филька — в чистой рясе, волосы заплетены в косу. Царевичу Алексею — восемнадцать лет. Он — чернобровый, с высоким лбом, с темными веселыми глазами, — в бабку Нарышкину, лицо узкое, с мягким ртом и слабо развитым подбородком, — в мать, Лопухину. Алонжевый пышный парик, падающий на узкие плечи, бархатный кафтан без галунов. Шпага. На ногах валенки. Войдя, царевич обращается к образам и крестится. Затем — Лопухину.)*

Алексей. Ну, здравствуй, с праздничком, дядюшка Иван Иванович. *(Засмеялся.)* А мы уж зело шумны... Успели всех дядьев объехать, и Нарышкиных и Лопухиных.

Лопухин *(кланяется до земли)*. И тебя с праздничком, царевич... Дай господь тебе счастья...

Алексей *(поднимает его и целует)*. Шумен я нынче от радости... Давайте сядем... Жибанда, наливай кубки. *(Смеется.)* Как узнал вчерась, что высшие из Питербурха к нам жалуют, — живот заболел, ей-богу, со страху. *(Смеется.)* Чуть свет сегодня помчался в Преображенское. Зайти сразу боюсь. Спрашиваю в сенях у Якова Долгорукова: что батюшка? «Ничего, — говорит, — добер», — да и толкнул меня в дверь. В глазах темно... Вхожу в опочивальню. А у батюшки на постели моя крестница сидит, Катерина Алексеевна. *(Смеется.)* Шалят, апельсины кушают, корками кидаются. Я — батюшке в ноги, да и крестнице моей — в ноги же... Матушкой ее назвал. *(Смеется.)* Грозу-то и пронесло. Отец рот было поджал, щеки выставил: «Зоон! Извольте-ка доложить...» А Катенька мне — апельсин, да — отцу: «Петр Алексеевич, для празд-

ника ради экзамен-то оставьте...» А я пуще всего боюсь — будет он меня прашивать про математику да фортификацию, чертить заставит... Ничего не спросил, — проехало... *(Смеется.)* Ну-ка, сними кто-нибудь валенки,— жарко. *(Протягивает ногу.)*

Лопухин *(отталкивает Афанасьева, нагнувшегося снять с царевича валенки)*. Отойди прочь. Отец и дед были постельничими, и мне быть постельничим у русского православного царя.

Алексей *(испуганно оборачивается)*. Ты не шумно... А то, знаешь, смотри...

Лопухин. Здесь свои люди, царевич, говори, не оглядывайся...

Алексей. И ты стал бы оглядываться... Боюсь я страха... Скучно... Противно... Вот и веселье прошло...

Афанасьев. Бог любит праведника, а злой царь любит ябедника. Не живем, оглядываемся...

Еварлаков. Князь Ромодановский за донос одному триста рублев дал да шапку кунью... За донос...

Алексей *(Нарышкину)*. Сатана, что не пьешь? *(Фильке.)* Поп, пей,—приказываю... Жибанда, наливай крепкого... *(Еварлаков наливает.)*

Лопухин. Да, жили, пили... А теперь как холопы служим... Сына моего от гнезда оторвали, за море гонют... Дворян в простые солдаты отдают... Ради царского войска да флота мы все на каторге... А сидели бы смирно да без надобности не лезли в ссору, и никто бы нас не тронул... А то — раздразнили турецкого султана... Шведов раздразнили... Твой дед, Алексей Михайлович, не воевал, а Малороссию присоединил... А шведы нас под Нарвой били и еще будут бить... С такими порядками быть земле пусто, — все распропадем...

Нарышкин. Не воронь, Иван Иванович... Будет тебе, — и так тошно...

Лопухин. Нет, пусть царевич знает правду... Русская земля обширная, урожаи — дай бог. Жить надо тихо, с соседями в мире. А русскому дворянину не с чего голодать... Сиди дома да смотри за хозяйством, — вот вся наука. А рабов у тебя нет, — лучше самому за сохой пойти, чем царская служба да солдатчина...

Афанасьев. Деды пили, ели просто, да жили лет по сту.

Лопухин. Петербургское болото всю кровь нашу выпило. Мало еще горя — ныне железные заводы строют, да полотняные, поташные, стекольные, да еще шут их знает какие... Только народ зря калечут, мужика от дела отрывают... Жрать стало нечего, — стекло дуем... Кораблики строим. Тьфу!

Афанасьев. И хоть лоб расшиби — аглицкое железо дешевле нашего, голландское полотно много лучше, дешевле. Стекло дуем пузырчатое. На России заводам не бывать...

Филька. И флоту на России не бывать...

Алексей, Филька заговорил... Ну, скажи, поп, отчего флоту не бывать?

Филька. От Володимера святого, принявшего хрещение, до днесь — суть сухопутные, в лаптях бродим. Аминь. *(Все смеются.)* Смешно вам? А я прошлым летом что видел... Знаете?

Алексей. Ну, что? Ну, что? Постой, он скажет...

Филька. В Кроншлоте на корабле Олифант на носу девка голая из древа вырезана и поставлена, с хвостом, с рогами... Это какая такая девка? А на другом корабле на носу же стоит дьявол деревянный с вилами... Вот какие у нас корабли... Русскому флоту вовеки веков быть прокляту, аминь! *(Все смеются.)*

Алексей. Это что... Я тебе покажу такое — рот разинешь...

Филька. Я не разину... Меня не напужаешь...

Еварлаков. Страхом не зарекайся... Ныне страх по дворам ходит...

Алексей *(он уже захмелел)*. А вот напугаю... *(Вынимает письмо.)* Письмецо у меня сильненькое. *(Все к нему наклоняются.)*

Лопухин. Письмецо сильненькое...

Нарышкин. Военный план...

Филька. Москву от шведа укрепляют фортециями.

Афанасьев. От шведа фортеции не спасут. Давно бы надо мириться да отдать ему Ингерманландию, чем Москву разорять...

Алексей. Я укрепляю Москву, ты помолчи... В письмеце указано... *(Читает.)* «...Что же до Федосеевской церкви, в том мое мнение,— лучше оную сломать, нежели фортецию испортить...» А? Лучше сломать? «...Ибо не гораздо нужно на Москве церквям, чаю и пустых довольно... Так же и в прочих местах около Китай-города, где зело нужно, ломай церкви и береги препорцию фортеции...»

Филька *(глядя в письмо)*. Своеручно — Питер... Еры с хвостом, глядите...

Лопухин. До основы добрался... Церквам нет пощады!

Андрей Нарышкин *(на Алексея)*. Я давно говорю: его здесь оставлять нельзя. Уехать надо ему.

Афанасьев. К римскому кесарю в Вену, и там переждать... А мы уж перетерпим...

Лопухин. Страшно здесь... Повсюду тайные смотрельщики... В Суздаль к родной матери письма нельзя послать, — запытают... Господи, да если Алексея Петровича у нас не станет... Мрак кромешный... Государь, одна наша надежда на твой царский венец.

Алексей *(дрожит, оглядывается)*. Молчи, молчи, дурак! *(В опьянении, в ужасе вскочил, ударил по столу.)* Кнута захотел, пытки захотел? *(Схватил Лопухина за парик, стал бить.)* Скажу отцу, ей-богу скажу! Не терять мне головы из-за вас, собак проклятых!.. *(Упал на лавку, закрыл лицо руками.)*

Лопухин. Ох ты, батюшка, какой горячий...

Афанасьев. В гиштории Брониуса сказано: Гонорию, римскому императору, злой дух в гузно вошел и через рот вышел, и через то Гонорий исполнился благочестия...

Алексей. Чего вы хотите от меня? Не царь еще, нет... От отовских побоев кости болят... Не человек я здесь, душа моя трепещет... 'везите меня на край света... В Рим, в Венецию... Все вам будет... Стаых министров переведу, изберу новых, по своей воле... Буду жить на Москве, летом в Ярославле буду жить... Кораблей держать не буду... ойско — самое малое число... Большего мне не надо... Тихо, в радости, ез страха... Не хочу страха... Не смеют они меня пугать... *(В бешенстве.)* Меньшиков, Ромодановский, Толстой... Собаки... Будете вы сидеть на ольях... *(Схватил за плечи Фильку, на ухо ему захлебывающимся шопотом.)* Поп, поп, что делать? Грех, грех... Смерти его хочу... День и ночь том думаю... Ведь лучше будет, всем лучше?.. Почему его никто не бьет? Трусы! Малодушные! *(При этих словах все отшатнулись от стола, цепенели в жадном ожидании и ужасе.)* Скажи, скажи, — будут за это адские муки?

Филька. Отпущаю. Мы все того хощем. Яко тягости черезмерны суть...

Михаил *(в дверь)*. Батюшка!.. Ряженые приехали... *(За дверями шум, дудят рожки, топот ног.)*

Лопухин. Кого чорт принес?

Михаил. Страшные, в машкерах, медведи! *(Убегает.)*

Нарышкин *(кидается к окну)*. Не царь ли?

Афанасьев. Царевича увести тайным ходом...

Нарышкин. Сам Федор Юрьевич Ромодановский пожаловал...

Филька. Князь кесарь! *(Срывается, убегает в боковую дверь.)*

Нарышкин. Двое из всешутейшего собора, Шаховский да Бутурлин...

Алексей. Куда выйти, проводи... *(Лопухин уводит его в боковую дверь и сейчас же возвращается. Афанасьев и Еварлаков скрываются вслед за царевичем. Мимо окон проносятся машкеры, дудошники, литаврщики. Вслед за ними огромная фигура в высокой конусообразной шапке.)*

Нарышкин. Наваждение бесовское!

Ромодановский *(вваливается, огромный, тучный. Он одет боярином, с пеньковой бородой, в горлатной шапке)*. Боярин свет, Иван Иванович, по твою-ста душу пришли. *(Хохочет.)*

Лопухин. Милости прошу, князь Федор Юрьевич...

Входят Юрий Шаховской и Петр Бутурлин. Они в митрах и мантиях всешутейшего собора. Затем Меньшиков, одетый римлянином, но в накинутой поверх шубе, и Вытащи — в медвежьей шкуре.

Ромодановский. И без милости пожалуем. *(Садится к столу.)* Мечи на стол, что по регламенту...

Бутурлин. «Над всим же сим превозлюбленные наши вины, пива и меды, сего, что вяще, то нам угоднейше будет, ибо в том живем, и не движемся, и есть ли мы, или нет — не ведаем...»

Шаховский *(Лопухину)*. Твоей супротивности от нашей н мерности паки и паки... *(Кланяется.)*

Лопухин. Почему же супротивный, я не супротивный... Ты ме не срами, князь...

Гости садятся к столу, челядинцы вносят угощение.

Вытащи. Огурцов не вижу, рассолу нет...

Ромодановский *(Нарышкину)*. Пригож, пригож... Ра чай, старое-то надеть.

Нарышкин. Что ты, князь Федор Юрьевич... Денег нет машкерадное...

Шаховской *(Нарышкину)*. Какой гордый!.. А мы, убоги его не Федором Юрьевичем, — мы его цесарским величеством, княз кесарем величаем...

Нарышкин *(мрачно)*. Сбился, запомню.

Меньшиков *(Лопухину)*. А почему ж ты не ряженый? Ука знаешь? К трем часам всем надеть пейзанские, арлекинские, нищенски и прочие странные уборы... Сумнительно!

Лопухин. Не успел... Да и нездоров я...

Ромодановский. А нездоров — оденем потеплее.

Шаховской. В шубу вывороченную и лик боярский — сажей...

Ромодановский. Ничто... Медведем обрядим... Вытащи скидавай шкуру!

Вытащи. Ой, со шкурой неохота расставаться, нагрел ее, дух напустил. *(Раздевается.)*

Бутурлин. Питие трижды оскверняю. Непотребствуйте, бра тие...

Меньшиков *(Лопухину)*. Помочь, боярин? — поможем...

Ромодановский *(Лопухину)*. Одевайся!..

Лопухин. Не могу, ваше цесарское величество...

Шаховской *(Лопухину)*. С царевичем веселей было шептаться!

Лопухин. Отвяжись от меня, князь... Царевич пьяный при ехал, — не знали, как и в дверь-то проводить... Ты хоть в праздник-то не злобись...

Шаховской. Заробел, заробел...

Бутурлин *(нараспев)*. О Шаховском князе вспомянем и зелия винного выпьем, муж сей ума немалого и читатель книг, токмо самый злой сосуд и пьяный и к злодейству гораздый...

Ромодановский *(Лопухину)*. Одевайся, хуже будет...

Лопухин. Не могу... Зуб болит...

Ромодановский. Зуб у него болит. *(Хохочет.)* Надо за царем послать.

Шаховский. Вытащи, слетай, царь у саней с девками балуется.

В ы т а щ и. Вот смеха-ат будет, надорвемся... *(Убегает.)*

Р о м о д а н о в с к и й. Федька, у меня палач, зубы рвет клеща-ı, — мастер...

Б у т у р л и н *(кричит)*. Надоел ты с заплешными мастерами... :сь в кровище... В баню пойди... Цесарь!

Р о м о д а н о в с к и й *(грозно)*. Но, но... Пей, да не забывайся!..

Ш а х о в с к о й. Ай, поругались... Ай, драка сейчас...

П е т р *(входит. Он одет доктором, в высокой конусообразной шапке нашитыми чертями и звездами. В руке огромный клистир)*. Девкам ıистиры ставил... Потеха!..

В ы т а щ и. Пахом, Пахом, полечи скорей боярина!..

П е т р. Постой, руки озябли... *(Берет со стола стакан, пьет.)* и вино у тебя, — тфу... Ну, как лечить: промывательно, очистительно, хирургическое?

Р о м о д а н о в с к и й. Зуб у него зело разболелся, веселиться не может...

Б у т у р л и н. От моей немерности морду воротит...

Ш а х о в с к о й. Вдруг взялось у него. Кричал на-голос. Насилу уняли.

М е н ь ш и к о в. По сей час не в машкере...

П е т р *(Лопухину)*. Который зуб?

Л о п у х и н. Государь, будто бы полегчало... *(Все хохочут.)*

П е т р. Замолчите, дьяволы пьяные... *(Лопухину.)* Который именно, спрашиваю? Этот?

Л о п у х и н. Этот.

П е т р . А может — этот?

Л о п у х и н. Да будто этот...

П е т р. Вытащи, держи его... *(Вытащи хватает Лопухина за руки, сажает на стул.)* Крепче! *(Достает инструменты из подвешенного сбоку мешка.)* Рот разинь...

Б у т у р л и н. Пахом, клистир ему поставь из капустного рассолу...

П е т р. Шире!

Л о п у х и н. Не надо!.. Ва... ваше величество... Этот здоровый...

В ы т а щ и. У нас живо, — ахнуть не успеешь.

П е т р. Молчи, не вертись... *(Вырывает зуб.)* Вот и все... *(Показывает зуб.)* Видели? Не зуб, а монстра... Четыре корня зело громадных. А сие для укуса пищи приспособлено... Э, брат... Как же это так? Да я тебе здоровый выдрал... *(Все хохочут, чихают, топают ногами, Бутурлин ревет, стуча кубками.)*

Л о п у х и н. Эх, ты, царь... Зубы рвешь... Лучше занятия не выдумал?..

З а н а в е с.

II.

Девять лет спустя. На царицыной мызе близ Петербурха. Огород, чистенькие дорожки плодовые деревья, фонтан, клетки с заморскими птицами, за решеткой — множество домашней птицы. Грядки с овощами. Садовый стол. В канале, ведущем к морю, стоит раззолоченная барка с опущенными парусами. Вдали, за одноэтажным деревянным домом голландского стиля,— видно море, маяки, сторожевая башня, синие леса Лахты. Царский денщик — Поспелов, Михаил Лопухин, — в кафтане гардемарина и в парике, — и матросы выгружают из барки корзины с едой и напитками.

Михаил *(показывает Поспелову сверток)*. Глянь-ка... В Гамбурге купил. Колючий, с шишками, чистая монстра. Кактус...

Поспелов. Диковинка...

Михаил. Марье Даниловне презент. Может она сдастся.

Поспелов. На Гамильтонову полегче напирай с амурами.

Михаил. Вася, правду болтают — она от тебя выкинула?

Поспелов. За такие слова — в зубы.

Михаил. Ну?

Поспелов... Да... Ты там на большого не наскочи.

Михаил. Царь?

Поспелов. Он тебе сопли вытрет.

Михаил. Вчера Марье Даниловне — улучился — галантный анекдот сказал про монаха и служанку, как они беса выгоняли... Она как засмеется, и мне на ногу наступила...

Поспелов. А ну тебя к чорту.

Появляются Екатерина, Дарья Гавриловна Ржевская, Марья Даниловна Гамильтон, Софья Лопухина, Иван Лопухин и Алексей. Ржевская — тучная, рослая, краснолицая женщина с хриплым голосом, — разухабистая. Гамильтон — молодая, очень красивая, вкрадчиво ласковая, с беспокойными глазами. Софья Лопухина — во французском платье, в волосах — перья, листья, ягоды, обливаясь потом, едва двигается на высоких каблуках. Лопухин весьма озабочен и молчалив. Алексей, одетый простенько, без шпаги и шляпы, несет решето с кормом для птиц.

Алексей. Цып-цып-цып, цыпыньки, цыпыньки... *(Бросает зерна.)*

Ржевская. А гуси где у тебя, матушка?

Екатерина. Гусей в огороде не держу, — понеже гадят обильно. Здесь чистая птица.

Ржевская. Всю б сию мелочь на одного гуся променяла, с капустой...

Софья. Ах! не с капустой... Матушка-государыня, в старину-то начиняли его грушами, имбирем, орехами... Бывало — боярин так гуся один и съест...

Лопухин. Софья, помолчи!

Алексей. Матушка-государыня, какая жалость: у цецарочки ножка повреждена. *(Екатерина берет, гладит, целует цыплят и утят.)*

Екатерина. Маленькие, несчастненькие, черноглазенькие...

Алексей. Уть-уть-уть, утиньки, утиньки...

Софья. Матушка-государыня , а еще вши на утках бывают.

Екатерина. На моих не примечала.

Лопухин. Софья, помолчи!

Софья. Я знаю, что говорю, я — статс-дама...

Гамильтон. Прекрасный дух... От коих цветов?

Екатерина. Сирень нынче хороша.

Ржевская. С духу сыт не будешь. Живот подвело с морской прогулки.

Екатерина. Государь ждать себя не приказывал. Стол накрыт, — так и сядем. *(Ржевской.)* А тебе, князь-игуменья, книги в руки: напитков у нас довольно взято.

Ржевская. Взгляну на дары бахусовы. *(Отходит к садовому столу, у которого хлопочут Поспелов и слуги.)*

Софья. В Зачатьевском монастыре была, говорят, игуменья — настойки пила ковшом, как мужик.

Екатерина. Случается и с духовными сие.

Лопухин *(жене)*. Софья Степановна, дура, помолчи ради бога. *(Отходит с ней.)* Дарья Гавриловна Ржевская не духовное лицо, толковал я тебе. Она — князь-игуменья всешутейшего собора. Поняла?

Софья. Ах, поняла, поняла... Ты — невежа...

Лопухин. Побью.

Софья. Не можешь, не по етикету... *(Екатерина с Алексеем остаются одни около птичника.)*

Михаил *(Гамильтон, около сирени)*. О коем презенте поминал, — принес. *(Подает ей кактус.)*

Гамильтон. Ай, колючий!.. Ах, ах!.. Сие редикюльно...

Михаил. Для вас, кабы мог, сам бы сими шишками готов покрыться.

Гамильтон. Ну, уж вы — галант французский, известный.

Михаил. Будет ответ благоприятный?

Гамильтон. Не знаю, какой ответ вам нужен.

Михаил. Амур...

Гамильтон *(ударяет его веткой сирени по лицу)*. Дебошан!..

Михаил. Нас, денщиков, государь на ночь в шкап стал запирать, чтобы наверх, к фрейлинам, не бегали, — так я ключ подобрал... *(Гамильтон смеется.)*

Екатерина. Пошел, петух, пошел!.. Драчун, гадкий!..

Алексей. Государыня-матушка!.. Не оставь меня для бога, в чем одну на тебя имею надежду.

Екатерина. Брось еще цыпляточкам.

Алексей. Цып-цып-цып!.. Предстань за меня перед государем-батюшкой... Зело отчаян есмь... Не по царскому венцу плачу... Не мне, слабому, убогому, его воспринять... Сыночку твоему, ангелу Петеньке, наследные царские ручки и ножки день и ночь целую... Ни поче-

стей, ни богатства не ищу... Господь вседержитель милостивый! Одна надежда в моем убожестве: в деревеньке жить на покое... Цыпляточки, утяточки, всякая тварь летучая и ползущая паки и паки мне любезны...

Е к а т е р и н а. Ох, говоришь ты, Алексей Петрович, — чисто псалтырь читаешь — тягуче...

А л е к с е й. Не гневайся, матушка, солнышко... Молю, не погуби смертью, к ножкам припадаю... Выручи Афросиньюшку...

Е к а т е р и н а. Кого?

А л е к с е й. Афросинью... девицу, что за границей со мной была... Жена она мне, как перед богом... От меня брюхатая — вот-вот ей родить. Батюшка не разрешил, а то бы я с ней еще в Германии перевенчался... За немочью она задержалась в Берлине... А третьего дня громом меня ударило: узнал — прибыла, да на границе велено ее схватить, — и привезли, посадили голубку в крепость. Третьи сутки Толстой допрос чинит... Слово ей грубое бывало скажешь, — затрясется, пугливая... А не то, что волочь ее в застенок... Государыня, спаси, не отнимай у меня последнее!.. *(Зарыдал.)*

Е к а т е р и н а. Скажу, скажу... Не убивайся... Царь с девками не сражается... Не звери... Поди, умой глаза, стыдно.

А л е к с е й. День и ночь за тебя буду бога молить...

Она отходит к столу, за которым уже пируют. А л е к с е й идет к фонтану — умыть лицо. К нему осторожно приближается. Л о п у х и н.

Р ж е в с к а я *(подняв бокал, провозглашает)*. Сие есть сущее, в чем живем и сами не знаем, — есть ли мы или нет нас, — мгла очи застит. Аминь.

Е к а т е р и н а. Аминь, князь-игуменья... Чтоб тебе пить не перепить, блудить не переблудить, мерить не перемерить. *(Садится к столу.)*

С о ф ь я *(хохочет)*. От крепыша, от венгерского мужика в глазах играют.

Р ж е в с к а я. Привыкает баба, насобачивается...

Г а м и л ь т о н *(стоящему сзади нее Михаилу)*. Я пью — за деликатесс амур...

М и х а и л. Купно с вами.

Р ж е в с к а я *(запела)*. «Во имя всех пьяниц, во имя всех скляниц...» *(Дамы негромко подтягивают.)*

Л о п у х и н *(около фонтана, Алексею)*. Вчера Андрея Нарышкина взяли в железа, отвезли в крепость.

А л е к с е й. Мне-то что за беда... Нарышкин мне не друг.

Л о п у х и н. Опять хватать начали, опять розыск... Царевич, не выдавай меня...

А л е к с е й. Я батюшке покорен... Мое дело убогое, самому только век прожить...

Л о п у х и н. Царевич! Промеж нас ничего не было сказано... И переписки не было... Выдавай других... Мое дело сторона...

А л е к с е й. Кого же я выдал?.. Что ты брешешь?..

Лопухин. Забыл, церевич... Бог тебя простит, что ты своих одей перед отцом оговорил... Поторопился... Что в Москве, что в Суздле было, — знаешь? Цыплят кормишь, а за тебя какие муки приняли?.. лександр Кикин полоторы сутки на колесе кричал, изломанный. Слова не сазал на тебя под страшными пытками... Глебова, как на кол сажали на расной площади, — ты того не видел? Варлаама, юродивого, живым ожгли... Епископа Досифея четвертовали... А сколько до сего дня в жезах томятся... Ни один тебя не оговорил... Зачем своих людей выдаешь?..

Алексей *(побагровев от гнева, тихо)*. Замолчи!.. Дурак, пес!..

Лопухин. Царевич, богом тебе клянусь, — донесешь на меня арю... все про тебя скажу, — я пытки боюсь...

Алексей. Перед батюшкой, как перед богом, — чист...

Лопухин. Свидетели живы, как ты кричал: «Царь-де по ночам пяный один ходит, а спит с открытым окошком, и никто его не убьет...»

Алексей. Наговор... Господи вседержитель, да не помыслю я о сем...

Лопухин. Не с того ли крику поп Филька плотнику Семену Лукьянову топор дал...

Алексей *(глядит ему в глаза)*. Дьявол!

Лопухин. Слабый ты человек... Дождешься беды, откуда сам не чаешь...

Алексей. Какой беды? Ты про кого? *(Лопухин идет к столу.)*

Екатерина. Алешенька, князь-игуменья тебе чашу посылает.

Алексей. Приемлю со смирением. *(Спешит к столу.)*

Ржевская. И ломоть ветчины.

Софья. Да соленый огурец, зело великий. *(Хохочет.)*

Михаил играет на губной гармоньи.

Екатерина. Марья Даниловна, пройдись-ка с Иваном Ивановичем.

Софья. Старик-то мой, — еще куда, ей-богу... *(Хохочет.)*

Лопухин и Гамильтон проходят в танце. Алексей бьет в ладоши, смеется. Входит Виллим Иванович Монс.

Екатерина *(весело и нежно.)* Виллим Иванович, кавалер прекрасный...

Монс одет по последней французской моде, весь в локонах, в кружевах, в пудре. Красивый, как картинка, с мелкими чертами, улыбающийся, вкрадчивый.

Монс *(кланяется царице и дамам.)* Ваше величество, государь изволил прибыть. *(Михаил бросает играть, все встают.)* Ваше величество, осмелюсь вас секретно...

Екатерина. Ну, что тебе? *(Подходит к нему.)*

Монс. Государь зело удручен... Лучше б всех удалить... Кроме Алексея Петровича...

Екатерина. Что случилось?

Монс. Сам точно не знаю... Государь прямо из крепости, с розыска...

Екатерина *(поспешно идет к столу)*. Мишенька, идем играть на лужок, где ручей... Дамы берите стаканы... Эй, матрос!.. Вино принесешь нам на лужайку. *(Екатерина, Ржевская, Софья Лопухина, Гамильтон, Михаил и Лопухин поспешно уходят.)*

Монс *(Алексею)*. А вам, государь мой, надобно остаться.

Алексей. Виллим Иванович, друг, что государь? Зачем меня требует?

Монс. Делам государственным я не причастен, государь мой, — я лишь при дворе ее величества для личных поручений... *(Кланяется уходит.)*

Алексей *(закрывает лицо руками)*. Боже мой, боже мой, только бы не голубку мою...

Входит **Петр** и **Толстой**. Лицо Петра страшно,— искривлено. Толстой — с поджатыми губами, с опущенными глазами.

Петр. Зоон!

Алексей. Батюшка, милостивец! *(Кидается к нему, склонясь ищет поцеловать руку.)*

Петр *(отдергивая свою руку.)* Веселые дела узнал про тебя, зоон!..

Алексей *(затрепетав, глядит на отца, на Толстого)*. Невинен ни в чем...

Толстой сухо кашлянул, сделал шаг, потянул из кожаной обложки бумагу. Петр удержал его руку.

Петр *(Алексею)*. Бранивал я тебя, и не точию бранивал, но и бивал. К тому ж сколько лет, почитай, не говорю с тобой... Все даром, все на сторону...

Алексей. Безумен был, батюшка, ныне все понял, восчувствовал...

Петр. Хотя б ты истинно восчувствовал и захотел хранить мои дела, то возмогут тебя склонить к противному большие бороды, кои ради тунеядства не в авантаже остаются... А ты им и ныне склонен зело...

Алексей. Навет, навет...

Петр. Отсек я тебя, аки уд гангренный... Без жалости... За отечество, за люди я живота не жалел, — как могу тебя, непотребного, пожалеть?.. Понимаешь, зоон? Сие размышление горестно...

Алексей *(бормочет)*. Продлил бы господь ваше многолетнее здоровье, а мне бы, слыша про ваше здоровье, только бы радоваться...

Петр. Сердце у тебя заячье, а душа змеи!.. *(Толстой сделал опять шаг. Петр овладел собой.)* Как добыли тебя от цезаря, я тебе поверил, что истинно всех врагов предаешь в мои руки... Казнями страшными надеялся уничтожить гидру отечества...

Алексей. Всех, батюшка, всех вам выдал... Одного запамятовал, Лопухина...

Толстой *(поспешно)*. Ивана Ивановича?

Алексей. Так, так... Из памяти прочь...

Петр. Поверил, когда в Москве ты к ногам нашим бросился и плакал, что убог и слаб и правлением тяготишься...

Алексей. Головой слаб и брюхом немощен...

Петр. Покойный король французский немощнее тебя был, но оказал такие славные дела, что его войну феатром и школою света называли... И прочими делами и мануфактурами государство паче всех утвердил... Лукавишь, зоон, — умом тебя бог не обидел...

Алексей. Глуп я, батюшка... Как праздничку, радуюсь отрешению моему...

Петр. Согласен был дать тебе деревеньки, чтобы жил ты в молодой старости, — ни рыба, ни мясо, — с цыплятами... Забыть о тебе...

Алексей. И — согласие ваше милостивое на брак с Афросиньюшкой...

Петр. С Афросиньей?.. *(Побагровел.)* Да и впрямь ты не глуп ли?.. *(Внезапно захохотал. Толстой захихикал.)*

Алексей. Батюшка, вы царское слово дали...

Петр *(пронзительно смотрит на него)*. Гидру я уничтожил, а голова ее цела... Голова из моего же тела выросла... Алексей, понимаешь ты меня? Или все еще в деревеньку хочешь, с Афросиньей? Нет, зоон, невозможно, сему не бывать...

Алексей. В монастырь меня?

Петр. Нет... Нет, зоон... Толстой, покажи ему...

Толстой *(вынимая из кожи бумагу)*. На второй день заключения в крепости вышеназванная девка Афросинья сказала за собой слово и дело...

Алексей. Сама? Нет!.. *(Зарыдал, оборвал.)*

Толстой. После чего учинен был вышеназванной девке Афросинье допрос... Сие подлинное... *(Протягивает государю показание.)*

Петр *(читает)*. «Царевич, де, будучи в цесарской земле, не раз писал цесарю жалобы на отца... Писал и в Россию архиереям с тем, чтобы эти письма подметывать... Царевич, де, прилежно желал наследства и изъявлял радость, когда читал в курантах, что брат его Петр Петрович болен... «Видишь, — он говорил, — батюшка делает свое, а бог свое...» Когда слыхал о чудесных видениях и снах, или читал в курантах, что в Петербурхе тихо, то говорил: «Тишина не даром, отец скоро умрет, бунт будет...» А когда услышал, что стоящее в Мекленбурге русское войско взбунтовалось и офицеров побило, то очень обрадовался и говорил: «Слава богу, так бог хочет, скоро во всей России будет смута, и вернемся к старому...» Да еще говорил: «За меня, де, — вся чернь — и крестьяне, и дворянство, и духовенство... А у царя один — Меньшиков да министры, да новых людей небольшое число... Царь, де, — долго с ними не просидит...»

Алексей. Не говорил, не думал, во сне не видал...

П е т р. Зоон!.. Сам я не отважусь сию болезнь лечить... Посему вручаю тебя суду сената.

А л е к с е й. Смилуйся! *(Падает в ноги Петру.)*

П е т р. Люди!

Т о л с т о й. Поспелов!

А л е к с е й. Батюшка, испытай в последний раз!..

П о с п е л о в *(появляясь)*. Здесь!

П е т р *(указывая на Алексея)*. В железо его!..

П о с п е л о в. Есть — в железо его...

А л е к с е й. Оправдаюсь, богом клянусь... *(Поспелов поднимает его.)* Что вы делаете? *(Петр, не оборачиваясь, идет к столу.)* Батюшка, родной!..

П е т р. Об Афросинье не горюй. Девка была к тебе подослана.

Т о л с т о й *(усмехнувшись)*. Курьезите. *(Идет за Алексеем.)*

А л е к с е й *(рванувшись)*. Батюшка, не вели пытать!.. *(Его уводят.)*

П е т р *(один)*. Что? *(Поднял плечи, взял стакан вина.)* Сын, сын, сын!.. *(Швырнул стакан на землю.)*

З а н а в е с.

Цыганский узел.

(Рассказ.)

Сергей Марков.

I.

Цыган Гу́нька Кучурла́ обмотал тугой повод вокруг жилистой кисти и свернул свободной рукой острую козью ножку.

Кучурла́ курил долго и жадно, и остывший папиросный пепел падал на гриву лошади ровными столбиками. Острый волос разрезал сизые столбики на две части.

Пыль от сухого бурьяна набивалась в рубцы бархатных штанов Кучурлы, твердела, походила на жилы, и от этого бархат делался тугим и шумел. Кучурла́ улыбался, трогая золотоносные рубцы кривым ногтем, и садящееся солнце качалось за плечами Гу́ньки. Он вез солнце, как солдатский ранец.

— Вороной, — прошептал Кучурла́, — видный конь, гусарский! — и громко засмеялся, положив руку на летящую шею лошади.

На богатырских могилах сидели красноногие беркуты, суслики пересвистывались на пригорках и перебегали, как солдаты, заросли пышного ковыля, разъединившего пригорки друг от друга. Молочай пищал под копытами, бился и плакал белыми густеющими слезами. Плетка Кучурлы была скороблена молочайным соком и висела, не сгибаясь, как коса полонянки.

«Важная природа», подумал Кучурла́, и его ноздри уже ловили запах кочевого дыма.

Он подгонял вороного.

Лиловое небо висело над табором, как поднятая ветром крыша шатра. Цыганки курили трубки и, шутя, гадали друг другу на картах. Стаи черных трефей отдыхали на длинных ладонях гадалок.

— Знаю, кого любишь, красавец чернобровый, — говорила одна цыганка другой. — Есть у тебя зазноба. Ты ее за правую руку ловишь, в правый глаз целуешь... Позолоти ручку!

Гадальщица тянула руку подруге, изображавшей мужчину, и та с хохотом кидала на ладонь куски тяжелого кизяку. Обе цыганки визжали, рассыпая карты. Красные тузы цвели в траве, как земляника.

— Охальницы, — крикнул Кучурла́ крутобровым гадальщицам,— подберите карты, — стопчу!

— Нас не стопчешь, — задорно крикнула цыганка и покосилась на лошадь.

В середине табора сидели Старики. Свекольные щеки их синели, бороды тоже были сини, как часовая пружина, и бежали по груди каждого Старика бездонными ручьями.

Старший Старик в стороне ел арбуз. Рукоятка кривого ножа торчала из арбуза; она была окружена густыми каплями сока, и медный ободок внизу рукоятки был похож на золотого червя, проточившего прохладный шар.

— Что, Кучурла́? — спросил Старший Старик, качнув бородой так, что из нее вылетел рой блестящих арбузных косточек.

Гу́нька спешился, привязал лошадь к колу и молча показал на нее старику. Старший повернул нож в арбузе и подал Кучурле на конце ножа розовый сияющий ломоть, отяжелевший от косточек.

— Спасибо, Старший, — улыбнулся Кучурла́, — по зубам коню не больше четырех. Надо скорей продать.

— Зубы ладные, — согласился Старший. — Киргизам лучше всего его отдать. Тавра нет?

— Нет, — ответил Гу́нька, задохнувшись от крутого сока. — Ухо только пнем резано... Старший, у меня болит голова.

— Чего же ты сидишь? — крикнул Старик, — иди спи! Что делать в такую жару? Бабы и те разленились и не хотят итти в село. Хромой Шурга, как чесоточный жеребец, залез в реку, сидит там целый день... Отдыхай, молодец, ты сделал дело.

Гунька вытер рукавом рот и свернул папиросу.

— Коня продадим, — сказал Старший, вознося скрипящий арбуз.— Ты свою долю получишь...

Кучурла повернулся и пошел, было, в свою палатку, как вдруг услышал крик гадальщиц. Они бежали к Старшему, шатая кумачными бедрами. Цыганки показывали пальцами на пеструю цепочку всадников, возникших из тумана жаркой пыли.

Гунька снова сел на траву рядом со Старшим и вопросительно посмотрел на старика. Тот отложил арбуз и повернул голову в сторону всадников.

Первый киргиз натянул ремень деревянного стремени, свешиваясь на правую сторону седла. Свинцовый пот сползал вниз по крепкой скуле всадника.

— Здравствуйте, воры! — сказал потный киргиз и медленно сплюнул табачную жвачку.

Остальные всадники захохотали и вынули табакерки.

— Здоровы ли вы, конокрады? — спокойно спросил Старший Старик, — будьте гостями, слезайте... Что говорят в степи?

— В степи говорят, что русские хотят повесить ваших воров, — азал потный киргиз, щуря глаза...

— Еще, цыгане, слышно, что Главный Лягавый в Акмолинске, рокин, видит во сне одного Рыжего Гришку, — перебил потного всадка второй киргиз.

— Друс, — подхватил Потный, — Сорокин хочет пощупать Рыго Гришку, какой курдюк он успел нагулять...

— Хорошие вести, — промолвил Старший Старик, — но при чем есь мы? Гришка не нашего табора, мы только слышали о нем...

Речь шла о рыжем цыгане Гришке. Большие дороги не могли жить з Рыжего Гришки, он грабил и убивал гуртоправов, сжигая трупы на страх.

— Эх вы, — не вытерпел Кучурла. — Вы лучше скажите, кто у емцев из Карловки увел трех кобыл?

Киргизы стыдливо рассмеялись, и Потный поманил пальцем Кучурлу.

— Слушай, хороший цыган, нечего болтать пальцем... Дай табаку...

Кучурла подошел к киргизам, небрежно бросив к их ногам багровый кисет.

— Не будем болтать пальцем, — сказал он. — Говорите прямо, коня возьмете?

Киргизы только сейчас увидели вороного, дергавшего от жары плечами. Потный гость обошел коня вокруг и, наклонившись, взглянул под брюхо.

Потом коня осматривали все четверо. Потный смотрел в зубы лошади, и на его пальцах дрожали пузыри конской слюны.

— Стар твой вороной, больше шести ему! — сказал Потный киргиз, вытирая пальцы полой.

Кучурла возмутился.

Они долго спорили.

Солнце садилось. Цыганята играли в вечерней пылающей пыли. Матери кормили детей грудью, и дети ловили ртами темные сосцы. Гадалки пели и бродили по ковылю, собирая цветы и кизяк. Хромой Шурга шел с реки, ковыляя, как стреноженная лошадь. Он кусал белые корни камыша и нес в левой руке пойманного рака, держа его за короткую спину.

Младшие Старики, скинув рубище, били вшей. Худые лопатки Стариков прыгали, как весла.

Все это мгновенно увидел Старший Старик перед тем, как задремать. Он заснул, чувствуя, как его рыжие веки потеплели от последних лучей солнца.

Крик Кучурлы разбудил Старшего Старика. Кучурла вспоминал отца потного киргиза и тряс кулаком.

— Вам только сопатых ишаков осталось теперь красть, — орал Кучурла киргизам. — Нужники с подкопом вам брать, а не на конях ездить. Если вам этот конь плох...

Киргизы ругались и бегали вокруг вороного.

Потом они сели на землю, набили рты табаком, помолчали и пошл к лошадям.

— А как же вороной? — крикнул озадаченный Кучурла.

— Сорокин у тебя коня купит,— зло крикнул Потный, но, спохв тившись, добавил: — мы поговорим еще со своими в ауле, а завтра ск жем ответ. Прощай, Старик!

— Прощайте, джигиты, — сказал Старший Старик и потянулся з трубкой.

Встревоженный Кучурла молчал. Старший Старик опять задремал

Кучурла подошел к вороному и положил ладонь на блестящую спин коня.

— Ну, гусарский конь, продам тебя или нет? Намучился я с тобой Придется тебе киргизню возить, а?

Кучурла вытащил скрипящего клеща из густой конской гривы разбил его каблуком и пошел в свою палатку...

Старший Старик, проснувшись и доев арбуз, пошел говорить с Млад шими Старцами, успевшими перебить всех вшей.

II.

Погоня шла всю ночь.

Утром, когда розовый камыш на озерах стал снова зелен, как всегда, Петр Гнездарь показал на прохладную пыль дороги.

— Черношкурый-то что творит, ребята, — сказал Гнездарь спутникам.

Спутников у Гнездаря было трое — горбун Мацупа с красивым лицом, но гнилыми зубами, сельский кузнец Митька и коновал, по прозвищу Чебак — худой человек с кривым зеленоватым носом. Чебака еще звали англичанином за то, что он носил добытый в колчаковской роте зеленый мундир.

— А что? — спросил Чебак Гнездаря, дергая носом.

— Эх ты, Чебак, — весело крикнул горбун. — Я и то сдогадался, а ты не можешь. Он копыта-то тряпкой обмотал, чтобы видно не было...

— Ай, Мацупа, — улыбнулся довольно Гнездарь. — А через почему ты сдогадался?

— Так оно ж просто, — поднял голову горбун, — тряпка-то волочится и грунт земли метет, а на грунте земли — след.

— Теперь и я понял, — буркнул коновал.

Мужики засмеялись, а Мацута весело запел:

Мундир английский,
Погон российский,
Табак японский...

— А еще коновал, — вставил свое слово молчаливый кузнец, — котов поповских тебе только подлаживать...

Чебак обиженно повел огуречным носом.

— Нечего смеяться, а то возьму и отрекусь... Ловите цыгана троем, — он вам кишки выпустит.

— Ого, какой ты, — посмотрел с изумлением на коновала Гнездарь. — Пропадем мы без тебя.

Чебак поднял веснущатый кулак и сказал с гордостью:

— Прошу любоваться, видали? Я один с жеребцом управляюсь.

— То жеребец, а то цыган, — сказал горбун наставительно. — Жеребец млекопитающее, а цыган хуже волка... Тут способ надо.

— Да, — сощурился Гнездарь и обернулся к кузнецу. — Митька, помнишь, как прошлой осенью Байкабулку казнили? Его на огне жгут, он не признается... Крепкий народ!

Кузнец вместо ответа свернул конец повода в петлю.

Все уставились на кузнеца.

— Вот, — сказал кузнец с гордостью, — этот повод есть сейчас не повод, а цыганская петля... учить еще надо вас, мальчиков. Берешь аркан на два пальца — гляди, — а третьим из-под низу держишь, а петлю таким макаром...

Мужики остановили коней и стали смотреть на черные пальцы кузнеца, затягивавшие конец повода в тесный узел.

— С такого узла уж не сорвется... А где это я происходил? Происходил я на конской ярмарке в третьем году, под Абаксаром. Там и видел. Ну, для конца, уж вам скажу: как поймаешь вора — петлю ему на шею, а в узел палку. Как зачнешь узел на палку крутить, — у его глаза вылазят. Ну, конечно, маленько отпустишь, дашь раз дыхнуть, а потом снова зачнешь...

— Да ты погоди, — обрадовался Гнездарь, — у меня аркан простой есть. Мы это сейчас произойдем... Ну, ну... Вот завязал, а дальше?

Кузнец нагнулся над арканом. Мужики с жестокой жадностью смотрели на Митьку и Гнездаря.

Взошло солнце. Косой луч лег на спину Гнездаря.

— Как мелом налито, — сказал восхищенно горбун, указывая на теплый след луча. — Боже мой, какая красота бывает!..

— Готов цыганский узел! — радостно перебил горбуна Гнездарь.— Ну, спасибо тебе, Митька. Пусть цыган поддержится теперь... А нотный он парень, я слышал...

Так они ехали по степи, вглядываясь в мятые, скомканные следы копыт.

Горбун корчился в седле, положив на луку непомерно длинные руки.

— Чудно, — сказал он, задумавшись. —У всякого свой план жизни. К примеру, я горбатый, а живу... А вот цыган этот, Кучурла, — красавец, говорят, — а по плану ему скончание жизни выходит.

Горбун долго бормотал эти слова, шевеля изогнутыми губами, похожими на красных гусениц.

Мацупа не слышал мужиков; они ехали, сгрудившись по бокам лошади Гнездаря, и курили цыгарки. Дым окутывал их бороды, дым веселый и горький висел на усах всадников, как облако на темных скалах.

III.

Младшие Старики рассказывали молодым цыганам похабные сказки про цыгана, русского попа и генерала и первыми стыдливо улыбались в тяжелые бороды. Цыгане визжали, размахивая руками, и уходили в шатры пересказывать сказки гадалкам.

У шатра Старшего Старика гудел золотой, как дыня, самовар, увенчанный лазурными ветвями огня.

Кучурла, выкупав вороного, ехал с реки, небрежно свесив ноги. Вороной весело фыркал, играя лакированными боками. На боках коня росло траурное солнце, и Кучурла, жалея черное сияние, держал ноги наотлет.

Старший Старик сидел, подогнув под себя босые ноги. Он срезывал мозоль перочинным ножом. Мозоль высилась на пятке, как неровный бугор воска, мягкий, но упрямый.

— Старший, — крикнул Кучурла, подходя к Старику. Тот вздрогнул от неожиданности, и нож соскользнул с медной пятки.

— Что ты так кричишь, — сказал укоризненно Старший. — Я чуть полноги не отрезал. Чего тебе надо?

— Чего надо? А вот что, — в голосе Кучурлы была тревога. — Как бы нам мозоли вместе с головой не срезали. Киргизы что-то замышляют. Знаешь что, надо нам отсюда уходить...

— Так, — крякнул Старший, пряча пятку под себя. — Киргизы— лежебоки, но им жалко лугов... Скажи мне...

Старший не договорил, потому что к ним подбежал Шурга. Он пучил глаза и теребил край рубахи.

— Опять киргизы едут... Десять верховых.

На этот раз Потный начал разговор сразу же с ругательств.

— У нас и так скот по сопкам ходит, а тут вы еще пришли. Ваши кони — все в хозяев, жадны до чужого. Наш народ говорит вашему: уходите, цыгане! Вы, вы...

— Слушай, киргиз! — перебил Потного Кучурла, зло оскалив зубы. — Ты сам вчера просил не болтать пальцем, а болтаешь первым... Чего вам нужно?

Киргизы зашептались, заламывая лисьи малахаи. Они что-то кричали Потному. Тот отмахивался от них рукой, плевался, хлопал ручкой нагайки по рыжим голенищам, но, наконец, сдался и твердо сказал Старшему:

— Вот что, старый вор... Народ сказал так: или отдавайте нам вороного даром, или мы поедем сейчас к Главному Лягавому и будем с ним пить чай...

Потный замолчал. Киргизы довольно заулыбались и сказали хором:

— Будем с ним пить чай...

— А мы вас кровью напоим,—вскочил Кучурла, побледнев. У него эазу пересохло горло.

Кучурла ударил себя по колену и тихо сказал:

— А вороного вы получите даром только тогда, когда Нура вспять ойдет... Понял?

— Не кричи, вор, — выдавил Потный, согнув в руках рукоятку агайки. — Даст тебе Лягавый железный дом...

— Вас самих со свечками поведут, — крикнул Кучурла, но вдруг ошатнулся от удара.

Потный засмеялся и ударил Гуньку второй раз...

— Цыгане, — крикнул Гунька, выплюнув пригоршню крови, и вдруг увидел, что вороной бьется в руках киргиз...

... Старший Старик сидел, раскачиваясь на кошме. Рослый кривой киргиз держал его за шиворот, толкая коленкой в спину. Другой киргиз размеренно плевал старику в бороду, крича:

— Старый вор... Каракши чал... Старый вор...

Старший Старик плакал, стараясь вытереть полой бурую слюну с бороды. Этого не давал ему делать кривой киргиз, уже истощивший весь запас слюны.

Из шатров выбегали цыгане. Шурга размахивал черным безменом.

Потный укусил Кучурлу в плечо. Гунька застонал, вырываясь из холодных рук киргиза, и вдруг упал в костер. Разорванный дым загудел, и легкая туча пепла застлала глаза Кучурлы. Он наугад успел ударить сквозь тучу кулаком, и рука Кучурлы нашла в горячем тумане костистую скулу врага.

Страшная схватка кочевых племен пригибала к земле ковыль. Кучурла успел услышать грохочущее ржанье вороного. Вороной кусал киргиз, отряхиваясь от кричащего роя людей...

IV.

— С этого пригорка мы ихнюю столицу увидим, —говорил Гнездарь мужикам. — Вот тут оно самое их место-то, над озером...

— Петро́, — спросил горбун Гнездаря, — неужели ты впрямь его казнить хочешь?

— Кого? — переспросил Гнездарь, удивленно смотря на Мацупу.

— Цыгана! — сказал Мацупа, — лучше на испуг взять. А то...

— Что? — насмешливо перебил Гнездарь горбуна. — Хлопцы видели такого господа исуса христа Саваофа, а? Да откуда ты?

— Оттуда, где ты взялся! — визгливо закричал горбун. — Ты в бога веруешь, а план судьбы знаешь?

Горбун закинул тяжелую голову, и венец его волос поднялся на ветру, как черный огонь.

— Надень шапку — не в церкви, — пробасил Гнездарь, взглянув на горбуна с сожалением сильного. — В твоем деле, я бы сказал, Мацупа, мечтать тебе совсем даже нельзя... От мечты люди кончаются... Был у нас первой роты фельдшер Сашка Курс и от злой мечты спортился... В мозгах воспарение...

— Нет у меня воспарения, — дернулся горбун. — План судьбы не ты происходишь... У-у, — вдруг затрясся Мацупа. — Душа у тебя гашником завязана. Хвост волчий заместо души! Ты высший чертеж жизни понимаешь?

— Слизь ты есть, — гневно пробормотал Гнездарь. — Кобылья сопля! — кричал он, поднявшись на стременах. — Верблюжий апостол, учи меня веселому обхождению, чтоб мне глотку лучше перехватили.

— Гнездарь! — вдруг закричал зеленый коновал, выехав вперед,— гляди скорей, что творится. Елки-палки, убийство идет!

... Внизу в долине бегали люди. Огни костров, вырвавшись из золотых границ, летели по голубому ковылю. Брезент разодранных шатро́в качался на низких кустах. Испуганные лошади носились по степи, топча копытами горячую пыль па́ла. Люди валились в ковыль, ползли к реке, женщины роняли из рук младенцев и падали на колени.

Киргизы наседали на человека в бархатных штанах и лазурной рубашке; он, оскалив зубы, размахивал жердью и кричал.

— Стой, ребята! — крикнул Гнездарь.

Гнездарь долго смотрел в долину. Он о чем-то думал, теребя повод. Потом Гнездарь неторопливо спросил горбуна:

— Ну-ка ты, божий плант! Цыганы — православные али индейской веры?

— Обязательно православные! — ответил горбун. — А тебе зачем?

Гнездарь вместо ответа поднял нагайку и вытянул лошадь.

— А ну, ребятишки, — крикнул он во всю мочь. — Бей орду, православных обижают!

Мужики неслись к табору.

У Гнездаря бежал по щекам соленый пот — он расстегнул тесный ворот.

— Басурманские шкуры! — закричал коновал Чебак — Крести их, цыган, оглоблей... Ишь, гады — пятеро на одного.

— Держись, цыган! — вторили Чебаку кузнец и Гнездарь.

Горбун блестел глазами. Он ухватился рукой за луку, вися над седлом.

Киргизы бежали к лошадям. Кучурла догонял их, и рыжая жердь опускалась на желтые малахаи киргиз.

Вдруг Кучурла уронил жердь. Черная пыль закрыла его глаза, он упал и только тогда почувствовал, как болит его обожженное легкое тело...

Чья-то рука, тяжелая, но осторожная, упала на его плечо. Над ним стоял Гнездарь. Он смущенно мял свою бороду и, улыбаясь, говорил:

— Убегла орда-то... Вот утешил ты меня, цыган. Вот уж молодец!.. Ай, ай, ай — один пятерых!

Кучурла молчал, разглядывая опухшую руку. Кровь ползла по голубой рубахе, свертываясь черной простоквашей.

— Люблю молодца за ухватку, — кричал Гнездарь.

Мужики хлопали Кучурлу по здоровому плечу, а Чебак свернул папиросу, сунув ее в рот цыгана.

— Кури, цыган, кури, друг,— бормотал коновал... — Махорка номер пятый, пополам с вишенным листом.

Кучурла криво улыбнулся, и, дрожа, раскурил цыгарку.

Вдруг Гнездарь увидел своего коня. Вороной узнал хозяина, заржал и вскинул дремучую гриву. Гнездарь подбежал к лошади и, задыхаясь, погладил ладонью теплую морду.

Он долго стоял, держа пальцы на шумных ноздрях, но вдруг нахмурился и стал поправлять уздечку, сбившуюся со щеки вороного.

Мацупа, сидевший рядом с цыганом, встал и пошел к Гнездарю. Горбун неловко переставлял ноги в высоких сапогах, — раструбы сапог упирались ему в пах, и Мацупа морщился при каждом шаге.

— Гнездарь, — сказал растроганно горбун, — подтвердил план судьбы. Вышесредний теперь человек ты... — Мацупа смущенно топтался на одном месте и глядел в глаза чернобородому великану.

Гнездарь молча подошел к цыгану.

— Дело делом, а хвост на сторону! — промолвил Гнездарь. — Теперь у нас дело особое. Не обижайся, цыган!

И Гнездарь вынул из-за спины тугой аркан с цыганским узлом...

Обиход вольного разума.

(Рассказ.)

Андрей Новиков.

«Пойдем, голова, на дурацкую сторону бродить — колобродить».
Поговорка.

По авторитетному утверждению деревенского большинства, Степан Фомич Тынов не обладал крепким разумом, гожим для практических целей хозяйственного обихода: когда в его избу забрались воры, он лежал на печке и крепко-накрепко зажал нос, чтоб не чихнуть, — чего воры могли бы напугаться.

В ранней возмужалости Степан Фомич имел пристрастие к ремеслу— был плотником и печником, — великий мастер по резьбе «аглицких» карнизов и изобретатель кривоколенных дымоходов.

По праву, Степан Фомич является родоначальником нынешних рационализаторов, ибо кривоколенный дымоход, введенный в действие, экономил сжигание соломы, увеличивая теплоту: спертый горячий воздух беспрерывно бродил по камерам печного борова, лежащего на специальных брусьях-перекладинах. Отделка карниза крыльца избы Степана Фомича была последним всплеском искусства вольного плотничьего мастерства: конек сделан под мелкую японскую вязь — резьбу дробными косяками на закругленных овалах, а на князьке установлен штырь с африканским львом и русским петухом на конце. Штырь был механизирован посредством вольных ветровых сил, и при дуновении ветра русский петух долбил в голову африканского льва, а лев поблескивал злыми красными глазами. Мужики, собравшиеся при первом ветре обозревать механизированное изделие, точно установили, что у Тынова золотые руки, однако — пустая голова. После продолжительной беседы мужики всерьез рекомендовали Степану Фомичу соорудить «балаган кукольных комедий» и разъезжать по ярмаркам.

Однако Степан Фомич пренебрег советом мужиков забросив плотницкое ремесло, он постиг сапожное дело: им было сшито три пары сапог и все на левую ногу. У Степана Фомича была только одна колодка, а сапоги он шил впрок, на случай бестоварья.

— Ладно, — утешал Тынов себя, — достану колодку на другую ›гу — дошью. И будет тогда у меня не три пары сапог, а шесть.

Сапожное ремесло не увлекло Степана Фомича: верхом сапожного :кусства, по его мнению, был рант, а в зубцы ранта при первом походе › грунтовой дороге набивается пыль.

— Рант прокладает мастер, а пыль обтирает холуй, — сказал Сте-ıн Фомич и навсегда потерял охоту шить сапоги.

Ныне возраст Степана Фомича шагнул к полувеку, — до черты, ›иближающей к отходу на вечный покой. Но обстоятельства подобного ›да не обеспокоили его: все же предел людского возраста долговечнее ›нского, и, как выражался Степан Фомич, — он гораздо счастливее ме-ıна, подыхающего в двадцатых годах по рождению.

Превзойдя почти все отрасли мастерства по деревенскому обиходу, Степан Фомич не увидел в этом прока: на князьке его крыльца торчал штырь, уткнувшись в пустоту пространства, а африканского льва с русским петухом посшибали камнями ребятишки.

«Ветер — даровая сила, а механика — крик людского разума, — подумал тогда Степан Фомич. — Зачем же, холуи, изничтожили, коль устройство служило вам же на потеху?»

После Степан Фомич порешил, что людской род могут образить только полезные книги, — стал много читать. Но чем больше читал, тем меньше верил: книги казались ему дырявым мешком, лежащим на дороге, а в мешки насыпаны малые зерна мудрости; стоит мешок тряхнуть — зерна рассыпятся, а холуй растопчет эти зерна.

Степан Фомич пришел к выводу, что мудрость бродит сплошным большаком, а для зримости любого писаки она все равно неприметна: писака наблюдает мир, вооружившись знанием, и видит лишь микроскопические частицы. Мудрости же, бродящей грунтовыми дорогами, невозможно рассмотреть вооруженным глазом, как нельзя положить под микроскоп земного шара. Придя к этому выводу, Тынов перестал читать книги, чему весьма обрадовалась Мавра Семеновна — его жена. Она догадалась, что чтение книг ничего, кроме хозяйственного ущерба, не принесет: читал Степан Фомич при свете лампы, а керосин в то время повышался в цене. Но Мавра Семеновна, досужая в делах хозяйственного порядка вещей, не учла одного обстоятельства: Степан Фомич, потеряв интерес к чтению книг, не утратил способности мыслить; его мысль ширилась и переходила границы, а Мавра Семеновна своевременно не внесла на обсуждение вопрос о введении общесемейного единомыслия.

Степан Фомич перестал читать книги, чтобы написать собственное сочинение. Авторы заумных книг, по его мнению, от мясного пресыщения стали вегетарианцами, он же потреблял мясную пищу только в праздничные дни. Он категорически уверовал, что ученые люди изнежены и самостоятельно могут только чиркнуть спичкой: в их многословных сочинениях есть лишь проблески, а людям нужен исчерпывающий смысл, что и хотел Степан Фомич представить человечеству собственным произведе-

нием. Произведение его должно стать малословным, причем звуковой эффект слов, по его расчету, станет равносильным громовому раскату.

Степан Фомич завел синюю тетрадь и на первой раскрытой странице вписал обычное слово: «Хищник», как бы озаглавив произведение. По вечерам он садился к лампе и, раскрывая тетрадь, погружался в думы о смысле жизни и о значении словесного излияния. Он придумывал слова для начала, произносил их вслух, но от этого не происходило грома. Тогда к нему подходила жена, справлялась о причине произносимых слов и, получив удовлетворительный ответ, задувала в решетку лампы, гася свет ради экономии.

Степан Фомич оставался впотьмах, размышляя о людском хамстве и сожалея, что в недра земного шара не опущен фитиль, ибо в недрах большие запасы горючего — и вечный свет тогда водрузился бы для всех. Он продолжал сидеть за столом, сдавленный сумраком ночи, пребывая в озабоченности о вечном свете, угасшем навсегда на остывшей земле. И что-то странное происходило в чувствах Тынова: чем больше сокрушался он о «вечном свете», тем меньше тяготился темнотой, порождавшей задушевную интимность.

«Чем темнее ночь, тем ярче отблески», заключал он по сему поводу, приходя к выводу, что только в общей темноте и зарождаются гениальные мысли.

«Тогда зачем же добиваться общего просветления? — ставил он вопрос, но тут же находил положительный ответ. — Общее просветление и есть конец света: свет не померкнет, а станет зримым концом! Тогда человеческий разум потеряет пытливость, ибо познает все до конца Вместо разумного существования наступит беспредельное блаженство жизни».

В углу избы трещали сверчки, должно быть тоже находя в ночной тишине душевный покой, отчего и выражали беспечность нрава.

Степана Фомича больше уже не угнетала ночная темнота, ибо мысль работала отчетливо и навертывались подходящие слова для задуманного сочинения, но на горизонте не появлялось даже отблесков: рассвет наступал нормальным путем, заползая в окна серой мутью. Тогда Тынов шел во двор, чтобы задать скоту утреннюю порцию корма. Дворняжка Шарик бросался к нему на грудь и шершавым языком лизал его губы в знак дружбы и преданности.

— Любишь, пес? — задавал Тынов вопрос, рукавом шубы вытирая на губах собачью слюну.

Шарик, ласкаясь, вертел хвостом.

Степан Фомич, пребывая в одиночестве, был рад псиному привету, не подозревая того, что отдай он пса недругу и посади недруг пса на цепь, корми хлебом, — тогда и верный пес перегрызет глотку ему, не вспомнив о прежней дружбе. И то, что этого не знал Степан Фомич, было хорошо: иначе ему мир показался бы тесным, чувства раздавленными, а сердце ущемленным, — тогда бы он удавился.

Под сараем, заслышав хозяйские шаги, гоготал мерин, — сподвижник Степана Фомича в повседневных трудах и малых радостях: Тыпов, обладая разумом, ладил конскую сбрую, придавая ей мягкость, чтобы не вредилась кожа лошади; мерин же обладал живой силой, пригодной для тужевого тягла. И гоготал мерин, выражая конскую радость и появлению хозяина, и охапке сена.

Тем временем наступал полный рассвет и оживала деревенская улица: пожилые люди, с серьезным видом, очищали дорожки, засоренные снегом, чтобы одной и той же тропой — от избы до риги — следовать в преддверие старости, в глубину могилы; бабы гремели ведрами, привешенными на концах коромысла — предмета терпеливой женской уравновешенности и беспределия скорбного бытия: жестяные сосуды не осушат колодцев, ибо вода прибывает из незримых земных недр и иссякает лишь бабья молодость и сила.

Только беззаботных детей не омрачало свежее деревенское утро: крепкий мороз румянил щеки, а санный разбег по отлогим горам обдавал жестким воздухом, отчего сердце было горячим, а чувствительность разжиженной. Детям обещают будущее, но радовались они нынешнему дню, ибо будущее их темно и неясно: превратившись в предков, они сами пообещают потомкам будущее.

Когда по улице проходил Абдул-Бехмет, — скупщик конского волоса и голых костей, — дети сжимали полы каратаек, показывая татарину свиное ухо, и, надрываясь, кричали:

— Князь!

На показ мнимого свиного уха Абдул-Бехмет отплевывался, слову же «князь» приятно улыбался, после чего протяжно визгливым голосом возвещал миру:

— Старье бёрем!

Слово «князь» льстило Абдул-Бехмету: все же он не простой человек, занимающийся производством полезных продуктов, а посредник в отношениях товарообмена.

Абдул-Бехмету было давно известно, что мужики не продают старья: шаровары, справленные к женитьбе, каждый мужик носит по праздникам до преддверия смерти, а готовясь к отходу в иной мир, передает эти шаровары потомку для долгой носки по будням. Единоплеменники Абдул-Бехмета давно перекочевали в города, где сытная пища и в изобилии старье, — он же остался в деревне, жил на краю, держал мелочную торговлю и трех жен. Жены Абдул-Бехмета носили на лицах покрывала, чем вводили в соблазн деревенских мужиков: мужики полагали, что все, скрытое у женщины от мужских взоров, именуется срамом, а срам не есть предмет зримости, а ощущаемое сладострастие. И, осуждая сообща многоженство, каждый мужик в одиночку искал случая изменить собственной жене.

Абдул-Бехмет, собственно говоря, не укладывал личного бытия в в рамки магометанского закономерия: он извлек только приемлемые па-

раграфы —жениться на трех, дабы не быть когда-либо избитому мужем чужой жены.

В годы войны торговые дела Абдул-Бехмета пошатнулись: брезгливые мужики, распознав, что голые кости, собираемые татарином, употребляются для обжижки сахара, не только перестали пить чай, но и наистрожайшим образом запретили ребятишкам собирать голые кости. Тогда Абдул-Бехмет прикрыл торговлю, а над женами потерял власть: жены сняли покрывала и, подравшись друг с другом, ушли неведомо куда. Мужики видели татарок без покрывал и долго удивлялись тому, зачем было скрывать лицо, когда у каждой из абдуловских жен оно было обычным.

Уход жен, однако, не омрачил жизни Абдул-Бехмета: по установившейся привычке он ходил по селу, извещая, что все же он «старье берет». Дабы забыть обиды, нанесенные поступками жен, он часто мурлыкал однотонные и тоскливые татарские песни о лихих конях и широких степях.

Абдул-Бехмет пел песни о своем народе, и тоска его была безысходной: лихие кони ныне впряжены в простые телеги, а просторные степи сузились. Когда Абдул пел, его узкие желтоватые глаза расширялись, рыжая, редкая козлиная борода подпрыгивала. На левой щеке у него было родимое пятно, поросшее волосами: три волосинки выделялись длиной и жесткостью, и каждая топорщилась самостоятельно, когда он пел. Эти волосы мужики называли волосом мудрости, но мудрым Абдул-Бехмет никогда не бывал: он жил в прошлом, сожалея, что татарский род явно переставал существовать. Абдул-Бехмет не знал, что его культурные предки все же не замели следов в историческое прошлое: возмужалое российское большинство и по сей день носит в обличии крупные азиатские черты.

Абдул-Бехмет и непосредственно сам оставил корни в плодородной российской почве: будучи юношей, он благоволил к молодой русской вдове — Катерине, лишившейся мужа на втором году по замужестве. Катерина благосклонно отнеслась к порывам юноши, ибо видела в этом прок: татарчонок ласкал ее по-своему, по-татарски, и она, не понимая значения татарских слов, познала какую-то особую сладость любви.

Татарчонок хранил тайну, хотя и мог говорить по-русски. Он приходил, и ласкались они молча, отчего Катерина не чувствовала ни стыда, ни сраму. Но все же Катерине не удалось скрыть следов любви к иноплеменнику: через год она родила мальчика. Обнаружив у ребенка монгольские черты лица, поп установил двойное преступление вдовы: внебрачное рождение и половую связь с инородцем.

Напугавшись небесной кары в двойном размере, Катерина умерла от страха без покаяния, чем окончательно скомпрометировала себя перед богом.

Через год поп, испросив архиерейского разрешения, крестил ребенка, наименовав его Климом. В родословных книгах Клим был записан под метриками Пересмешниковых — родственников умершего мужа Ка-

рины. Катерина доводилась Степану Фомичу сестрой, и Тынов взял льчика к себе на воспитание.

Клим рос в тыновском доме до пятнадцати лет, а затем, покинув ревню, бесследно исчез. Со времени исчезновения Клима Степан Фомич степенно становился повседневным посетителем Абдула: в чертах лица следнего он находил родство с обличьем пропавшего мальчика, которого так любил.

Абдул-Бехмет и Степан Фомич садились у окна, сообща наблюдая крестные горизонты. Текущий мир казался им узким, так как горизонт пускался за татарским валом — местом прежних боев, приносивших лаву и честь непосредственным предкам Абдул-Бехмета. Степан Фомич остиг разумом, что тайны мудрости порождаются молчанием, так как го-орливые люди облекают слова в праздный наряд, а не в обычную повсе-дневную будничность.

И обоюдное молчание удовлетворяло Степана Фомича, а равно и Абдул-Бехмета. Наоборот, если бы они разговаривали, то потеряли бы интерес друг к другу с первого же дня, — все слова можно пересказать в один день.

Степан Фомич раньше наблюдал за ростом и духовным развитием Клима: когда мальчику было восемь лет, мир ему казался беспредельным, а предметы в мире служили для ублажения взора и утепления сердечности. Затем мальчик стал примечать, что в праздничные дни люди едят блинцы, в будни же — похлебку, и мальчик, как и взрослые, отличал будни бытия от праздной напыщенности.

Как-то раз Клим бегал по пыльной дороге, и сам Степан Фомич подшутил над ним:

— Клим, прикрой клин, — сказал тогда Степан Фомич.

У мальчика вспыхнули щеки, и он догадался, что его срам прикрыт только коротким подолом рубахи, ибо бегал он до сих пор без порток У мальчика вместе со стыдом пробудился разум, чего не было раньше. Мальчик решил бежать, ибо чувственность имела перевес над только что пробудившимся разумом. Он решил бежать за горизонт, где, по его разу-мению, произрастают райские цветения и живет вечная улыбка. Горизонт казался мальчику близким, сомкнувшимся за татарским валом. Но пере-бравшись за вал и достигнув первой деревни, мальчик увидел горизонт за гумнами и познал обман. Он расплакался, но знакомые люди его уте-шили и отвели к Степану Фомичу.

— Дядя, — сказал тогда мальчик голосом взрослого. — Подавай портки...

Клим добавил еще три слова, которые произносятся, но не пишутся, отчего у Мавры Семеновны покраснели концы ушей. Она молча сняла с крючка чресседельник, чтобы высечь мальчика, но Степан Фомич спиной загородил Клима.

— Не замай, старуха, не замай, — сказал Степан Фомич жене, упо-требляя слова местного значения. Степан Фомич больше ничего не сказал

жене, а сам подумал о том, что все равно человеку надо знать не только слова, раз они произносятся, но и значение произносимых слов. Жена, может быть, и поняла бы его, но не одобрила, — оттого и промолчал он. Степан Фомич посадил сироту на колени и поцеловал в голову.

— Говоришь, портки нужно? Что же, будут и портки, раз чуешь срамоту, — сказал Степан Фомич и подумал о том, что если бы мир был голым, тогда бы и мальчику не пришлось прикрывать наготы.

— Старуха, — сказал он жене, — принеси пареньку праздничные шаровары.

Вечером Степан Фомич беседовал с Климом.

— Дядя, я мешаю тебе жить? — поразил Клим Степана Фомича вопросом.

Степан Фомич был поражен не тем, что ребенок сказал правду: он был ошеломлен сознанием, что мальчику надо лгать.

— Нет, родной, — сказал он после некоторого раздумия, — мне ты не мешаешь, а вот тете — да.

Мальчик, как казалось Степану Фомичу, не выразил недоумения: он будто бы знал, что для тети он есть предмет в избе, а не живое существо, а о предмет люди спотыкаются. Тогда Клим решительно встал из-за стола.

— Ты постой, Клим, не горячись, — робко произнес Степан Фомич, в то же время и радуясь ранней возмужалости разума племянника и огорчаясь решительными выводами. — Ты постой, я тебе сейчас растолкую.

— Толкуй! — ответил Клим и так же решительно сел.

Степан Фомич, смутившись, не сразу подобрал слова к «растолкованию»: не будучи отцом, он не предполагал, что детские вопросы поставят взрослого в тупик. Степан Фомич обдумывал, как бы попроще начать объяснения, но начал весьма с отдаленного.

— Ты знаешь, что бывает пустоцвет?

— А то?! Яблони цветут, а яблоков не бывает, — авторитетно объявил Клим.

— Истинно! — торжественно воскликнул Степан Фомич, обрадовавшись точному пониманию племянника и скорому концу разговора, которым Степан Фомич тяготился.

— Так вот, — сказал он, собравшись с мыслями, — твоя тетка, а моя, стало быть, жена, Мавра Семеновна — пустоцвет: она в молодости увяла, а созревши — не принесла плодов. Оттого суха и зла, нет в ее почве влаги.

Клим приложил указательный палец ко лбу, о чем-то задумался.

— То-то я думаю: отчего соседка Марья такая добрая! Взглянет на меня — плачет. А в праздник кусок пирога в руку сует. Значит, удобрена почва, раз рожает каждый год?

Степан Фомич расплакался, ибо в племяннике он почувствовал близкого и нужного ему человека: племянник завуалированные предметы обнаруживал в натуральной полноте, поэтому и определял их значение. Сам Степан Фомич рос под надсмотром матери, и предметы открывались ему

а миг: заботливая мать снова прикрывала предметы, в зависимости от го, будет ли полезно знать сыну значение предметов.

В возмужалом возрасте Степан Фомич посмотрел на предметы соб-'венными глазами и ужаснулся собственному невежеству. Но углубив-ись в книги, он видел умное, но чужое, книжное, но не житейское. огда Клим подрос, они вместе сиживали вечерами, читая книги.

— Клим, ты не сумлеваешься? — осторожно задавал Степан Фомич ›прос.

— Сумлеваюсь, дядя, потому что одни все оправдывают, другие — все карают. Нет ровной жизни, дядя, — сухо ответил Клим, затаив кие-то глубокие мысли.

И обозревая местные горизонты из окна Абдуловского жилья, Сте-н Фомич мысленно искал этой «ровной жизни». Не только жизнь, но ı поле не было «ровным»: за татарским валом черными точками торчали зерхушки двух высоких курганов, на одном из которых стоял Сте-іан Фомич, провожая глазами племянника, скрывшегося за горизонтом. Слим уходил, не объяснив причины, но Степан Фомич понял, что пошел н искать «ровную жизнь».

Обозревая местные горизонты из окна Абдуловского жилья, Степан Фомич ласкал взором вершину кургана, как точку опоры в своем скудном ытии. Он думал о Климе, но не представлял его будущего: «Нашел ли он овную жизнь?», — задавал себе вопрос Степан Фомич.

Абдул-Бехмет тоже обозревал местные горизонты, однако мысли его ыли направлены в прошлое: он думал о Востоке, откуда пришли когда-то го предки, отделяющие наше время десятком столетий, и представлял о-своему историю предков.

Род Абдул-Бехмета шел по прямой линии от Чингис-хана, великого ıага и чародея, объединившего монгольские племена в могучее «средне-зиатское становище».

Исповедавши коран, Чингис-хан держал обет о завоевании мира, тобы учредить на земле сплошное джигитство. От джигитов он тре-овал особой меткости в метании стрел, и ханские смотры проходили испытаниях на самих джигитах: джигиты скакали косяк на косяк на всем скаку метанием стрел должны были выбивать друг другу о глазу: промахнувшихся ожидала казнь, отличившимся воздавали очести.

Преемник Чингис-хана, Угедей завершил внутренние реформы слав-ого предка: им было введено устное узаконение презирать хилых, и во мя торжества джигитства, по узаконению Угедея, хилые должны были ыть уничтожены в ближайшее время.

Однако уничтожение хилых было временно приостановлено в виду резвычайных обстоятельств: выполняя обет, данный Чингис-ханом, Угедей во главе джигитов отправил племянника Батыя завоевывать мир, сам же остался управлять хилыми, приказав им разводить баранов и пасти табуны.

Разгромив российские уделы, полчища Батыя двинулись в глубь Европы. Но чешское пешее ополчение приостановило конский галоп джигитов, и хан Батый сбежал от позора. Батый не вернулся в среднеазиатское становище, чтобы не позориться перед хилыми: он укрепился на побережьи Волги, образовав «Золотую орду».

Потомок Батыя, Ахмед-хан, великий полководец и мудрый управитель, учредил «золотой шатер» для личного проживания. Однако, совет мудрых воспретил хану единоличное пользование навесами «золотого шатра»: «Храбрых больше нет, — сказал совет мудрых, — а стало быть, нет «золотого шатра» единоличникам». Не желая потерять «золотого шатра», Ахмед-хан пообещал основать «золотые шатры» для всех: он объявил вторичный поход на Русь, где в сундуках скрыта парча, заготовленная впрок. Ахмед-хан восхотел шатрами из русской парчи усладить взоры собственного народа. Ахмед-хан двинул в поход всех, ибо, как он разумел, победу принесет не галопный налет джигитов, а движение скопищем.

Войска Ахмед-хана двигались российским грунтом, поросшим слоем дерна: дорог тогда не было. В Поценском полесьи неожиданно умер Ахмед-хан, нечаянно проглотивший полевого паука.

Три дня войско жило в урочищах бортного ухожая, питаясь диким медом в знак памяти к усопшему. У покойника за трехдневный срок разнесло живот, и от него дурно пахло. Совет мудрых порешил, что вспухший живот принесет войску тучную добычу, а дурной запах — обильную пищу. В знак памяти к умершему над могилой были воздвигнуты два высоких кургана, некое подобие возросшего ханского живота.

Между курганами был устроен тракт для триумфального въезда Ашур-Карачуна — преемника Ахмед-хана, который должен постигнуть мудрость предка.

Под звон трензелей — единственных музыкальных инструментов того времени — Ашур-Карачун со свитой выехал в направлении между курганами.

Звон трензелей и татарское гиканье наполнили эхом Поценское полесье, и с опушки леса выбежал напугавшийся волк. Волк пробежал между курганами, приостановив таким образом триумфальный въезд: совет мудрых запретил хану въезжать, раз первым пробежал волк. По мнению совета мудрых, волк посрамил ханский род и унес дух войсковой бодрости в стан гяуров. Дабы спасти татарский народ, мудрые приказали соорудить земляной вал, что бы в будущем упором стены сдержать дух бодрости гяуров. Однако мудрые предвидели, что волк тем же ходом возвратится обратно, не найдя людей отважнее татар. За земляной вал, по жребию, они выслали отродка хана Шафран-Журбу для сбора податей и богатых даров, а также для приема поклонов от русских князей.

Шафран-Журба у входа «Волчьих ворот», — наименованных тогда же так, — учредил парчевую палатку для надзора за обратным возвраще-

нем волка. От Шафран-Журбы и происходила непосредственная линия родословной предков Абдул-Бехмета.

В смутное время парчевую палатку изничтожил мужик Иван Гуга — первый русский бунтовщик, не отмеченный историей. Татарского рода не истребил Иван Гуга, ибо бунтовал он не против людей, а против условностей. Из парчевого шатра татарский род перешел в избу — более теплое убежище. Последним стражем интересов своего народа оставался Абдул-Бехмет — огарок угасшего знатного татарского рода.

Абдул-Бехмет вечерним временем постоянно пребывал дома, был молчалив, думая о прошлом. Когда заходило солнце и в жилье ползла темнота, Степан Фомич покидал Абдула с его мыслями об учреждении повсеместного джигитства.

Возвращаясь домой, Степан Фомич обычно раскрывал страницу синей тетради и устремлял взоры в единственное начерченное слово «Хищник». Однажды он вписал в текст другое слово: «жирует» — и обрадовался ему: слово, правда, не принесло громовых сотрясений, но созвучием ублажало Степана Фомича. В этот вечер Мавра Семеновна по забывчивости не погасила лампы, — чего не бывало с ней долгие годы. Она сидела в заднем углу на кутке, свернув по-татарски калачом ноги. Ее занимали хозяйственные думы об отваренной поспе для заклейки бумагой щелей. В качестве обоев она подняла на дороге большой лист бумаги с текстом неизвестного ей содержания. Но для заклейки всех пазов листа оказалось мало, и Мавра Семеновна думала об оскудевшем времени, отвлекаясь от забот о керосине: для нее казался весь мир трещиной, которую надо залепить бумагой, предварительно измазав бумагу поспой.

Сим случаем и воспользовался Степан Фомич вписав в тетрадь слово «жирует». Другого слова он не подобрал, и взгляд его нечаянно упал на текст неизвестного содержания. С текста как-то по-особенному запрыгало слово «мир», заинтересовав его. «Жирует мир», подумал он, желая вписать это слово в текст, но тут же догадался, что мир пока еще не жирует Тем не менее слово мир его интриговало, ибо имело оно в зависимости от буквы троякое значение. Прыгающее с текста слово «мир» имело восьмеричное «и», обозначающее, по мнению Степана Фомича, покой, то есть «ровную жизнь».

Степан Фомич, как известно, перестал читать, не глядя даже на вывески городских магазинов, бывая на базаре. Как-то на стене он прочел слово «табак», и ему захотелось курить. Вместо табаку он увидел сарай — разочаровываясь таким образом и элементарной грамотой. Степан Фомич сознательно отвернулся от текста к окну, но перед глазами запрыгало восьмеричное «и». Затем буква разорвалась пополам, образуя два крючка. Протанцовав гопак — малороссийский танец, коим в молодости увлекался Степан Фомич — крючки сцепились, образовав букву «м». Отвернувшись от окна, Степан Фомич узрил, что слово «мир» ему приятно улыбнулось с текста, и тогда он не выдержал, потянулся рукой к листу.

Первые строки поразили Степана Фомича простотой слов и ясно изложенной мыслью.

— Есть! — радостно воскликнул он, но вскоре опомнился и оробел. Он напугал Мавру Семеновну, и она вздрогнула, оборвав мысли о тараканах, торчавших в пазах золотыми гвоздями. Она встала и еще на месте, сложив губы бантом, направилась к лампе.

Перед Степаном Фомичом в этот миг открылась целая книга мудрости и бытия, и не будь он философ — от практики, не развязался бы на губах жены бант, приготовленный для дуновения в решетку горелки.

— Мавра, — сказал он. — Принеси лык, — лапти тебе сплету.

Мавра Семеновна взглянула на свои ноги, обутые в последнюю пару сшитых когда-то мужем сапог на одну ногу: сапоги загнувшимися носами смотрели в разные стороны, а каблуки склонились одной стороной к земле.

— Сейчас, Степа, — ответила она, называя его ласкательно, как называла в молодые годы: блаженная радость подавила ее. В плетении лаптей она видела прок, превышающий расход по керосину.

Мавра Семеновна была расчетлива и экономна: она каждый разбитый горшок заклеивала замазкой по пазам, добиваясь первобытной прочности и огнеупорности. Принеся лыки, она залезла на полати, заказав мужу погасить свет по миновании в нем надобности.

Полати заскрипели под Маврой Семеновной, и она, свесив голову, увидела лист и вспомнила о заваренной поспе.

— Степа, ты не замажешь пазы? — сказала она и напугалась вопроса, что может отбить у мужа охоту к работе вообще.

— Залатаю, Мавруша, отдыхай! — ответил он бодро и ласково.

Мавра Семеновна обрадовалась душевному слову, давно уже не слыханному, и спокойно заснула.

Наполосовав лык и посадив основу лаптя на колодку, Степан Фомич, принялся за изучение текста. Чем больше он читал, тем ярче пылали его щеки, а в груди спирался горячий воздух. По мере приближения к окончанию чтения настроение Степана Фомича становилось ровным, лицо светилось радостью, а на губах играла улыбка. Нечесанная рыжая борода приобрела свежий, темнокоричневый вид и подернулась волнообразной рябью.

Заскрипевшие полати засвидетельствовали, что Мавра Семеновна перевернулась на другой бок, и Степан Фомич воспользовался случаем, спросил о том, где находится поспа.

Но Мавра Семеновна не отзывалась, а сухо захрипела и, откашлявшись, проглотила мокроту.

«Ну, пускай спит», решил Степан Фомич и стал резать на узкие полосы тетрадь с собственным сочинением. Слово «хищник» он перерезал наискосок, а от слова «жирует» отрезал конечные три буквы.

Заклеив трещины, Степан Фомич лег спать, и оттого, что в думах не было сомнений, ему было легко дышать.

«Должно быть, наступает ровная жизнь», решил он, засыпая...

... Утром в деревне произошли непредвиденные события: горело жилье Абдул-Бехмета, и в церковные колокола били набат. Жилье было подожжено с западной стороны, откуда дул ветер. У горнила пожарища суетились люди, вооруженные баграми и лопатами, первопопавшимися мужикам инструментами. Десяток мужиков длинным багром зацепили за князек, чтобы развалить крышу. Крыша рухнула, рассыпая тысячи искр, взлетевших ввысь. Вместе с искрами взлетел густой клуб черного дыма, предвещая нечто зловещее...

Однако в общей суматохе не принимал участия сам Абдул-Бехмет: в двадцати шагах он, обернувшись спиной к пожарищу, сидел на корточках и, опустив голову вниз, закрыл руками лицо. За спиной Абдула-Бехмета висел вещевой мешок, набитый сухарями, а сбоку болтались медный чайник и брезентовые башмаки. Нагибаясь, Абдул-Бехмет творил молитву, отчего мешок подпрыгивал, а чайник гремел. Дети, окружив Абдул-Бехмета, старались заглянуть ему в лицо, закрытое ладонями рук, будто они никогда не видели его лица. Никто из детей не выкрикнул слова «князь», почувствовав уважение к чужой молитве, теплившейся в груди этого человека. Обрушившаяся скала не прервала бы этой молитвы, ибо была она конечной.

Абдул встал, когда пожар стих, и, поклонившись пепелищу, направил стопы на восток, между двух курганов, в «Волчьи ворота».

Ранней зарей в эти ворота, под лай собак и гиканье мужиков пробежал волк, — ожидаемый тысячелетиями. Волк бежал на запад — назад.

На том месте, где Абдул-Бехмет предавался молитве, лежал лист, на который Абдул преклонял колено.

Подросток-мальчик взглянул на текст и произнес вслух: «Декорация прав гражданина». Степан Фомич думал поправить подростка, — первое слово обозначало «декларация», — но не поправил, ибо подросток не понимал значения ни того, ни другого слова, да и понимать, по мнению Степана Фомича, не следовало: текст бумаги был не тот, что прочитал он ночью. Степан Фомич взошел на вершину одного кургана, чтобы проводить глазами друга, пошедшего в неведомые страны: он не предполагал, что Абдул-Бехмет направлял стопы в Казань, дабы возвестить татарскому народу о возвратившемся с запада волке — носителе духа бодрости и возвестителе об учреждении мирового джигитства.

Сойдя с кургана, Степан Фомич направился домой, проходя мимо бывшего абдул-бехметского жилья, превратившегося в пепел. На сером деревенском фоне торчало темное пятно, куда ночной сторож Петр Безгузов выплеснул последнее ведро воды. Вода не вызвала шипенья, и Безгузов снял шапку, чтобы перекреститься на храм.

Степан Фомич прошел мимо и за богомолье не осудил Безгузова: он знал, что сотворенное крестное знамя означает конец работы, а не восхваление богу. Степан Фомич шел размеренным шагом и ни о чем не думал,

а лишь как-то косвенно пришел к заключению, что людям думать не о чем так как за них обдумали все другие.

На пороге сеней его встретила Мавра Семеновна, чему-то особенно обрадованная: ее сморщенное лицо, похожее в обычные дни на печеное яблоко, казалось ровным, словно разглаженным утюгом. Она была одета в праздничную паневу — юбку, отделанную под золото. С подола юбки разноцветными зубцами выглядывали мелкие гарусы, напомнив Степану Фомичу «аглицкие» карнизы с мелкой резьбой, — когда-то любимое им ремесло.

По улице шла толпа людей, разряженных по-праздничному, и десяток скрипучих голосов пел в такт горланящей гармошке:

...и церкви и тюрьмы сравняем с землей...

— Типун вам на язык! — вскрикнула Мавра Семеновна. Улыбка исчезла с ее уст, она зевнула и, перекрестив рот, ушла в избу.

Даже тем, что Мавра Семеновна одела праздничный наряд, не озадачился Степан Фомич, зная, что этот наряд она берегла для урочного часа. Мавра Семеновна нарядилась потому, что были разнаряжены все, а Степан Фомич доподлинно знал, что в праздничном наряде, на самом деле, не разрушишь церквей, ибо сама церковь — праздничное дело. Это немного смутило Степана Фомича, осудившего празднества. «Пока нужны ровные будни, чтобы праздник стал постоянным», решил он и успокоился.

В избе Степан Фомич также узрил внешнее видоизменение: перед иконой теплилась лампада, а на лавках был разостлан белый холст. Очищенные от паутины стены не зияли трещинами, и не видно было тараканов. Мавра Семеновна стояла на коленях, устремив взор на икону.

— Степа, — заговорила Мавра Семеновна, приподнимаясь. — Я Степа, не буду беречь добра: все равно, Степа, помирать нам с тобой, а жизнь, должно быть, хорошая пойдет.

— Ровная, Мавруша, — поправил Степан Фомич жену, не удивившись ее ласковым словам. — Ровная: не хорошая и не плохая. А за тебя я, Мавруша, боюсь: ныне ты праздно живешь, завтра опять ржавчиной будешь.

В котухе загоготал мерин в ожидании корма, и Степан Фомич вышел из избы. Мерин выразил радость ровным ржанием, а Степан Фомич был обрадован тем, что и мерин познал силу слов, поразивших ныне всех. Степан Фомич заправил в ясли охапку сена и впотьмах заплел мерину гриву.

Вечером, по привычке, Степан Фомич побрел к абдуловскому жилью, но на том месте зияла черная дыра, отчего стало тоскливо.

На сумеречном фоне еле заметно выделялись курганы, а между ними темнела ночь, плотно оседая в проходе между «Волчьих ворот». Степан Фомич думал о Климе, об Абдуле-Бехмете, скрывшихся в темное неизвестное будущего. Между «Волчьими воротами» лежал грунтовый тракт в неведомые города, где, быть может, живет человек, написавший то сочинение с исчерпывающим смыслом. Степан Фомич возымел желание

посмотреть того человека, но пошел бы он к нему ровным шагом, чтобы не задохнуться в пути, а придя — не напугаться. Было темно, когда Степан Фомич возвратился домой, находя опять здесь видоизменения: стекло, раньше загаженное мухами, стало прозрачным, и лампа ярче светила. В устьях печки теплился угасающий костер, пахло жареной картошкой и подгорелым луком. Мавра Семеновна сидела у стола, штопала дырявые варежки и пела песнь о розовой ветке, плывшей к милому по воде. Ее старческий голос переливался, то возвышался до пределов торжества по поводу того, что ветка говорила милому о любви, то понижался до нежно-грустных ноток, сожалея, что розовая ветка завяла даже и на воде. И грустная песня не вывела Степана Фомича из ровного настроения, ибо на лицах грустных людей он всегда видел лучшую улыбку, и за грусть, по его мнению, беспокоиться не следовало.

— Степа! — проговорила Мавра Семеновна, когда Степан Фомич сел на лавку. — Я видела, Степа, как ты ночью читал...

Голос Мавры Семеновны был задушевен, отчего у Степана Фомича стало тепло в груди, почему он и не ответил жене. Мавра Семеновна решила, что мужа напугала, и, желая успокоить, продолжала:

— Ты, Степа, не робь: ругать не буду. Чтение твое впрок пошло: ты лапоть, почитай, сплел. Я даже сама...

Мавра Семеновна, не закончив фразы, поднялась, достала с полатей аккуратно сложенную стопу всевозможных бумаг.

— Вот сама принесла, в комитете бесплатно дали. Говорю, возьму для Степана, пускай читает... Ведь ты, Степа, теперь поумнел?

Степан Фомич принял бумаги, но ничего не ответил жене. Он потряс стопу в воздухе, словно пробуя тяжесть веса, а затем подошел к угасающему костру, оставляя жену в недоумении. Когда бумаги сгорели, Степан Фомич сел на лавку и взял с полки лапоть, посаженный на колодку.

— Ты, Мавруша, неграмотна, а для меня все бумаги — пустое место. Вчера я прочитал одну, — там сказано все, что положено знать людям.

Сожженные бумаги были «разъясняющими», а Степан Фомич предполагал, что разъяснять могут люди, сами ничего не понимающие. К тексту, прочитанному Степаном Фомичом, не требовалось «разъяснений»: смысл его был конечным.

— Все, что думал я, — заметил Степан Фомич жене, — сказал другой человек. Я перестану думать, так как тот человек выдумал все. Для нас настала ровная жизнь, и я займусь опять ремеслом.

Мавра Семеновна от радости не нашла слов для дальнейшего разговора: она, как и все мужики, знала, что у Степана Фомича золотые руки, но пустая голова. Теперь она почуяла, что его пустая голова наполнилась разумом.

— Степа, ты лапти плетешь? — зачем-то спросила она, видя что именно это он и делает.

— Да, — ответил он.

— Никак писаные?

— Писаные, мать, писаные.

— С венчиком? — любопытствовала она.

— С венчиком, мать, с венчиком.

Степан Фомич повторял слова за женой механически, так как перестал думать, и слово «мать» вставлял лишь для большей убедительности. Он, увлекшись расписыванием лаптя, изощрялся в искусстве до последних пределов: венчик, выделяющийся рельефом над выемкой, переливался серебристым бисером мелких соломенных зубцов, крошечных цилиндров разноцветного узорного шолона и равномерных квадратов отшлифованного камыша. Посредине головешки лаптя Степан Фомич расписывал камышом стаю журавлей, косятчатым полетом отбывающих в теплые места.

Мавра Семеновна, заглядывая украдкой на работу мужа, думала о том, что этих лаптей она никогда не обует: они будут повешены в передний угол, для вечного обозрения, ибо нынешний день в ее сердце теплилась непонятная радость, и так же порадовалась она за журавлей, улетающих от холода.

— Мавруш, — перебил ее думы Степан Фомич. — Насуши мне сухарей.

Мавра Семеновна в знак согласия кивнула головой, даже не полюбопытствовавши, зачем мужу понадобились сухари.

А Степан Фомич думал о том, что сплетет пять пар лаптей и отправится в путь, чтобы взглянуть на человека, написавшего текст с исчерпывающим смыслом.

От «Волчьих ворот» лежал прямой грунтовый тракт до Москвы...

———

Отпор.

(Повесть.)

Борис Рингов.

I.

Яркий отлив кирпичных стен поднимался над окраиной. Четыре этажа крупных окон еще издали белели выкрашенными рамами. Врубленные подъезды были высокие и с широкими отворотами стеклянных дверей. По главной стене, обращенной к улице, часто нацепились балкончики, похожие на корзинки. Вокруг этого недавно выстроенного общежития понатекли асфальтовые дорожки, а на дворе был раскинут садик с площадкой для детских игр. Хорошенько вглядеться — за садиком увидишь два мусорных ящика, которые кто-то незатейливо выкрасил под речной песок.

Домишки рядом скосые, осевшие, как зачервивевшие грибы. Они стоят до крепкого ветра. В заборах, наполовину сгнивших, просвечивали проломы, через них на тротуары, на мостовую вываливались густые помои, и пробегали свиньи. На редких жалких воротах как-то некстати блестела жесть современного фонаря с номером владения, названием улицы и отделения милиции. С заросших дворов на новое рабочее общежитие упрямо ползла вонь, и вплотную, отделяясь лишь одним-двумя метрами земли, упиралось в процементированные стены безобразное запустение.

Настя вытирала руки, только что вымытые под краном, и смотрелась в зеркало. Последнее сильно выделяло не одно лицо, плечи, грудь Насти, но и ровную линию кроватей с обтянутыми одеялами и чистыми наволочками на взбитых подушках, подметенный пол, простенький шкаф, столики, стулья, портреты и плакаты, украшавшие противоположную стену.

Повесив на спинку кровати полотенце, Настя пригладила свои подстриженные волосы, потом надела юбку и блузку. Снятое фабричное платье она положила в шкаф. И дверцы шкафа на свежих петлях слегка поскрипели.

Было солнечно. Раскрытое окно бросало в эту комнату много света. От чистоты и простора в комнате, от насыщенного солнечными лучами воздуха совсем спокойно билось сердце. Настя упругим швырком закинула

ногу на край стула и, застегивая башмак, глянула за окно. Радостное чувство глубже захватило ее от мысли, что она навсегда вырвалась из грязи и жуткого домашнего болота, стоявшего там — внизу, в ободранных тесных квартирках с низко нависшими потолками. Настя радовалась и за себя, и за других, перебравшихся в общежитие, и немножко горевала о тех, кто еще там оставался. Второй дом, как говорили на фабрике, построят лишь через пять лет, а в разрушенных домишках никакая милиция не могла навести порядок. В той обстановке желание одеваться опрятно, есть в определенные часы, во-время умываться, засыпать придавливалось и пропадало. Там побои, ругань, запойная горячка, казалось, были необходимы, как птице крыло.

Вошла молодая работница Ольга. Дверь за ней громко хлопнула, потянутая пружиной. Ольга сдернула со своей головы платок, пскомкала его и стала кидать к потолку; он взлетал, развертывался и падал обратно ей на руки. От быстрого подъема по лестнице у нее вздрагивала кофточка и лажнел лоб.

— Уходишь? — спросила она Настю.

— Да, есть дело.

— Куда?

— В кружок.

— Знаю я тебя...

И Ольга подошла ближе. Нагло подмигнув, она уставилась на товарку. Но Настя отвернулась.

— К Левке сматываешься — вижу. Получку промахнешь с ним, поди. Оставайся-ка с нами, мы тут устраиваем зашибалку.

— Не ври!

Тогда Ольга притопнула ногой, расшпилила косу и завертелась по комнате, словно зазывая к веселью.

— Отрежь язык, верно!

Настя недовольно заметила:

— Мою постель не трогайте.

— С нас своих хватит! Ну, останься. Ничего с тобой не будет, если вечерок с Левкой не поредикюлишься.

— Говорю, что в кружок надо.

— Брось! — не отставала Ольга, беря подругу за пуговку блузки.— Пускай Левка помучается — сильнее любить станет. Ты знаешь — мы и Свища пригласили. Ну, что глаза выпустила!

— Не дури, Олька! — крикнула Настя. — Пора уж прекратить эти попойки. Увлеклись здорово ими, а не к лицу они нам, фабричным работницам. Нельзя тут второго болота создавать, как вон там, — и она показала рукой за окно на приземистые бревенчатые домишки.

Но Ольга только задористо подсвистнула. Она взяла Настю за плечи, повернула лицом к выходу, дружески шлепнула ее по спине, легонько поддала коленкой и проговорила:

— Иди, иди с нравоучениями к Левке. Ведь сама у него на выучке.

— И вовсе нет, — сказала Настя, немного злясь.

Она снова посмотрела в зеркало.

Про Настю нельзя было сказать, что ей нравится пофорсить. Наоборот, она ненавидела пудру, краски, помаду и прочие пахучие снадобья. У нее хватало споров с подружками на эту приевшуюся тему. Никогда Настя не занималась подмалевыванием своих глаз и кожи. Ее тянуло больше к мылу и холодной воде, и она отказывалась понимать, в чем же заключается привлекательность духов и пудры. Разве плохо помыть лицо холодной водой и обтереть всю себя шершавым полотенцем? Почему они не хотят следить за своим здоровьем, а обсыпаются какой-то мукой и старательно наводят углем брови, мажут губы. Особенно по вечерам, перед гуляньем в комнате назойливо вился сладковатый, прилипчивый запах. Подружки посмеивались над Настей и иногда насильно пудрили и мазали ей лицо. Она отбранивалась тогда и спешила к умывальнику.

У Ольги и сейчас щеки были попылены, но беловатый слой за день осыпался, приоткрыв пятна поблекшей кожи, а маленький вздернутый нос ее был синеват и сух. Губы имели нездоровый оттенок.

Настя знала, что она вот-вот начнет обычный «ремонт», подготавливаясь к гулянью. Заторопилась уйти. Подружка прыснула заглушенным смешком:

— Вертай попозже!

Но Настя ничего не ответила, скрываясь за дверью. Просьба Ольги ей известна: если ушла, то и не приходи скоро — не мешай кутить. Обыкновенно, когда Настя заставала в комнате шибкую на веселость компанию, то выпроваживала ее почти со скандалом: призыв к сознательности натыкался на пьяный хохот и вызывал язвительные шуточки.

Настя сбежала по широким ступенькам лестницы и пошла навстречу закату летнего дня. По улице ломовики гнали своих лошадей, вздымая пыль, покрикивая и ругаясь. Подвода за подводой затихала у чайной на углу. Настя перерезала улицу, чтобы пройти небольшим бульваром к огням фабричного клуба.

На дорожках бульвара играла и царапалась детвора. Скамейки были заняты подростками и взрослыми, и отсюда шел шорох разгрызаемых подсолнухов. Деревья тонули в пыли.

Здесь почти все были Насте знакомы. Ей приходилось беспрестанно кивать головой и парням и девушкам. Детишки бежали за ней, но отставали, не получив сегодня гостинцев. Надо бы остановиться и поговорить то с тем, то с другим, но пора уже быть в кружке, куда, может быть, она опоздала.

Все-таки радостно как-то быть среди людей...

Два парня отлепились от скамейки и подошли к ней.

— На катере, товарищ Настя!

Она засмеялась, и они подхватили ее под руки. Чувствовались мускулы парней через тонкие рукава блузки, и вот было крепче итти с двумя, которые тебя будто несут.

Греков — завкульт — улыбался веснущатым лицом. Он искусно передвигал свои рыжеватые брови, чтобы отметить неподвижность выпуклых глаз. Парень—из старших фабзавучников, ему за двадцать. Крутился с девчатами, но это не мешало Грекову активно развернуться в комсомольской ячейке.

Он спросил Настю:

— Куда приладилась?

— А вы куда? Разве не в кружок?

— Подумаем!

Другой — Еланя — был ростом чуть повыше Насти и Грекова. Ворот его рубахи был раскрыт, брюки шлепали клешами. Руку Насти он держал твердо. Скоро эта рука занемела, слабо трогаясь в плече, но парень не отпускал ее.

Еланя ответил Насте, подмаргивая Грекову:

— Знали, что ты тут пройдешь. В кружок всегда поспеешь!

Он посмотрел на темные волосы Насти, спадавшие на уши и слегка закрывавшие ее глаза, когда поглядишь чуть сзади, и повторил:

— Поспеешь!

— А вы-то почему отлыниваете!

— Нет, — мы тоже, — сказал Греков.

А Еланя предложил:

— Айда, ребята, на реку! Чорт с ним, с кружком! Вечер-то больно хорош. Настя! Погляди на вечер.

— Вижу. Ишь, поэт нашелся!

— Пойдем на реку, — упрямился Еланя, поддерживая свою просьбу толчком в бок девушки. — Голове теперь не до политики. Возьмем лодку, покатаемся.

Нагибаясь к ней, он касался кепкой ее щек.

Фабричные ребята окликнули их:

— Почтение, трио!

— Поди с двумя, Настюша! Дружнее!

— Возьмите в компанию!

Греков, напустив на себя строгость, отругивался:

— Отойдите! Хулиганью подражаете, а еще новая молодежь! Ой да рожи!

Один парень подскочил и, смеясь, замахнулся:

— Настя! Отворачивайся, я его ударю!

Но Еланя грубо вмешался, сталкивая парня с пути:

— Не задерживай! Не видишь, что на важное собранье спешим! Вам-то тут болтаться, нам же работать!

— Раааботааать! — и парень хлопнул себе по коленке. — Это ты-то!

Провожаемые издевками, они пошли дальше. Все знали, какой работник Еланя: прикидывается только, а больше за девками шлындает. Но известно было всякому, что Настю ему не сковырнуть. Она себя в обиду не даст. Много за ней и взрослых рабочих увивается, да ничего не выходит.

Еланя все щурился и думал, как они сейчас свернут с бульвара к реке, а не к фабклубу. Он старался итти с Настей в ногу и в такт шагов насвистывал песенку. Греков про себя решил: буду помогать Елане, если Настя заупрямится и не пойдет с нами. Что, завкульту погулять нельзя?! Навязали ему это культурье против его желания: не любил Греков копаться в книгах, проводить беседы, няньчиться с ликбезами и кружками. Сколько с ними хлопот-то! А от работы он не отказывался, поддерживая свое выдвижение. За него стоит сам Алешка — секретарь ячейки. И отчего не рассеяться с Настей там, на реке, над которой склонились деревья, отчего не провести время, покачиваясь в лодке?

Еланя спросил:

— Какую лодку возьмем?

— Поустойчивей, — дал совет Греков, — вот как Настя...

Она будто лишь теперь поняла, что рядом с ней идут парни и даже ведут ее под руки, прижав с обеих сторон. Жаркий вечер сдавливал дыхание. Пыль оседала в ноздрях и на голой шее. Конечно, не мешало бы покататься на лодке. Но нет! Пускай они себе катаются. Ей надо пойти на кружок.

— Мне не нужно никакой лодки, — заявила Настя.

— Чего выдумываешь? — удивился Греков.

— Дурака валяешь! — произнес и Еланя, от неожиданности опуская свою руку. — Девкино согласие дороже денег...

Настя оборвала:

— Перестань чудить!

— Сама вот куражишься...

— Брось! В кружок-то идете, что ль? Мы здорово запаздываем, ребята! Шутки в сторону! Чтȯ стали?

Еланя сказал:

— Не финти, Настя! Идем!

И он, схватив девушку за руку, потянул ее на первую дорожку. Настя, смеясь, отталкивала этого сильного парня:

— Пусти! Плохо, что оба вы пропускаете занятие.

— К дьяволу! — закричал Еланя, продолжая увлекать ее за собой.

Греков то решал помочь Елане, то раздумывал. Вот подойти бы к Насте, взять ее с другой стороны. Он видел, как в шутливой борьбе волосы ее растрепались, и лицо стало как-то особенно красивым. Губы вздрагивали, приподнимались, открывая высокий ряд зубов.

— Я тебя освобождаю от сегодняшнего занятия, — наконец произнес Греков, подмигнув Елане. — Ну, Настюшь?!

Но Настя уперлась руками в тяжелую грудь Елани и увидела его заметавшиеся глаза, подергивающуюся нижнюю губу, припотевший лоб. Она готова была рассердиться, но ее поразила молчаливая просьба на лице парня, и она громко рассмеялась. Неожиданно Еланя отпустил ее, недоумевая, отчего ей стало так весело. Греков же смущенно пожал плечами, что-то поняв...

Настя просто, но твердо сказала Елане:

— Я для тебя не та!

И она быстро свернула к мостовой и переулкам. Отходила от парней, не оглядываясь. Повидимому, они не спешили двинуться за ней: она слышала лишь собственные шаги. Ей вдруг захотелось обернуться и попробовать еще раз позвать их в клуб, но она передумала, не желая снова связываться с ними и еще больше запоздать в кружок.

Оба парня молча следили, как уходила Настя. Все меньше и меньше становилась ее фигура. Они надеялись, что Настя окликнет их. Но уже едва различались ее ноги в коричневых чулках, пропали совсем из виду загибы короткой синей юбки, с темным фоном зданий и заборов слилась ее голова. Замолк стук каблуков. Нет она не обернулась...

Греков бросил, подавляя обиду:

— Заноска!

— К Левке махнула, ей-бо! — наивно произнес Еланя.

— Пойдем!..

— Не одержала победу твоя словосыпь! А?

— Молчи ты!

У обоих теперь не было желания итти к реке. Тень глубокого вечера легла: на бульвар, на безостановочную в движении массу людей. Всюду роился гул голосов, смеха... Еланя и Греков врезались в самую гущу прогуливающихся и начали срывать на них свою неудачу. Они толкались, хватали кого-то руками, отбрасывали в стороны ребят, вступая с ними в бесцельный, но яростный и драчливый спор.

II.

Левка не поднимал головы с той минуты, как появилась Настя, и что-то записывал в блокнот, почти не слушая сипловатого голоса руковода. Настя пришла, когда беседа была на середине. Осторожно приоткрыв дверь, смело шагнула к своему месту около Левки. Острый секретарский взгляд проводил ее, пока она не села. Настя заметила, что Алешка, увидев ее, покачался туловищем, придерживая в зубах карандаш.

Настя редко запаздывала и сейчас не чувствовала никакой неловкости. Да многих кружковцев и совсем нет: вероятно, они предпочли вялым словам руковода Сокольнина легкое дыхание вечернего воздуха. Она подумала так, припоминая горячие излияния Елани о реке, о лодке, о дружбе. Но почему Левка молчит и не показывает своих глаз? Может быть, он недоволен ее поздним приходом? И Настя решительно толкнула его локоть.

— Не мешай, — услышала она его шопот.

— Обернись!

— Вот еще!

— Что с тобой?

Зорко наблюдавший за каждым движением кружковцев Алешка вынул из рта карандаш и стукнул им по столу. На его руке, как обрывки

бечевки, выступили голубоватые вены. Другой рукой он подпер щеку и почесал пальцем под ухом. Лицо у Алешки было усталое, напоминающее помятый лист пожелтевшей бумаги. Волосы его то-и-дело сползали на лицо, Алешка постоянно отбрасывал их от глаз и с висков.

Настя не видела взгляда секретаря и не слышала его стука. Она опять обратилась к Левке, который вывел на блок-ноте: «Где была?», и подвинул к ней эту запись.

— Подумаешь! Задержалась, а то пришла бы раньше, как условились. Не лезь, Лева, в пузырек!

— Ну, ладно!

И его добрые светлые глаза устремились к ней.

Раздался новый стук со стола Алешки. Они быстро переглянулись и замолкли. Прохаживающийся по комнате Сокольнин задержался около них, кашлянул, высморкался, поглядел на них с укоризной сквозь совиные очки и сказал громко, чтобы всем было слышно:

— Товарищи, надо быть повнимательнее.

После этого он вновь медленно потянул нить своей мысли, пытаясь построить какие-то убедительные формулировки. Алешка теперь почти не сводил взгляда с нарушителей порядка, жестко установленного им в кружке текущей политики. Пользуясь тем, что он — ответственный секретарь, Алешка сам руководил беседой, вопросами, задаваемыми в конце ее, обменом мнений. Он осуществлял в кружке безраздельный контроль. Даже Сокольнин ему подчинялся. Просматривая все поданные записки, часть их Алешка просто вкладывал к себе в портфель, а остальные передавал руководу. Никаких прений в кружке он не допускал. Алешка заменил этот, по его выражению, «бузотерский термин» твердым решением: «Только разрешаю высказывать мнения». В райкоме он хвалился, что завел в кружке «железный режим», благодаря которому занятия идут полным ходом и лето не срывает их. Алешка вел списки непосещающих, опаздывающих, делая им через бюро ячейки выговоры и напоминания о дисциплине. Он убежденно говорил, что «работа любит точность, а это можно проверить исключительно по бумаге». И, что бы ни случилось в кружке, он все старательно записывал, складывая бумажки в коленкоровые папки. Последние он достал на картонной фабрике с улицы Борцов. Рабочие этой фабрики вместе с ними шефствовали над волостью в Рязанской губернии. Алешка считал эти папки своей и ячейковой «гордостью», хотя другие над ним и посмеивались, если не прямо в лицо, то за глаза.

Настя написала Левке:

«Наш филин целится на меня».

Левка добавил:

«До выговора не доведет. Иначе — подниму бузу. Довольно ему чудить. Дать хорошую проучку не мешает».

Но она посоветовала:

«Послушаем-ка хандр-профессора. Ишь бродит».

А Левка добавил:

«Тоску наводит».

Настя сдержала улыбку и отодвинула блок-нот. Левка опять нагнулся и стал что-то рисовать. Она глядела вкось, чтобы слушать Сокольнина, но ловко сделанный шарж на руковода вызвал у нее приступ смеха. Лицо Сокольнина было в маске, а на бритой голове его торчали рога.

Присланный райкомом руковод редко овладевал вниманием аудитории, даже когда он говорил об очень интересных событиях. Любая тема погибала с первых четырех-пяти слов в его беззвучном голосе. Сокольнин не доходил до сознания слушателей, и лишь «железный режим» Алешки собирал кружок в полном составе. Левка не один раз высказывался — и остальные ребята с ним соглашались, что лучше самим по книжкам и газетам проработать тему из программы занятий, чем слушать Сокольнина.

Но Алешка спрашивал тогда, надвигаясь своими огромными очками на Левку и на тех, кто его поддерживал:

— Что еще поумнее придумал?

Вот Сокольнин вынул часы. Ремешок их вытянулся, и крышка звякнула. Взгляд его несколько минут обводил кружковцев, будто пытаясь узнать, надоел он им, или эти молодые головы захвачены интересом.

— Ну, я кончил, — заявил он тоном извинения.

Часы цокнули и привычным жестом были опущены в карман. Алешка перебрал записки при глубоком молчании. Потом неожиданно, но решительно сказал, приподнимаясь с места:

— На все вопросы товарищ Сокольнин будет отвечать в следующий вторник. Таково мое мнение.

— Пожалуйста! — поспешил согласиться Сокольнин.

Никто не возражал, и записки кружковцев очутились в секретарском портфеле, который лежал раздувшимся, напоминая об авторитете своего владельца. А последний продолжал:

— Послушаем мнения, товарищ Сокольнин. Есть у кого интересное? Кто хочет слова? Больше активности, товарищи! Никого?

Все думали только о том, чтобы поживее отделаться и не томить себя в комнатной духоте. Но Алешка поправил свои очки, оперся о стол вытянутыми, как шесты, руками:

— Буду вызывать, товарищи!

Сокольнин ходил между столами, позевывая и ни на кого не глядя. Ему также было нужно покинуть кружок. В седьмой раз цокают и прячутся его часы. В комнате высокий потолок, но трудно дышать. Алешка бегал карандашом по списку. Ребята зашептались, каждый о своем, подвигаясь по скамейкам ближе к выходу. Но вдруг Алешка назвал фамилию одной комсомолки. Никто не откликнулся. Тогда он строго проверил взглядом кружковцев, понемногу задерживаясь на их лицах, и сказал:

— Греков!

Снова молчание. Секретарь поправил правую клешню очков и резко стукнул карандашом.

— Нет? — спросил он.

Но Настя решила выручить парня и заявила:

— Греков понадобился в наш общежитейский красный уголок.

— Зачем?

— Я его очень упрашивала провести там небольшой вечер.

Алешка негромко заметил:

— Странно, что он не дал мне никакой записки. О чем там пойдут разговорчики-то? Интересно мне знать.

Его очки остановились на Насте, которая несколько смутилась, но все-таки нашлась и соврала:

— Дело связано с сегодняшней получкой. Будет с рабочими советоваться, как лучше использовать деньги, и чтобы не пропили их. Важно, ребята, отметить, что вопрос подняла беспартийная молодежь.

— Во-как! Молодец ты, Настя, что Грекова мобилизовала! — одобрил Алешка, и кожа на его лице сморщилась от улыбки. Он опять стал бегать очками и карандашом по списку. — Еланя!

Но здесь Сокольнин, забытый всеми, задержался против секретаря, пощупал ремешок часов, слегка подтянул брюки, обнаружив зеленые в клетку носки, и скороговоркой произнес:

— Мне некогда! Очень некогда! Я тороплюсь!..

Алешка попросил:

— Погодите. А где Еланя? Тогда ты, Левка!

— В чем дело?

— Ответь, для чего нужно в деревне самообложение? Правильно я задал вопрос, товарищ Сокольнин? Необходимо ребятам к отпускам подготовиться и не ударить в деревенской обстановке лицом в грязь.

Руковод, отдавшийся своим мыслям, едва уловил слова секретаря, но, машинально взглядывая на дверь, ответил:

— Можно!

А Левка обдумывал, как бы высказаться повернее. Из того, что рассказал им всем Сокольнин, он ничего не запомнил. Он не знал, как отвязаться от беспрерывно вставляемого руководом слова: «самообложение... самообложение... самообложение...». Казалось, что вся беседа сегодня состояла из этого слова. И Левка искренно обрадовался, когда Настя села около него. Но что же ответить на вопрос Алешки? Левка не хотел сидеть соловьем без голоса. Постой-ка! Нашел! Есть в газетах! Читал в библиотеке о задачах рабочих-отпускников и шефского общества в работе по самообложению.

— Не знаешь? — спросил Алешка, переводя взгляд на Настю, которая, по его мнению, не давала Левке обмозговать беседу.

— Самообложение проводится в деревне добровольно, — вскочил Левка и продолжал не запинаясь.— Идут собранные деньги на удовлетво-

рение местных нужд: скажем, на постройку больницы, школы или ка кого-нибудь общественного дела. Государству ведь одному не под силу все это по всему СССР, и здесь-то само население для себя же, для соб ственной пользы и культуры, должно выделить без всякого на то давле ния известные средства...

Алешка прервал его:

— Хватит, хватит! Понес, гадюка! — Богданова! Что такое мещан ство в связи с культурной революцией и прочим?

У маленькой девушки, вызванной секретарем, воспламенились щеки, хотя она, как и другие ребята, привыкла к неожиданному напору Алешки. Известно было, что он проводил выработанный им метод учебы стараться кружковца застать врасплох. Богданова встала, беспомощно бегая своими карими глазками по Алешке, Сокольнину и остальным Кружковцы удивлялись: этот вопрос ведь совсем не был связан с сегод няшней темой.

— Ну, отвечай! — говорил снова Алешка. — А то вот товарищу руководителю уходить надо... Как ты понимаешь? Слышала, что я спра шивал?

— Слышала.

— Валяй же!

Богданова теребила свой серый галстучек, и грудь ее заметно начи нала быстрее двигаться. Потом заговорила, чуть сбиваясь:

— Карл Маркс сказал, товарищи... А Ленин, товарищи, его допол нил, что... Да! Что это мещанство есть узкий процесс развития опреде ленного слоя общества. Классового слоя, товарищи! Это ограниченность понятий. Мещанство — трясина, которая стоит и не трогается с места Мещанин — враг начинаний и пассивный человек во всех случаях жизни Так говорили наши вожди, товарищи! Я скажу, что комсомольцы в отно шении нас держатся старых взглядов: нужно к нам другими шагами ходить. Вот что надо запомнить. Я про Алешу говорю, что он — дикий, осекает, когда какая-нибудь девушка запнется, а другие совсем, товарищи, залапались. Проходу не дают. Вылавливать таких надо. Есть такой...

Но ее Алешка остановил:

— Ты личного не касайся! Это дело ЦКК! Говори о вопросе, который я тебе задал, в целом.

— Да мне больше сказать нечего.

— Сядь!

Она облегченно вздохнула, усаживаясь. Сидящая рядом подружка одобрительно кивнула ей.

Алешка решительно вызвал:

— Сизов!

Сокольнин собрал со стола свои календарные записки, памятную книжку и руководства, щелкнул портфельным замочком, цокнул снова часами и сорвался из комнаты, едва кинув:

— Пока, товарищи!

Алешка за всех ответил, провожая руковода до самой двери:

— Всего веселого!

Но кружка он не распустил и снова вызвал:

— Давай, Сизов!

Рослый парень остался сидеть, мотнув взлохмаченной головой. Волосы у него торчали, как листья распухлого кочана. Плечи его были огромные, бугористые, из-за расстегнутого ворота виднелась волосатая грудь. Лицо с выпуклыми скулами и оспинками. Сизов, привыкший бить тягучее раскаленное железо, ковать его, днями коптеть в черном смраде кузнечного цеха, большим напряжением воли принуждал себя к учебе. Ему приходилось переламывать свою грубоватую натуру, когда он брал пальцами, похожими скорее на обрубки, нежный лист бумаги или хрупкий карандаш. Он всегда боялся сломать последний, а бумагу — испачкать и оттирал руки, предварительно поплевав на них о штаны сзади.

На новый вопрос Алешки: «что такое мещанство в целом» — Сизов долго не отвечал. Да и потом сказал что-то странное:

— Не могу тут сидеть, товарищи! Голова болит чтой-то! Я это самое мещанство не уважаю. Где оно, товарищ секретарь, водится? Буду с ним биться до смерти! Вынь его и подай сюда!

И Сизов ударил кулачищем по столу, отчего тот сдвинулся с места. Парень при этом оглядывался...

Впервые за весь вечер в комнате почувствовался молодой смех, долгий, звенящий. Ребята посматривали на комсомолок, как на отдаленный лес в ясный свет летнего утра. Им хотелось обнять их, хотя бы в шутку, но Алешка, смеющийся закрытым ртом, отпугивал всех своим видом сурового преследователя старого быта и новых пошлостей. И при нем баловаться опасались. Он был строг не только к самому себе.

Кто-то спросил:

— Сизыч? За какой конец ты мещанство-то волокнешь? Сам, наверно, даешь жене галстук завязывать!

И вновь в комнате поднялись шум и смех: знали, что у Сизова нет никакой жены. Но эта шутка возмутила его. Он поднял свое крупное тело над столом:

— Брех!

И швырнул книгу на пол.

— Узнаю поближе,—тогда я его, мещанство-то, подвыверну!—добавил он мрачно. — Чего гогочете-то?..

Алешка перестал улыбаться: он понял, что зашли слишком далеко. Призвал к порядку:

— Тише, товарищи!

— Ты его останови! — кричали ребята, показывая на Сизова.

— Нет, глава наша Алешка! — продолжал гудеть тот. — Где ты сыскал мещанство, чтобы о нем расспрашивать? Говори мне, очкастый пытатель! Откуда у меня мещанство?

Кружковцы давили смех, нагибаясь к столам. Алешка бил карандашом и сломал его, но шелестевший шум не затихал. Сизов высоко поднимал руку, словно лопату, и что-то пытался говорить, но его не было слышно. Голова его моталась, глаза скользили белками.

— Я тебя выведу! — пригрозил Алешка. — Поставлю негодное твое поведение на первом же бюро!

Здесь точно кто-то подкольнул Левку, и он вскочил. Высокая фигура, густые брови, нависшие на серые глаза, мягкий голос — было все это по-юношески внушительно. Ситцевая рубашка в синюю полоску прекрасно оттеняла чуть бледное лицо Левки. Постепенно ребята смолкли, но он все еще продолжал выжидать восстановления полной тишины.

Никто не был подготовлен к тому, что выкинет Левка. Даже Настя, которой он поверял свои мысли, удивленно взглянула на него. О чем он хочет говорить с такими воспаленными глазами?

Когда стало можно начать, он выпрямил руку и указал пальцем на Алешку. Потом его голос задрожал.

— Я тебя призываю к порядку, тебя, секретарь! Почему ты всегда выводишь из тарелки ребят, хотя сам-то знаешь столько же, сколько и мы? Не представляйся нашим профессором! Отходи от этого взгляда на свою персону! Ты, повидимому, забыл, что ты нам товарищ!

— Лишаю слова! — послышался похолодевший голос Алешки.

— Мы тебе не игрушки, понял? Чиновник! Бюрократ!

Секретарь закричал:

— Замолчи!

А Левка громил:

— Бездушный формалист! Ты не одного Сизова дергаешь, а весь кружок! Только спрашиваешь, а не помогаешь!

— Ли-и-и-шаю слоова! Поставлю на бюро!

— Ставь, сколько влезет! Я не боюсь! Тебя мы выбирали в секретари, а в кого ты выродился? Перебери-ка, вождь этакий, самого себя по косточкам! Ты мешаешь росту ребят...

— Не даю слова!

Алешка кричал, ошеломленно стуча кулаком по тонким доскам стола. Очки у него сдвинулись с переносицы, и глаза смотрели поверх стекол. Создавалось впечатление, что худое, желтое лицо секретаря имело четыре глаза. Оно стало багроветь, а крик из его глотки все разрастался.

Ребята вышли из-за столов и стали спорить друг с другом. Настя молча глядела на стоявшего против секретаря Левку — ее друга. Она его больше всего любила именно в такие минуты. Он справедливо выступил и стал гулко разрушать деспотизм Алешки. Она слышала голос последнего, осиплый, иссохший в постоянных речах и спорах.

Левка возбужденно бросал:

— Я выйду из кружка, если ты, Алешка, будешь на нем командовать. Ты хорош в практической работе, а тут теория и формулировки. Учись с нами сам, а не бери руководство. Надо прогнать из кружка тебя

и Сокольнина: тогда, может быть, ребята чему-нибудь научатся. Во всяком случае кружок погибает от твоего хозяйничанья. Ты это знай!

— Протестую! — подскочил к нему Алешка. — Кто дал тебе право делать мне замечания? Ну, говори!

Левка коротко ответил к удовольствию всех кружковцев:

— Комсомол!

После этого все направились к выходу, на воздух, в темные, теплые улицы. От Алешки отходили, будто его и не было в комнате. Скоро комната опустела. Алешка следил за уходом ребят угрюмо, стянув жесткую улыбку к углам рта.

Он отвык за три года беспрерывного руководства в фабричной ячейке комсомола критически относиться к своей работе. Парторганизация одобряла его блестящие доклады, и он застыл в сознании собственной непогрешимости. И оттого, даже когда ему «набили», Алешка не стал вникать в происшедшее, а взял свою записную книжку, отыскал в алфавите буквы «Л» и «С», и записал обломком карандаша: «Левка», «Сизов».

Такая запись значила у него тяжелое взыскание.

Когда Алешка писал эти фамилии, злое выражение искривило его лицо, а за очками упрямо мигали глаза: он решил, что сумеет поговорить с этими ребятами в другом месте...

Пустая комната осталась неубранной. Повсюду валялись обрывки бумаги, стулья и столы были беспорядочно скучены. В коридоре, куда вышел Алешка, блестели на полу плевки, а по углам валялись окурки и недогоревшие спички.

III.

Фабричная труба дымила каждый день и каждую ночь. Дым, вытекая из нее, расползался по небу то сплошными полотнами, то легкой сеткой. Иногда напористый ветер срывал его у самой трубы, бесследно рассеивая. Труба высилась над тремя корпусами, закоптелыми, с толстыми стенами, с окнами, заросшими решетом железных прутьев. Длинные заборы окружали территорию фабрики. Около главного корпуса бежала мелкая речка, грязная и вонючая.

Фабрика работала в три смены. Никогда не замирал пульс машин. Грохотанье разносилось далеко по окрестности. Рабочие и работницы сменяли друг друга, когда далеко несли свой вой фабричные гудки. У отработавших смену были остывшие лица, а у новых еще играла на губах песня отдыха, принесенная с улицы, глаза были подвижные, а шаги бодрые...

Левка стоял за станком, резал жесть, давил, выгибал ее, выбрасывая с однообразным стуком какую-нибудь ложку, кастрюлю, миску. Белые, блестящие стружки падали к ногам с ласковым звоном, завивались, дрожали, откатывались.

Греков и Еланя работали почти рядом. Около них был тот же грохот и та же гнущаяся жесть.

Они оба провели вечер у Ольги. В комнате общежития собралос человек двенадцать молодежи. Много танцовали, много пили, гремел мебелью и страшно беспокоили все население общежития до самой поз, ней ночи. Левка, проводивший домой Настю после скандала в кружкс помог ей прекратить безобразную оргию. Ему с трудом удалось прогнат местного хулигана Свища — грозу окраины — и еще какого-то парня Свищ кричал, что зарежет любого, кто встанет ему на пути. Левка, замс тив среди этого разнузданного сброда ошалелых от вина Грекова и Еланк с недоумением взглянул на Настю. Но та только пообещала ему обо всс, рассказать потом.

Компания выходила из общежития, выкрикивая площадные руга тельства. Работницы пошли провожать опившуюся ватагу ребят. Одн девушка — Шура — от опьянения не могла подняться, плакала и приста вала к Насте с жалобами. Насте пришлось, убирая комнату, выгонять окна простыней дымный, горький воздух. Левка сидел на подоконнике молча ждал, пока Настя освободится.

Ночь пряталась от света. Небо стало голубым и начало заго раться. Шура давно уснула. Утро непобедимо надвигалось, убивая одн тень за другой.

Настя перед сном умылась, почистила зубы, причесалась.

— Ты только расскажи мне о Грекове, — спрашивал Левка, – почему ты за него заступилась? Ты знала, что он будет здесь?

— Нет, не знала!

— Настя, скажи мне правду!

— Он с Еланей проводил меня до переулка. Звали покататься н, лодке, но я не пошла. Не могу себе представить, как они оба сюда попали Потом этот бандит Свищ... Ольга совсем разложилась.

— Она подала заявление в ячейку?

— Кажется, еще нет.

— Надо к ней поближе присмотреться. Ну, ладно! Поговорим завтра, Настюк! До работы следует хотя б немножко поспать, а то голов варить плохо будет... Эх, чорт возьми, как хорошо тут у тебя!

Левке приятно было так близко видеть ее лицо, ее большие, ясны глаза, чувствовать около себя ее крепкое тело. Он любил Настю, как лю бят огромную радость, пришедшую неизвестно откуда, возникшую и: ничего и как-то вдруг. И эта искренняя радость — горячая любовь i человеку, к другу, к девушке.

И он обнял ее.

— Я сомневаюсь насчет Грекова, — проговорил он, прислоняя свої лоб к ее виску, к пушистой мягкости волос. — И ты хороша! Мне тольк не хочется тебя обижать! Не связывайся ты с ним!

— Лева, брось ты его!

— Этого оставить нельзя. Какой из него культработник, если пьян ство в общежитии разводит. Вот только Алешка за него. Но мы ему рас кроем глаза-то!

И Левка усмехнулся.

— Славно его хватили! Ты начал бить нашего бюрократика, а мы все только теперь сумели разглядеть Алешку. Он, пожалуй, запросит отпуск в санаторий, чтобы не встречаться с ребятами. Он — паренек впечатлительный!

— Холку ему намылить стоит, а то зазнался!

— Не отвергаю.

— Одумается и поймет.

— А мстить не станет?

— Тогда ему не сдобровать: райком вмешается. По-моему, он еще головы-то не потерял.

— Алешка стойкий...

Но Левка не дал ей продолжать и, радостно целуя, привлек ее к себе. Настя шла ему навстречу...

* * *

Утром о пьянке в рабочем общежитии ходили слухи по всему району. Больше других упоминалось имя главаря хулиганов-окрайников Свища, который, как передавали, забрался со своей шайкой на женскую половину общежития, где хулиганы, напав на спящих работниц, изнасиловали их. И будто бы из соседних домишек были слышны крики о помощи...

Левка с Настей об этом ничего не знали, пока не оказались в своих цехах, придя туда с запозданием. Вокруг Насти собирались работницы с расспросами, но она пыталась рассеять вздорные слухи. Ольга слушала, наклонив голову, и ее опухшее лицо было едва видно. Она ждала, что Настя станет обвинять ее в дебоше, и готовилась поспорить, а если придется, то и подраться. Ольга посматривала на подругу, осторожно приподымая свои веки, покрасневшие от бессонья. Но Настя не называла никаких имен...

Постепенно выяснилось, что никто не был изнасилован: ни одна из работниц не заявляла об этом. По окрасочному цеху, где работала Настя, оказалось только несколько прогульщиц, но их отсутствия старались не замечать. Подруги решили отработать за каждую в обеденный перерыв, и Настя отрабатывала за Шуру, забыв про законный часовой отдых.

Вскоре о прогульщицах в окрасочном цехе стало известно по всей фабрике. Рабочие просто отнеслись к этому случаю, а администрация махнула рукой: ведь за них дружно отрабатывали, и производство не пострадало. Только некоторые комсомольцы, переговариваясь о событии в общежитии, одновременно раздували подробности о скандале в кружке текущей политики. На вечер срочно созывалось заседание бюро ячейки.

Левка в перерыве задержался у станка. При уходе из общежития Настя снабдила его пирожками. Греков и Еланя тоже остались на месте, опасаясь обстрела насмешками за пьянку. Они намеренно сели спиной к Левке, хотя он с ними и не пытался заговаривать.

Цех отдыхал от грохота ломаемой жести, визга сверлильников, о тяжких ударов многопудовых молотов. Рабочие, жившие далеко от фаб рики, вынимали из узелков куски наперченной колбасы, черный хлеб огурцы, разрезанные и посоленные. То там, то здесь слышались небойки беседы.

Левка доедал третий пирожок с творогом, как вдруг он неожиданн уловил свое имя. Он прислушался: переговаривались, и довольно громко Греков и Еланя. Пирожок был сильно зажат пальцами, оставаясь не доеденным, и Левка не шевелился, чтобы не пропустить ничего из слов парней. Он не любил подслушивать, но они говорили про него и при нем не думает же Греков, что ему ничего не слышно! О чем бы это им трепать языками?

И Левка, поглядывая на их пригнувшиеся спины, застыл.

— Она его обкрутила, дурака, — слышался голос Грекова. — Слеп как олух. Так ему и надо!

Еланя поддакивал.

— Эту стерву бить надо!

— Бесполезно! — насмешливо произнес Греков. — У всякого угла лижется. Намедни на фабричном барахле, где железо ржавевшее навалено, я ее застал. Вот там было дело! Хоть фотографируй!

— С кем была?

Левка весь напрягся, словно у него остановилась кровь, а по вискам кто-то ударил. Проклятые парни! Распускают дрянные слушки! Ему стало ясно, что речь шла о Насте.

А тонкий, как писк, голос продолжал:

— Иду поздно со стенгазеты. Учуял шорох на ломе. Я-то подумал сначала, что крадут. Задвигал ногами тише, нагибаюсь за вагонное колесо, и глаза стали привыкать к темноте. Смотрю...

— Ну!

— Погодь, не нукай! Сидит она на коленях у мастера Пустой Глаз и ломается.

— С Игнашкой, выходит?

— Он самый! Втирает ему: «Комсомольцы не трогают —отшпариваю».

— Чего напевал мастер-то?

— Убеждает ее да просит: «Ты мне ужо позволь, Настенька. В разряд возведу. Позволь, голубушка».

— Вот сволочь!

И Еланя сплюнул.

— «А если увидят?» — спрашивает та. А он отвечает, что, мол, с фабрики давно все ушли.

— Во лахудра!

— Не перебивай, Елашка! И тут бросилась она его целовать. Взасос целовала эту поганую рябую рожу, гадина! Меня и тебя не хотела, отталкивала все, а мастера-то — и в губы, и в глаза, и в щеки, дьявол бы ее побрал! Противно было смотреть. Вишь она какая!

Еланя выругался:

— Гадюка! Вертихвостка!

Левка размышлял: «С парнями Настя вела себя по-комсомольски». У него отлегло от сердца, всякое подозрение о шашнях Насти с Грековым исчезло, и пирожок снова оказался на зубах. Нет! Надо дослушать до конца.

Опять Еланя громко спрашивает.

— А дальше ничего не видел?

Левка засмеялся про себя: «Напрасно врете, ребята! Только почему они в нее так вцепились? Зачем им нужно закидывать ее грязью? Никто не поверит, чтобы Настя пошла на лом с Пустым Глазом».

— Как не видал! — услышал он ответ Грекова. — Самое интересное впереди!

— Валяй-ка!

На одно мгновение Левка перестал понимать, что говорил Греков. Он вздрогнул, а руки стиснулись в кулаки. Потом его уши едва начали улавливать сдержанный шопот завкульта.

Еланя, наконец, произнес:

— Слывет за честную. Расскажи — не поверят!

— Много таких честных-то у нас на фабрике! Вот оно где — мещанство, Елашка! А девка, право, кругом шестнадцать! Мне Левку жалко, что обкрутила малого. Он, видать, ничего не знает.

— Куда ему!

Дальше Левка услышал про себя.

— Парень на-чеку, — сказал Греков, снова наклоняясь к товарищу, чтобы можно было, скосив глаза, взглянуть на Левку. — Надо, Елашка, его предупредить. Как ты думаешь? Пусть знает все о своей марухе!

— Понятно!

— Ты скажи ему. Меня обзовет лгуном, ведь я его знаю!

— А чем докажешь? Фактов нету!

Левка готов был вступить в драку с ребятами. Чего выдумали про Настю эти черти! Может, от обиды, что их оттолкнула...

Он вскочил и подбежал к ним. Высокий, с засученными рукавами, он взволнованно стоял над ребятами. А те сидели и с аппетитом доканчивали разложенное на платке, запивая еду молоком прямо из горлышка бутылки. Греков чувствовал, что Левка может ударить его, но не двигался.

— Эй, вы! Клеветники!

Рука Левки, как багром, захватила ворот у Грекова, так что затрещала материя. Тот постарался сказать поспокойнее:

— Ты потише! Выгнал нас из общежития, а мы тебя вытолкнем из цеха! Живо сможем обделать...

— За хулиганство на производстве! — добавил Еланя.

— Гады! Попробуйте!

Но Еланя замолчал, будто он тут ни при чем. Левка отпустил ворот Грекова и сжал кулак, но парень слегка отодвинулся и смерил противника взглядом.

— Нечего пробовать!

— Не бить надо товарищей, — заявил Еланя, — а понять, чего говорят они. Вся фабрика скоро узнает о твоей-то: — вот, мол, какая птица у нашего активиста Левки. Ни одному парню проходу не...

— Какая? — заорал Левка вне себя. — Говори!

— Да ничего! — вставил Греков. — Услышишь!

— Подлецы!

— Сам не лучше!

Завыл гудок, прекращавший обеденный перерыв. Ссора обрезалась. Левка еще стоял перед ними с напряженными мускулами. Но комсомольцу ли драться? Прибьет ли он ударом вранье этих ребят?

Греков посоветовал, издеваясь:

— Ступай к станку!

— Я с вами посчитаюсь! — бросил он.

— Будем довольны!

— Очень будете довольны!

— Увидим!

И когда он отходил от них, то вслед ему прозвучал смех. Парни обрадовались сцене, разыгранной ими так артистически. Греков понимал, что Левка был глубоко задет, и немножко его побаивался. Ведь он к тому же состоял членом бюро ячейки. Греков надеялся, что парень «обстоится» и эту шутку раздувать не будет. А то быть беде!

Еланя, пуская станок, сказал:

— Ковырнули каналью! Отбрыкнись-ка!

— Он, наверное, теперь навертит Настьке-то!

— Само собой!

— По первое число! Ха-ха-ха!!

За бегом станка Левка этого уже не слышал. Но, если бы в цехе и было тихо, он все равно ничего бы не услышал: парень с болью сердца думал о Насте, которая так странно повела себя.

Ну, с чего это? Разве он так плох? Или, может быть, увлеклась «разрядом», который обещан ей мастером? Погналась за платьями? Ведь она получает жалованья достаточно! Что еще не удовлетворяет ее?

Зачем она напевала ему, что любит, когда кругом раздает себя? И какой интерес брехать Грекову, если он ничего не видел? А если верно, что видел ее на ломе с Пустым Глазом?

Настя! Настя! Да и он хорош: обмотали его вокруг пальца!..

Жесть на станке гнется, стружки скатываются к ногам со слабым звоном. Крепко охватывают железные когти кусок металла, но еще крепче и судорожнее держат и поворачивают его вздрагивающие пальцы Левки..

Крутит станок, поет свою металлическую песню...

IV.

На срочно созванном заседании бюро Алешка обстоятельно докладывал о происшествии в кружке. Он неистово бичевал Левку Михалина, который сидел молча. Мятое лицо Алешки было вдохновенно: ему есть о чем поговорить!

И стояла тишина, хотя на бюро присутствовало семь молодых, горячих...

Греков не смотрел на Левку: он что-то чертил у себя перед носом, перелистывая блокнот. Ему трудно было решить, кого из двух поддерживать. С Алешкой не сладишь. Нельзя высказать Левке даже двух-трех слов сочувствия: Алешка обвинит в «мягкотелости». Выходит, что за Михалина выступать нет никакого смысла. Хотя стоило бы: достаточно в цеху поиздевались над ним.

Свою речь Алешка растянул на целый час. По комнате носился ураган его слов, подгоняемых жестами. Секретарь ячейки больше кричал, чем говорил, о дисциплине, о поведении комсомольца в массах, об учебе, о лозунгах культурной революции. И только в самом конце он минуты четыре посвятил поступку активиста и члена бюро — Левки.

Закончил он предложением:

— Исключить Михалина из бюро.

Алешка сел, отирая рукавом пот со лба. Ребята молчали. У секретаря была всегда ясная и четкая постановка вопроса, и эта черта толкала работу, выдвигала множество новых мыслей, подчиняла ребят.

Никто из бюро не ожидал такого предложения Алешки, а меньше всего — сам Левка. Оно казалось слишком тяжелым, непродуманным. И Левка было вспылил, но оправдываться не стал: если ему ставят в вину его протест против деспотизма секретаря, то он будет и дальше протестовать...

Он только холодно спросил:

— За что?

Алешка протер очки и недоумевающе поглядел на спрашивающего. Создалось впечатление, что он не понял даже смысла заданного Левкой вопроса: разве он недостаточно говорил, если нужны еще дополнительные объяснения?

Он ничего не ответил Левке, а обратился к другим членам бюро мягко, но обрывисто:

— Кто хочет взять слово?

Никто не торопился выступать. Левка заметил, что ребята не собираются «крыть» Алешку, и это его обидело. Теперь ему было ясно, что предложение секретаря пройдет, несмотря на то, что он не совершил никакого преступления. Почему ребята так пассивны? Или влияние Алешки зашло уже так далеко?

Левка потребовал:

— Я хочу знать конкретно, почему меня исключают из бюро. Для этого не было приведено веских фактов!

— За бузу! Как пример! Пусть лучше один потерпит, чем развалится наш сплоченный кружок! — резко произнес Алешка.

— Правильно! — выкликнул Греков.

— Исключайте из кружка! — предложил тогда Левка.

— Недостаточная мера. Твой пример много значит: нельзя рвать авторитет, как сделал ты. Ты парень деловой, и жаль лишать бюро такого активиста, но дисциплина требует...

Но Левка оборвал его:

— Слышал!

— Не для тебя одного говорю! — важно ответил Алешка.

— Веско! — усмехнулся Левка.

И, чтобы не давать Алешке повода для новых речей, он счел за лучшее помолчать: может быть, выскажется кто-нибудь из ребят! Разве ему одному под силу пререкаться с Алешкой? Хорошо еще, что тот не поднимает его на смех, не сшибает шутками.

Но выступил только один Греков, во всем поддержавший секретаря. Больше никто не взял слова.

Левке было тяжело смотреть на товарищей. Он вместе с ними работал на фабрике, вместе с ними нес груз общественной работы, сколачивая из молодежи ядро новых людей. Он сжился с ребятами, как умел, влиял на оздоровление фабричного района, а теперь его — за борт! Стоит ли биться за себя в среде этих ребят, приглушивших свою волю и мысли? Не лучше ли отгородиться от этого безликого, очиновничившегося бюро?

А тут еще Настя! К чорту ее! Пусть отзванивается подальше!

От товарищей — камень, от той, которую любишь, — камень...

Алешкин голос заставил его поднять голову.

— Кто за исключение?

— Постойте! — вскричал Левка. — Меня спросили о чем-нибудь? Вот выйду на общее собрание и буду говорить...

Но Алешка его прервал:

— Мы тебя знаем, что ты есть. Ты, может быть, раскаиваешься, но понести наказание все равно должен. На общее собрание выносить это дело и не думай. Бузу поднимать не смеешь! Понял?

— Посмотрим! — крикнул Левка.

— Ты не смеешь вовлекать ребят в бузу, Михалин! — внушал Алешка. — Ты знаешь, как много надо еще сделать ячейке! Работы и без твоей трепки нам хватает по горло. Держи себя тише, парень...

— Знаю, знаю, — возражал Левка. — Ты, бюрократ, даешь в морду тому, кто хорошо ведет работу, давишь всякую активность, которая растет помимо тебя. Ишь обиделся! Подумаешь! Сам сознаешь, что кружок развалился! Твои подсчеты об активности ребят ничего не стоят. Ячейка меня выбирала? Выбирала! Так она пусть меня и убирает! Я докажу собранию, кто ты такой!

— Мое предложение твердое!

Левка с растрепанными волосами, со взбаламученными мыслями поднялся и пошел к выходу. Бюро молча следило, когда за ним закроется дверь. Только Греков слегка подсвистнул, провожая его. Теперь Левка проучен. Пусть он пободается с Алешкой на общем собрании! А могут и не допустить!..

После единогласного принятия предложения об исключении из бюро Левки Греков осмелел и попросил себе слова.

— О чем? — интересовался Алешка.

— Да об этом же бузотере, чорт бы его съел!

Один из членов бюро заявил:

— Вопрос окончен!

Но Греков сыграл на Алешкином авторитете:

— Я прошу слова у секретаря, товарищи! Вопрос идет о вчерашней пьянке в общежитии. Я прошу слова на несколько минут, потому что в этом возмутительном событии замешаны комсомольцы.

— А ты был там? — спросил тот же член бюро.

Алешка ответил за Грекова:

— Он проводил беседу в красном уголке. Мешали, что ль, пьяницы? — обратился он к завкульту. — Завелись-таки нежелательные элементы! Этот дом — наша большая заслуга, товарищи! Гниду надо прихлопнуть! Так?

— Верно! — послышались голоса.

Греков сообразил, пока говорил Алешка, что ему будет легче объяснить, почему он попал в общежитие, если подтвердить о своем посещении красного уголка. Но только откуда выдумал Алешка, будто он проводил там беседу? Не смеется ли он, может быть, зная, что и он, завкульт, участвовал в пьянке? Ага! Вот Алешка сказал, что Настя на кружке сообщила. А боялся, что расскажет о лодке, куда он приглашал ее бездельничать. Любопытная все-таки девка! Надо будет повидать ее после заседания.

— Тебе сколько времени? — спросил его Алешка.

— Я двух слов в уголке не успел сказать, как Свищ залез в общежитие. Он с Ольгой из окрасочного руководили. Вот Еланя свидетелем будет, если что. В новом доме у нас завелись хулиганы, которые разор там производят...

Алешка оборвал:

— Делаешь доклад? Сколько времени тебе нужно?

— Так, небольшое сообщение.

— Дать ему, товарищи?

— Пускай говорит!

— Тогда скорее! — согласился Алешка, нарушая повестку дня заседания. — Меньше болтовни!

Ребята улыбнулись: ведь сам секретарь не стесняет себя. Греков высморкался, думая в то же время, что бы ему сказать про Левку. Он

вынул из кармана какие-то листки, делая вид, что у него записаны уличающие факты, повертел в руках эти листки, покашлял...

— Время дорого! — подогнал его Алешка.

— Знаю! Так вот, товарищи! У меня здесь одни факты. Не буд освещать вопроса в целом: тут достаточно наговорено нашим уважаемы. секретарем. Быт нашинский еще далек от нового, товарищи! Но мы бс ремся со старым, бьем его культурой, которой маловато у нас. Известн: что было построено общежитие для наших рабочих. Помните, как мы вс боролись с жилищной комиссией, чтобы молодежи, особенно холосто| молодежи, было отведено несколько комнат. Мы рассчитывали, что, бла годаря новым условиям, молодежь оторвется от разлагающего влияни: своей старой семьи и местного хулиганья. Ведь там, в этих паршивых до миках, нельзя было жить без пьяного забытья. Мы это знаем на опыте потому что сами там жили...

— Правильно! — одобрил Алешка.

— Факты! Где факты? — потребовал Исаев, член бюро по оргработе

— Сейчас будут и факты! За мной дело не станет! Мы думали, чт(молодежь заложит коммуну, по которой равнялись бы прочие. А пока н(то получилось. Есть еще время дело поправить, если мы примем немедленно энергичные меры, товарищи! Поспешить надо с реорганизацией быта...

— Факты давай! — крикнул и Алешка.

— Когда не состоялась беседа в уголке, то мы с Еланей пошатались по бульвару. Бульвар наш — рассадник венерических заболеваний Следует поднять вопрос перед горсоветом об очищении бульвара от проституток. Много там всякого сброда вертится.

— Правильно! Надо будет поднять! — одобрил его Алешка.

— Наши ребята и девушки на этом бульваре только себя портят Мы услыхали, что у Насти в комнате собирается бражка попить после получки. Разговоры об этом ходили по всему бульвару. Многие собирались туда итти, даже и прямо враждебные рабочему классу элементы.

— Скверная история! — пробурчал Исаев, начиная хмуро поглядывать, точно он сам был виновником события.

— Конечно, скверная! Так вот... Часам к одиннадцати мы с Еланей отправились в общежитие проверить, что там такое может происходить по инициативе комсомольцев. У дверей толпа шумит, и все рабочая молодежь. Спрашиваем, в чем дело. Да нас, говорят, не пускают на вечеринку. Какую, я спрашиваю. Ай, говорят, не слыхал, что ячейковые-то устраивают! Вот тебе и на, думаю!

— Подумаешь, чорт возьми! — воскликнул Исаев.

— А ты что предпринял? — спросил Алешка.

— Чего предпринял? — как будто удивился Греков. — Постойте, товарищи!..

— Говори, говори! Не волынь, браток! — торопил его Исаев. — Как дальше-то дело пошло?

Алешка предложил:

— Давайте не перебивать, ребята, оратора!

— Тогда говорю, что разузнаю сейчас. Захожу в комнату, которая на четвертом этаже. Дверь открыта. Дым табачный, хохочут, хлещут водку из бутылок. Что такое, думаю. Видимо, я долго наблюдал, потому что снизу кричать меня стали. Обещали подождать меня те, которые остались на улице, а что мне им сказать? Я и отправился уговаривать разойтись. Не верят, что ничего эффектного нет; спрашивают все, где Свищ? Убеждаю опять всех расходиться. А некоторые рвутся в общежитие, прет туда всякий сброд, пытаясь столкнуть меня. Тогда я с Еланей входную дверь — на запор. Сколько свиста было и крика, как стали покидать улицу!

Алешка спросил:

— Окон не выбили?

— Обошлось все-таки. Входим в комнату потом, где от табака то-и-дело чихать приходится. Свищ здорово орудовал! Ему все, кажется, там подчинялись. Наших комсомольцев там...

— Что остановился? Говори, много?

— Погодите!

Теперь Греков видел, что все бюро заинтересовалось сообщением. Он мог позволить себе передохнуть. Налил из графина воды, промочил засохшее горло. Листки, которые вначале вертел в руках, засунул в карман, делая вид, что обо всем остальном он сумеет рассказать по памяти. По лицам ребят он видел, что они с нетерпением ждали продолжения, и смело понес дальше:

— В чем тут дело, соображаю? Глядь, и Левка в дыму сидит...

— Михалин?

— Да, он самый, товарищи! Едва верю своим глазам. Я к нему: «Что ты тут делаешь? А еще член бюро да активист!» — «Не твое дело! — отвечает. — На то и активист, что впереди массы иду!»

Исаев вставил:

— Это он спьяну!

— Конечно, без этого Левка сознательный, — согласился Греков, усмехаясь. — В комнате человек четырнадцать уместилось. Битком все углы забиты. Сидят на полу и подоконниках и тут же, товарищи, блюют... А Михалин наш сознательный на гитаре наяривает всякие вальсы. А пара какая-то танцы откручивала. Надоело мне на них глядеть...

— Назови других комсомольцев! — потребовал Алешка.

— Не запомнил! — притворился Греков. — Что там в дыму разберешь? Вот Левку-то глаза мои не упустили. Прямо взорвало меня, что такое хулиганство в новом доме, где должна быть наша бытовая культура. Позагадили все, а от ихнего воздуха-то с души воротит...

Исаев с новым вопросом:

— А Настя была?

— Не заметил, товарищи! После говорили, что без ее ведома забрались хулиганы. Хотя, ребята, это наши молодые работницы сами вечерку

организовали, а Левка их только одобрял. Ну, а они ссылаются на его авторитет. Стал я с ними выдержанно говорить, так мало слушают. Потом Свищ как заорет на меня: «Ноги переломаю, ощенячённый ВКП! Пей с нами! Скидавай пиджак и не разоряйся! Здеся все свои».

— Соловки по нем соскучились! — проговорил Алешка. — Качай, Греков, качай! Чем ты ему ответил?

— На скандал не полез? — спросил Исаев.

— Нет! Я к Левке за поддержкой было. А тот подбежал к Свищу, хлопает его по плечу, а мне заявляет: «Золотой человек Свищ-то в компании, честное слово! Ты его, Греков, совсем не знаешь! Не парень, а рубаха! Душа у него нараспашку, все за товарища отдаст!» Вот вам, товарищи, поддержка от активиста нашего и члена бюро! Этого я не ожидал...

— Выручил, называется! — И Алешка начал набрасывать новое предложение, быстро бегая по бумаге карандашом.

— Да, выручил! Послал он Свища прочь, говорит, что со мной один разделается.

— Ого! Герой, сказать нечего!

А Греков свободно плавал в собственном диком вымысле, созданном им, чтобы покрепче заколотить в Левку последний гвоздь. И он сам стал почти верить, что видел все это... Если бы он не зашел так далеко? Еще оставалось время, когда он смог бы помириться с Левкой.

— Ведь послушал его Свищ и отошел, — продолжал Греков. — А Левка гитару берет и звенит, мне же предлагает: «Катай с нами, Греков, или выкатывайся!» Я говорю ему, что надо хулиганов из общежития выгнать, вместе, мол, за них возьмемся, а он и слышать не хочет. Кругом смех. Тогда Михалин опять ко мне обращается: «Видишь, над тобой смеются». Кто-то уж запустил в меня бутылкой — мимо ухнула, да в стенку. Вижу — плохо мое дело. Видать, не урезонишь, а без носа отсюда уйдешь. Ну, и пришлось ретироваться, товарищи!

Исаев задвигался по скамье и сказал:

— Жуть!

Греков сел, торжественно всех оглядывая, и потер лоб платком, будто у него выступил пот. Алешка приподнялся, оправил очки и прочел достаточно ровным голосом свое предложение:

— «Льва Климентьевича Михалина, активиста, бывшего члена бюро комсомольской ячейки, за разлагающее влияние, оказываемое им на молодежь фабрики, исключить из рядов организации на год с испытанием. На очередном общем собрании сделать объединенный доклад о пьянке в общежитии и о нарушении дисциплины в кружке текущей политики. Доклад поручить Алексею Демину. Завкульту поручить срочно озаботиться составлением письменного доклада о культработе на фабрике, где осветить отрицательные факты в положении общежития с указанием фамилий».

Греков увидел всю серьезность выводов, которые сделал Алешка. И ему стало не по себе: он не добивался исключения Левки из комсомола. Греков хотел только дать парню просто щелчок, чтобы тот знал, с кем имеет дело. А тут вдруг предложена такая мера. К тому же может открыться вся его штука... Но Алешка уже голосует, отбивая в воздухе:

— Кто за? Кто против? Принято единогласно!

V.

В комнате Насти и во всех этажах общежития прекратилась послеобеденная суетня. Детишки на улице, на бульваре.

Левка пристроился на всегдашнее свое место — на подоконник. Насти еще нет. Он пришел к ней, принес ей свои мысли, хотя в последнее время старался с девушкой не видеться. Искала ли она его? Он не был у нее только три дня, которые для него растянулись в месяцы.

Внизу по улице шли прохожие, изуродованные, приплюснутые, когда глядишь сверху, трусили извозчичьи клячи. Со дворов ветерок сеял на мостовую клочки бумаг, соломинки. Вон у скамейки женщина таскает за волосы ребенка. Деревья, посеревшие от пыли, едва шевелят своими листьями.

На старой окраине люди гибнут заживо: они мало видят солнце... Жизнь едва-едва начинает хорошеть...

И Левка думает, водя глазами по комнатной обстановке, простой и незатейливой. Здесь вот человек становится совсем другим от чистого воздуха, которому открыт свободный доступ в распахнутое окно, от вымытого пола, прибранных кроватей, никелированного умывальника, отражавшего солнце, отчего тот казался серебряным. Здесь отдыхают глаза...

Этот новый дом — крепыш в окраинной грязи. Рабочие выглядят здесь немножко уже по-другому, хотя они пришли оттуда — снизу. Ни одна работница не хочет итти туда даже в гости, приглашая родных лучше посидеть в общежитии. В некоторых семьях вошло в обычай проводить воскресенье у выселенцев...

Против Левки стоял шкаф с книгами, из рамок по стенам глядели выдающиеся революционеры, а на двери белел приколотый кнопками список дежурных по уборке комнаты. Но дежурной Шуры почему-то в комнате не было. Левка выстукивал пальцем просьбу войти, но ему никто не ответил, тогда он открыл дверь, которая никогда не была на запоре.

Обогретый солнцем Левка слегка вздремнул. Ему припекло щеки, нос, лоб. Всем телом он отвалился на раму окна, положив руки на затылок. Грудь его тихо чередовала свои подъемы и спады.

— Упадешь!

Он вздрогнул, открыв глаза, и схватился за подоконник. Перед ним была Настя. Волосы ее выбились из-под платочка, радостная улыбка трепетала на лице. На ней было ситцевое платье с белыми и синими кра-

пинами. Она покачивалась на ногах, обутых в сандалии, ловкая и напряженная.

— Это ты? — спросил Левка, не зная, с чего начать.

— Я!

— Ждал тебя!..

— Вижу!

— Почему так сухо?

Но вместо ответа Настя лишь пожала плечами; отчего на ее шее забегали голубоватые жилки.

— Настюшь? — позвал он.

— Что?

— И ты туда же?

Тон Левки поразил ее. О чем он говорит? Может быть, о позорном деле, развернутом Грековым и Алешкой? Почему не скажет, где он пропадал эти три дня? Она приходила в цех, но его станок молчал, и Левки за ним не было. Ребята по ее адресу отпускали сомнительные шутки. Она ходила и к нему на дом, но его мать не знала, где он, и сама беспокоилась. Маленькая обиженность тенью легла на ее сердце — оно было уколото его невнимательностью. А сейчас все это прошло. Левка, ведь, здесь, около нее, сидит грустный. Она хотела его обнять, но удержалась и сказала совсем не то, что думала:

— Куда это туда?

— Не знаешь?

У Левки сразу вскипела гневность.

— Чего кричишь?

— К чорту на рога полезешь из-за этого!..

— Да ты расскажи толком!

— Эх, зачем я приволокся сюда! Ты, видать, шмарина, как и прочая ваша сестра! Почему ты меня изводишь?..

— Я?

— А то кто же?

Левка кричал, соскочив на пол и бегая по комнате. Он то сжимал кулаки, то прятал руки в карманы, боясь, что не сдержится и ударит Настю. Он чувствовал, как все клокочет в нем от обиды...

Настя старалась быть спокойной.

— Лева! Что с тобой? По-моему, ты виноват, а не я!

Левка остановился. Он забыл, что шел к Насте, как к любимой, шел не для разлада. Или она ничего не понимает или прикидывается перед ним, не хочет сознаться в том, что все уже знают? Какие у нее большие глаза? А лицо у нее как побледнело?

— А твои шашни с мастером! Вспомни-ка, что ты выделывала там на ломе! Слышал я, слышал...

— Я! Что с тобой!

— Лахудра ты за последний сорт! — воскликнул снова Левка. — Отказываешься! В привычку! Меня обволочить на алименты захотела!

Пустой! Не на того напала! Меня не обернешь. А я-то думал, что ты — настоящая девка, а не этакая скамеечка. Мастер-то доволен остался, а?

И Левка к словам прибавлял еще жесты, пояснявшие мысль.

Настя, пока он говорил, все сильнее краснела. Глаза горят. Большая девичья обида вдруг подступила ей к горлу, трудно было выговорить хоть одно слово. А тот, кому она доверилась, как хулиган Свищ, топтал ее сердце и позорил, как первую попавшуюся с улицы. Что сказать ему? Будет ли он верить ей? И что он говорит? Ни с каким мастером у нее ничего не было... Откуда это он все взял?

А Левка снова кричал:

— Молчком отделываешься! Ага! Раскрыто, значит! До свидания!..

Он вдруг стремительно оставил Настю, бросившись к двери. Но она всхлипывая подбежала к нему. Первые слезинки покатились по ее лицу на Левкину рубаху. И голос Насти сделался неровен:

— Лев-ва! Погоди-и! Послу-ушай, что-о скажу тебе!

Левка поддерживал ее и недоумевал: почему тогда она не торопится отгородиться от клеветы и Пустого Глаза? Он резко ответил:

— Да чего слушать подлюку?!

— Никому не верь, Лева!

— И тебе? — зло переспросил он.

— Нет, мне можешь, — наивно, словно ребенок, произнесла она.— Неужели ты мне не веришь, Лева, дорогой мой?

— Это сумей доказать...

— Ведь ты комсомолец! Да?

— Ну, что ты хочешь?

— Хочу поглядеть на тебя!

И она вытерла заплаканное лицо концом его рубашки.

— Оставь!

— Давай, Лева, не объявлять войны, — старалась пошутить она.— Ты же любишь меня, правда? Тогда бы не пришел ко мне?

— Все расскажешь?

— Ничего не было, Левушка! Выдумали!

И в тихом разговоре, когда сидели они, прислонившись друг к другу, Левка передал ей скверную сплетню Грекова. А Настя спокойно проводила ладонью по щеке парня и только изумлялась богатым вымыслам завкульта. Она не могла оправдать Левку, что тот поверил клевете. Греков — известная дрянь, которая не живет дня, чтобы не молоть всякий вздор. Ребята его хорошо знают. Если бы не Алешка, который выдвигал Грекова по общественной лесенке, то ему не пришлось бы вклеиться в комсомол. Подхалимство помогло Грекову приобрести авторитет. Настя рассказала Левке, как она выручила завкульта перед Алешкой в кружке — просто, по-товарищески. А Греков — злобный, обидчивый хвостист. Если он имеет против кого-нибудь зуб, то всегда постарается отомстить.

Левка, наконец, сказал:

— Сволота! Он и меня закидал, Алешка же ему поверил! Проклятый подголосок! Он за тобой прихлыстывал?

— Звал иногда погулять...

— Вот, вот! Он не упустит! А ты?

— Никогда не соглашалась ходить с ним. В последнее время он стал появляться со своим неразлучным другом Еланей. Этот тоже показывал против тебя. Простоватый дуралей он!

— Малый подпал под влияние. Такими-то Грековы да Алешки и умеют пользоваться. Один давит, а другой подначивает. А как на фабрике? Насмехаются, поди, шельмуют меня и разругивают: я — прогульщик! Слышишь, Настя? Но я глаз туда не мог показать, хотя за собой ничего плохого не чувствую.

— Пустяки, Лева!

И Настя лаской грела его, восстанавливая прочный мир между ними. Левка заставил себя, если не забыть, то отодвинуть встряску, выбившую его из колеи активной общественной работы и привычного труда на фабрике.

VI.

Общее собрание ячейки продолжалось уже третий час. Оно было, как бурный митинг. Алешка давно устал говорить, и его голос стал совсем ржав и скрипуч. В начале собрания он был необычайно оживлен, когда глядел на битком набитый зал: налицо все комсомольцы фабрики. Ребята сидели, теснясь на скамейках, стояли в проходах. Большой и вместительный зал клуба редко видел столько молодежи. Окна были раскрыты, но духота от этого не уменьшалась.

Секретарь потирал руки, говоря в президиуме:

— Вот активность! И когда мы успели напринять в союз такую массу? Замечательно все-таки! Этакий плюс надо зачесть! Ай да достижение! С таким числом вышибем из окраины хулиганский сучок!

Греков, сидевший справа, заметил:

— Поглядим!

Алешка оглянулся на него, но беседу вести перестал. В прениях выступали с горячими речами. И в зале постепенно нарастал шум. Алешка еще раз взял слово, но к его удивлению кто-то из глубины зала крикнул:

— Долой!

Но возглас остался одиноким, и Алешка успокоился. В конце речи ему аплодировали с передних скамеек, а задние негромко шумели. Сторонники Грекова потребовали перерыва, желая воспользоваться им для обработки «несознательных». Греков теперь вел настойчивую борьбу с Левкой, собравшим вокруг себя немало комсомольцев. Отступать Грекову было уже поздно...

Собрание — порожистая речка, и надо, чтобы она текла к Алешке и Грекову. Но так ведь было всегда, с тех пор как Алешка Демин—более трех лет бессменный секретарь.

— Не нужно перерыва! — крикнула Настя.

Голоса разделились. Когда поднимали руки, то большинство голосовало против перерыва. Почему-то настаивал на переголосовании Греков, но Алешка отмахнулся от него, как от осы:

— Явное большинство! Чего пристал?

Представитель райкома, сидевший рядом, скосил глаз на суетящегося Грекова, пытаясь понять подоплеку создавшегося настроения. Этот райкомец был выделен на фабричное собрание по настоянию Левки, действовавшего по поручению группы ребят, решившихся пойти на все, но только разоблачить обюрократившегося Алешку и его подхвостников. Каждый комсомолец знал еще до собрания, что в организации есть два лагеря, которые должны будут хорошенько подраться.

Много было криков, шума, передряг. Алешка устал одергивать ребят, и казалось, что его звонок звучал громко, а многие совсем его не слышали, будто оглохли. Однако внимание ни у кого не притуплялось: все ждали какой-то развязки. Вот секретарь произнес новую речь, последнюю, как он сам заявил, когда увидел натянутые, недовольные лица. В это время в дверях, прислонясь к косяку, стоял Свищ. Его не скоро заметили, но после все начали поворачиваться назад от речи Алешки, от его засыпанного песком голоса.

Алешка остановился и спросил:

— В чем дело?

Греков первый указал на хулигана.

— Видишь Свища?

— Где? — изумился Алешка. — Как он сюда пришел?

— А вон поднял руку!

— Еще этого недоставало! Кто его пустил?

— Чорт его знает!..

Свищ оторвался от косяка двери и действительно протянул руку, точно прося у президиума слова. Держался он смирно, неловко чувствуя себя под сотнями знакомых, но чужих глаз. И в зале вдруг стих всякий шум. Комсомольцы насторожились, ожидая от хулигана резкостей и словесной грязи. Но Свищ стал говорить, с трудом складывая и раздвигая в замешательстве полы своего засмоленного пиджака. Носки его ботинок ерзали по полу.

— Явился я сюды показать, чему был свидетель: никакого Левки в нашей компании не было слыхать. Относительно Елани да Грекова дело другое, ей-бо!. Они со мной вертелись. Конечно, как полагается в хорошей компании, где позволяется выпить и сидеть без скуки... Мне...

— Врешь! — вскричал Греков.

Алешка прохрипел, нахлестывая воздух звонком:

— Не даю слова! К порядку!

— Мне надобно показать, — упрямствовал Свищ. — Пускай напраслину не возводят! Парни мои тоже скажут...

— На каком основании ты сюда явился, гражданин? — оборвал е Алешка, одновременно строго взглядывая на Грекова.

Свищ застопорился, посмотрел на председателя, а потом сказал

— Показать, чего знаю!

— Не даю слова! Здесь комсомольское собрание, а не хулигано твоего района! Понял?

— Обвиняемому рази заявить запрещают? — произнес снова Свищ вспомнив, что ему дали высказаться, перед тем как суд приговорил ег к высылке из города в отдаленный край. — Раньше на судах давали..

Алешка рассвирепел:

— Прошу оставить собрание, гражданин!

Переговоры секретаря ячейки со Свищом проходили быстро. Никт не решился вмешаться, чтобы дать возможность договорить окраинном хулигану. Представитель райкома толкал Алешку коленом, но тот про нимал это по-своему: надо гнать.

И он повторил:

— Выходи!

Тогда Свищ мешковато задвигался, а затем его неловкость сразу по шла, и он озлобился:

— Собрались тут, шкурехи! Суд, поди, называется! Самих засудит бы! Я думал — у них в самом деле по справедливости разбирают человека Да пошли вы все к чортовой матери!..

Он круто повернулся и исчез за дверью. И только, когда он ушел Алешка признался себе, что допустил ошибку, не дав хулигану выска заться. Может быть, Свищ не стал бы лгать...

Левка потребовал, чтобы Свища позвали обратно. Он говорил, чт в рядах ячейки есть скрытые хулиганы, более подлые, чем этот Свищ и ег пьяная бражка. Свищевцев легче обнаружить — они орудуют открыто но с ними можно повести и культурную работу. А с комхулиганам в среде ячейки вести борьбу труднее. Представитель райкома поддер жал Левку. Тогда Алешка, уже ругая себя, попросил Еланю сходить з хулиганом.

— Веди его сюда обратно. Скажи ему, что мы хотим его слушать В общем, ты с ним договорись...

— Ладно! — ответил Еланя, направляясь к выходу.

Алешка продолжал:

— Пока приведет, даю заключительное слово Грекову.

Со скамеек раздались свистки и голоса:

— Долой!

— Просим!

— Клеветник! Подхалим!

— Вон из комсомола!

— Дать ему слово! Говори!

— Долой!

— Убрать из президиума!

Но Греков начал свою речь. Лица ребят были взволнованы. Постепенно крики утихли, уступая крепкому напору завкульта. Левка слушал, кипя негодованием на этого «комсомольца». Руки его снова напряглись, словно подготовляя жестокий удар. А тот все продолжал выкладывать одну надуманную историю за другой, повторяя то, что он не раз говорил раньше, когда его слушали при глубокой тишине. Опять голоса прерывали его:

— Слышали!

— Довольно накручивать!

— Где видел? Навираешь, завкульт!

— Ложь!

— Долой! Долой!

— Брехня!..

Тогда вмешался Алешка:

— Товарищи! Пусть выскажет все. Заключительное слово еще будут иметь Настя и представитель райкома, товарищ Сметков! Прошу соблюдать порядок! После я оглашу резолюции, которые ко мне поступили.

— В президиум, а не к тебе! — выкрикнул кто-то.

— Конечно, в президиум, — смутившись, согласился Алешка.

Снова в зале насторожились. Греков ничего нового не мог добавить, и, чувствуя, что говорит неубедительно, и ему никто не верит, он кинул:

— Я докажу в ЦКК!

Алешка встрепенулся:

— Брось городить-то!

— Там поверят мне! — глухо произнес Греков.

Этим он хотел припугнуть, но вышло слабо, и ребята проводили его смехом. Греков и в самом деле думал, что пойдет туда и будет говорить о травле, которой якобы подвергся он в комсомольской организации в присутствии представителя райкома. Левка, вот, бузу трет, а все его, будто, одобряют. Сам товарищ Сметков молчит и только записывает... Хорош и Алешка, занявший нейтральную позицию на таком решительном собрании!..

Когда Греков закончил свою трескотню, то загремели насмешливые хлопки, возгласы, хвалившие его за вранье. Почти все девчата кричали, что ему не место в комсомоле. Еланя появился в зале во время этого шума и аплодисментов. Он нагнулся к одной дивчине:

— Кому так?

— Твоему другу!

— Да ну?!

— А ты погляди на него! Вишь сияет!

— Удивительное дело!

Еланя также поторопился захлопать, подумав, что одержана победа.

— Это ты вралю? — смеясь, спросила комсомолка.

— Что за враль?

— Греков твой!..

Алешка пытался остановить поток презрения криками, которых никто не слышал. Он дико стучал кулаком по столу. Когда ребятам надоело бить в ладоши, Алешка, наконец, оказался в силах заявить более спокойно:

— Товарищи! Давайте подойдем к вопросу об оздоровлении наших рядов от негодных элементов! Только, товарищи, по-деловому! Сейчас предоставляю слово Насте... А вот и Еланя. Где Свищ?

— Стоит на улице под фонарем!

— Почему ты его не привел?

— Ступай-ка сам поговорить с ним!

— В чем дело? — построже спросил Алешка.

— Свистит под фонарем. В морду мне хотел дать. Далече меня отослал вместе с собранием! Ты его, Алешка, больно озлобил, когда погнал отсюда. Он пришел начистоту выложить перед собранием свое поведение, может, даже отстать от хулиганства хотел, а ты его взял и огрел! Он и разобиделся на всех, и теперь не пытайся подойти к нему.

— Не мог ты ему объяснить...

— Ну, тебя, Алешка! — перебил Еланя. — Расхлебай-ка сам, чего заварил, а то валишь все на других!

Но тот решил:

— Чего ждать от хулигана хорошего? Обойдемся без него, товарищи! Ему место не с нами. Только больше наврет!

Левка едко вставил:

— Пожалуй, меньше, чем ты!

— К порядку!

— Имей уважение к человеку!

— Нашел человека!

Представитель райкома шепнул Алешке: «Бросьте задираться!».

— Слово Насте! — сказал тогда секретарь.

Настя гибко перекинулась из партера на подмостки. Выпрямилась, словно отлитая, с высоко поднятой головой.

Она взмотнула подстриженными волосами и заговорила:

— Мы, ребята, были здорово доверчивы! Выбрали людей, и они за всех нас отдувались на работе. Видели мы, как они работали, понимали, что идет большая работа, но не знали, после каких споров она всегда проводится. Никто из нас внимательно ко всему, что делается в организации, не присматривался. Мы стали относиться к делу спустя рукава: мол, Алеша сделает. Он же, товарищи, за время своего секретарства испортился — душком бюрократизма от него понесло. Сейчас Алеша не парень, а высушенная печенка. Да и будешь ею, если вокруг тебя охаживают, все недостатки твои замазывают...

— Ближе к делу! — потребовал Греков.

Исаев оборвал его, хоть и тихо, но в зале слышали. Это подогрело некоторых парней. Один громко заявил:

— Еще помешаешь, так удалим с собрания!

— Безобр...

— Греков! Не позволю прерывать оратора! — вскинулся Алешка.— Товарищи! По личному вопросу — в конце собрания! Продолжай, Настя!

— Это дело самое и есть, о каком спрашивает завкульт. Определенный зажим есть. Нельзя сказать, что работа под руководством нашего секретаря велась плохо. В некоторых областях есть у нас большие успехи, особенно в пионердвижении. За такое Алешу лишь хвалить надо. А ругать его не надо? Нет, есть за что и вздуть! Наш коллектив должен кое-что ему напомнить. Нам от его командования деваться некуда, честное слово! Он вообразил себя главкомом над организацией. Комсомольцы у него—бездушные вертушки: куда ткнет, туда, по его мнению, должно и выйти. Разве это куда годится, товарищи?..

— Браво! — произнес Левка.

И его поддержали:

— Главком в очках!

— Зажимает! Верно!

— Упрямистый бычок!

— Потерял чутье к товарищам!..

А Настя продолжала:

— Он формалист!

— Правильно!

— Алеша за одну букву, которую не этак поставил, готов исключить из комсомола. Плохо это! — Настя поглядела на секретаря, который, молча и нахмурившись, протирал очки.— Он выдвигал таких вот — Грековых. Они же оказались клеветниками и подлизами!..

— Врешь! — бросил Греков.

— Ничего не вру! Сам сознаешь, только открыться перед нами не хочешь. Ты сам пьянствовал с Ольгой, а обвинил Левку Михалина. Мы тогда Грекова-то выгнали наравне со всеми хулиганами из общежития. В индивидуальном со мной разговоре Греков объяснил мне, товарищи, что он, мол, пошутил, обмарывая Левку. А он считает себя комсомольцем! Если бы мы не подняли здесь вопроса, то что вышло бы? Ведь уже есть постановление бюро ячейки, чтобы исключить Михалина из рядов комсомола. Вас вот надо бы скорее выбросить, милые, кто там голосовал с Алешкой и Грековым! Не горячись, Греков! Есть такое постановление, товарищи!..

— Есть!

— Долой подголосников!

— Чиновниками стали! Молодые да ранние!

— Грековщину надо вырвать! Это — язва! Под корень ее, ребята!

— Позор!

— Отменить постановление!

Поднялся Исаев и дал собранию справку:

— Я тоже голосовал за исключение, ребята! Сознаюсь, что мы был плохо информированы. Мне кажется, Алексей, — он обратился к при тихшему Алешке, — что бюро сделало ошибку!

Но тот смолчал. Исаев сел. В зале тишина.

— Надо поставить перед райкомом вопрос о немедленном обсл довании нашей ячейки, — говорила Настя. — У нас много похожи на Грекова. Алеша — парень твердый, но любит действовать не кол лективом, а один. Он это должен усвоить на будущее время. Пото он зря доверяется разным Грековым. Они его выхваливают, а о не замечает, что из-за карьеры это ими делается. Почему у нас н фабрике броня мала? Бюро слабо нажимало! А у нас есть и други недочеты...

— Правильно! Есть!

— Только раскопай-ка! Живо всюду дыры окажутся!

— Валяй, Настя!

— А чего Алешка примолк?

— На воре шапка горит, ребята!

И представитель райкома неожиданно похлопал по плечу осту женного Алешки.

По скамейкам прошуршал смех.

Снова Настя:

— А чем занимался наш секретарь? Вынесением выговоров и только Я не ошибусь, если скажу, что за этот год Алеша от имени бюро вынес предупреждений и выговоров восьмидесяти процентам комсомольского состава. На каждого почти есть что-нибудь в протоколах. Разве это нормально? Актив наш крайне незначителен из-за того, что активность подавляется. Спросите самого Алешу о количестве вновь принятых в организацию. На это он вам, товарищи, не ответит, а скажет, что надо посмотреть в цифрах. Но цифр найти нельзя — учета никакого не велось... Еще о развлечениях. Молодежь развлекается на бульваре, нюхается с хулиганами, устраивает в нашем районе скандалы и побоища. А почему? В клубе у нас царит одна официальщина, и в него идут по приказу. Если назначает Алеша в комиссию — иди! Велит рисовать плакат — пиши только его лозунги! Ребята от этого избегают клуб... Тут я многое не договорила, но все знают, каковы дела и настроения в нашей ячейке... Линию надо выправить, товарищи!..

— Отчитала! — раздались голоса.

— Алешка! Правда?

— Против волос его погладить!

— Рассеять атмосферу!

Алешка сидел, глядя в пол. Он только сейчас стал смутно понимать, куда он завел ячейку. Тени Грековых, действительно, как будто заслонили от него других ребят. Может быть, он и в самом деле не замечал массы, а вертел одиночками, одновременно считая, что все идет хорошо! И он не возражал Насте.

Взрыв аплодисментов, рассыпаясь по зале, приветствовал Настю. И Алешка заметил, как товарищ Сметков из райкома одобрительно складывал свои ладони.

Обсуждали предложение Насти: обследовать ячейку.

— Алешка, дай слово Сметкову! — предложил Левка, догадываясь, что нужно подтолкнуть райкомского представителя.

— Пожалуйста!..

— Мне мало остается сказать, — заговорил тот, бросая взгляд удивления на Левку. — Можно, конечно, обследовать. Но, по-моему, товарищ Настя немного преувеличила. Недочеты есть, но они не так грозны, как на первый взгляд кажется. В райкоме ваша ячейка не на последнем месте. Вот работу культкомиссии надо перевернуть. Грекова мы предложим снять с работы. В остальном комиссия подготовит материалы для окончательных выводов. Вот и все!

Левка попросил разрешения высказаться. Алешка обратился к собранию:

— Михалин требует слова.

— Дать! — дружно ответили ему.

Левка произнес:

— У меня коротенькое заявление: прошу собрание отменить постановление бюро об исключении меня из комсомола. Я считаю, что себя ничем не опозорил перед революционным авангардом...

— Правильно! Отменить!

— Сколько членов бюро присутствовало при голосовании? — спросил представитель райкома.

— Все, — проговорил Алешка.

Тогда Сметков обернулся к собранию:

— Имеет ли кто материал против Михалина? Пусть и члены бюро, которые стояли за исключение, открыто тут выскажутся. Устроим широкую общественную проверку, товарищи!

— Да члены бюро, кроме Грекова, молчали, — сказал Исаев.

— Почему же они голосовали за?

— Алешка нажал!

— Здорово!

Алешка имел мужество сознаться, что поступил опрометчиво, когда предложил исключить Михалина. Дальше он объяснил, что хотел сохранить в организации дисциплину, ее крепость... Греков не узнавал его голоса, звучавшего по-иному — без команды.

Алешка поставил на голосование решение бюро:

— Голосую! Кто за отмену? Большинство! Товарищ Михалин, ты меня извини!

— Брось, Алеша! — откликнулся Левка.

Было поздно. Темень ночи сильнее выделяла свет ламп. Вопросы, оставшиеся неразрешенными, перенесли на следующее собрание. Дружно загремели сдвигаемые скамейки, шаги: зал освобождался...

Алешка вышел на улицу вместе с Левкой и Настей. Он по-дружески упрекнул их за такую жестокую атаку.

— Я ошибся в Грекове, выдвигая его, — сказал он им на прощание.

Окраина тяжело спала. Только еще по бульвару, в тени кустов и деревьев, осторожно бродили парочки...

VII.

Еланя, повидимому, отгораживался от своего прежнего друга: старался не говорить с ним и меньше встречаться. Но он видел, как беспокойно чувствовал себя Греков после собрания. Он слышал, как бывший завкульт всех проклинал. А мастер только удивлялся, когда ему приходилось при приемке изделий от Грекова списывать много на брак. Греков почти со всеми перестал здороваться — нагло глядел в глаза и не признавал знакомых.

— Ворочаешь от меня морду, Елашка? — спросил он как-то.

Но тот ответил:

— Держи в сторону!

— Подумаешь! На кой ты мне чорт сдался?! Только ты сам подгонял меня на Настьку! Куда тебе отбить ее у Левки! Харя у тебя — вроде выщербленного кирпича. Хочешь теперь отбрыкаться?

— Не тронь, парень! — злобно произнес Еланя.

— Трону, дружище! Потянем в комиссию. Расскажу я там про тебя. Там распутают!

Еланя ничего не ответил, наклонясь к станку. И чего брешет Греков? Давно говорил Греков, что станок — его гроб, и все мечтал уйти с фабрики, уехать куда-нибудь подальше и сделать карьеру. Недаром он подмазывался к мастеру, к Алешке, к предфабкому, постепенно вылезая на вид, чтобы его заметили. Карьера была уже налажена, но тут он поскользнулся на истории с Настей.

Но при чем в этом деле Еланя? Ему думалось, что он погуливал немножко с Грековым из-за влияния последнего в комсомоле, и только. У завкульта был стаж с двадцатого года — его намечали передать в партию.

Обернувшись, Еланя сказал Грекову:

— Чудной ты!

И сейчас же сильно дернулся от станка, закрутил плечом: капал кровью надрезанный палец. Будь ты неладен, Греков! Но тот усмехнулся и продолжал работать. А Левка услышал крепкое слово Елани, подошел, увидел кровь, достал платок, выбрал край почище и оторвал его, чтобы перевязать палец парня. Левка совсем забыл о вражде к Елане. Кровь буроватым пятном просачивалась на полотне, но уже не бежала.

— Слекарил!

Греков швырнул:

— Починщик!

Но тот как будто не слышал оскорбления, а Еланя сказал Левке, отошедшему к своему станку:

— Спасибо!

— Экие пустяки!

Стекла грохочущего цеха жили едва вздрагивающим позваниванием. Жесть и алюминиевые диски загромождали проходы. Стружки валялись по полу, возвышаясь кругами кружев у станков. Полуготовые изделия, давя друг друга, поднимались столбиками, словно сложенные серебряные рубли.

Почему-то у Елани появилось желание больше взглядывать на Левку, чем на бесившегося Грекова. Вот его бывший друг смеялся, когда он попортил палец, а другой парень, с которым он был на ножах, прибежал на помощь. Кто переменился: он, Еланя, или Левка?

Перед сменой мастер у Грекова срезал чуть ли не треть выработки на браковку. Тот поглядел на мастера с ненавистью, когда последний заметил:

— Подкачал сегодня! Опять пьянствовал, а?

Греков едва сдержался, чтобы не выругать его.

А мастер, проходя дальше, смеясь, посоветовал:

— Поезжай в санаторий!

Греков, обозленный, выходил с фабрики, задирая работниц. Он на ком попало срывал свою дурную накипь. За воротами он постоял, кого-то, видимо, поджидая. Руки у него были заложены в карманы.

Знакомые звали его с собой.

— Дожидаюсь, — хмуро отвечал Греков.

— Зазнобу?

— Ее!

— Позади нас идет!

— Ладно! — сказал он, вовсе не думая о Маринке, с которой открыто гулял больше года.

Вот тронулись мимо него работницы дальних цехов: кто постарше — вели разговор потише, а молодые оглашали воздух шутками и смехом. Греков подумал, что за последние дни, после собрания, он почти не смеялся. Ему стало обидно и захотелось обругать проходивших веселых работниц.

Поравнялась с ним Ольга, подтанцовывая, открывая свои зубы и задевая Грекова, все потерявшего в глазах девчат, которые перестали считаться с ним, называя его «рабочей отрыжкой».

Вот показалась Настя в сопровождении Левки. Она была спокойна и радостна.

Когда она оказалась около Грекова, тот окликнул ее:

— Подойти на минутку!

— Зачем?

— Скажу кое-что!

— У нас с тобой ничего общего...

— Боишься?

И Настя отошла от Левки. Серые глаза ее — как большое зеркало. Греков смотрел на ее щеки, на губы. Они оба отодвинулись от потока людей. Греков отводил ее, чтобы не услышали их разговора.

Левка, дожидаясь Настю, стоял на углу.

— Ты замарала меня! — резко сказал Греков, подавляя злобу. — Кто тебе разрешил заступаться за меня?

— Это ты про кружок?

— Ты отвечай прямо!..

— Хочешь облаять? — тихо спросила она.

— Говори, дрянь!

— Ты же комсомолец! — отшатнулась от него Настя.

— А ты зачем кампанию вела против, стерва? На!

И Греков ударил ее по лицу. Плеснулся громкий звук, и раздался крик Насти, которая пригнулась от удара к земле. Вдобавок Греков свистнул и шлепнул плевок в лицо девушки.

Раздалось оранье мальчишек:

— Настьку бьют!

— Держи!

— Комсомольцы сцапались!

— Лови, братишки!

Подбежали работницы, крича Грекову:

— Чего к ней пристал, сволота!

— Выгоним с фабрики!

— Товарищи, он женщину ударил!

— Вот так комсомолец!

— Разложить да выпороть!

Начали собираться вокруг старые рабочие. Левка сорвался с угла, пробираясь через толпу. Греков толкнул в бок Настю, стоявшую в слезах, подмигнул толпе и кинул девушке:

— Нового захотелось! Иди от меня к дьяволу!

— Товарищи, он обхаял невиноватую! — кричала одна из работниц. — В отделение его надо!

— Опять он врет! Клевета!

— Ишь, защитницы нашлись! — замялся Греков.

— Дрянь! — воскликнула работница.

Настя прошептала:

— Негодяй!

— Сама затасканная! — укалывал Греков.

Левка растолкал в толпе проход, упираясь локтями в плечи, спины, груди столпившихся рабочих. Увидел красное лицо Насти и ее заплаканные глаза. Он сразу понял, что виновником является Греков. Левка подскочил к нему и схватил его за ворот, занося над парнем свой кулак. Но Настя удержала его руку, почти повисла на ней и крикнула:

— Лева, не дерись! Ты — комсомолец!

А Греков не оказывал никакого сопротивления, громко требуя:

— Ну, ударь!

Настя с силой отвела руку Левки и оттолкнула Грекова, став между ними.

Вокруг негодовали работницы. Взрослые рабочие не хотели вмешиваться в ссору шумливой молодежи и расходились, неся по домам слушки и догадки. Подоспела Маринка. Она не знала еще, что Греков — герой скандала, но подружки наперебой нащебетали о виденном ими. У Маринки не екнуло сердце за Грекова: она легко отказалась от него.

— Я чувствовала, что он так кончит. С ним у меня ничего общего не было, честное слово! А Настю он ударил, так это ему в привычку: я только не жаловалась, а то и меня он бивал до синяков...

— Тебя стоит! — огрызнулся Греков, обращаясь к Маринке.

С новым возмущением вскинулись голоса работниц:

— Потаскушник! Позор!

— Выцарапать ему глаза!

— Кипятком его, кипятком!..

Но Греков потихоньку выбирался из толпы, боясь, что с ним начнут расправляться.

Маринка бросила ему вслед:

— Не вздумай приходить ко мне!

— Приду брать расчет! — сказал он. — Мне еще поговорить с тобой надо об одном хорошем деле!

— Мы тут у фабрики рассчитались, разбойник! Все видели! Если придешь, то из чайника ошпарю твою склизлую рожу!

— Побоишься!

— Тебя, что ль? — И она рассмеялась. — Не грози!

— Увидишь!..

Греков плюнул в ее сторону, скверно выругался и ушел из живого круга, сопровождаемый нелестными возгласами.

Событие это взволновало работниц. Они не расходились, обмениваясь горячими предложениями. Потом решили устроить в клубе общественный суд над «новыми нравами рабочей молодежи». В обвинители был выдвинут Алешка, хотя он здесь и не присутствовал — знали, что он лучше всех обрушится на хулиганство, проникшее в семью комсомола. Второго обвинителя беспартийные девчата попросили из ячейки партии.

— Маслова можно, — сказал Левка, держа под руку Настю.

— Верно! Давай товарища Маслова!

— От женщин, известно, кого-нибудь.

— Позубастее!

— Пусть фабком выделит!

И отдельными группами работницы растеклись по домам, в общежитие, к знакомым. Маринка рассказывала Насте и подругам о своей связи с Грековым, где была симпатия одного вечера, а дальше,— как по заведен-

ному обычаю и без всякого чувства. И теперь, кроме горечи, от житья с Грековым она ничего не испытывала... Даже рада-радешенька, что развязалась.

— Не посмеет приставать! — заключил Левка.

— Ясно, нет!

— Как изменился этот Греков! Раньше таким не был?

— Скрывал!..

Ветер сдувал с земли пыль. Открытые головы девчат покрывались пылью, как пеплом. И чего думает коммунальное хозяйство с его управлением? Ведь сколько раз фабрика направляла туда резолюции с требованием замостить дороги на окраинах! Каждый раз, когда поднимался напористый и свистящий ветер, рабочие кляли комхоз. Почему резолюции лежат без движения? Об этом оживленно делились мнениями некоторые работницы, оставляя событие с Грековым в стороне...

А Настя говорила Левке:

— Надо бы с Грековым потолковать. Какая его муха укусила? Тебя тоже здорово огрели на бюро, но ты устоял!

— Я не чувствовал себя виноватым.

— А Греков?

— Ты сама видела! Это не парень, а гнилушка! Да еще какая вредная гнилушка в нашей стройке!

— Ты думаешь?

— Если хочешь, то говори с ним, а я не стану. Но комсомольцев таких не надо, Настюшь! Мне кажется, что он и разговаривать с нами не будет: либо обругает, либо просто уйдет от нас.

Настя ничего не возразила. И мысли о поступке Грекова и о нем, как о комсомольце, прервались сами по себе. Настя почти забыла про удар по щеке, крепко облокотившись на руку Левки. И только он вдруг напомнил, взглянув на ее лицо:

— Горит!

VIII.

Обследовательско-проверочная комиссия устроила в рабочем общежитии общественный суд. От комиссии в президиум суда вошли: товарищ Сметков — представитель райкома ВЛКСМ, Федор Маслов — секретарь фабричной партячейки, Алексей Демин — секретарь комсомольской ячейки, от работниц и рабочих — Ольга. Пятым был представитель фабкома — Игнатович.

Просторная комната красного уголка не вместила всех желающих попасть на заседание суда. По лестнице общежития и дальше на улицу шевелились людские струи. Среди молодежи было много пожилых рабочих, натерпевшихся от хулиганья. Беседы в толпе шли вспыльчивые, неровные...

В тихом вечере слышалось:

— Построже их засудить!

— Покою не дают!

— Сажать в тюрьму! Высылка мало действует! Вот Свищ возвратился после трех лет и снова собрал свою ораву, бандитствуя на окраине.

— И комсомольцы не лучше! Дерутся!..

Какой-то старушечий голос добавил:

— Косамолец и есть хулиган-то! Богу места не дает!..

— Заткнись!..

— Не одни комсомольцы, старая, идут против бога твоего. Трудно ужиться с ним на нашей земле...

И рабочий отпустил крепкое словцо. Но на эту истрепанную тему никто не хотел вести разговора. Каждый припас камень для хулиганов. Рабочие пробивались в комнату, чтобы рассказать суду факты...

Пока у общежития стоял шум, Исаев составил длинный список свидетелей, которые должны были выступить со своими показаниями. Товарищ Маслов объявил заключение комиссии и повел допрос. В нескольких вступительных фразах он откровенно признал, что партийная ячейка слабовато осуществляла свое руководство комсомолом, и партийцы проглядели рост молодняка и его требования. Его выступление одобрили, когда он одновременно поставил и вопрос об общем оздоровлении фабрики. Беспартийные активисты долго ему аплодировали. Но некоторые партийцы пожимали плечами, считая, что Маслов перегнул палку. Может быть, последние опасались жестокой самокритики, идущей снизу...

— Первым допросим Еланю, — сказал товарищ Маслов, прочитывая список свидетелей комсомольцев. — Прошу!

— Есть! — храбро выступил Еланя.

— Взберись на сцену, чтобы было виднее.

— Говори правду! — строго произнес Исаев.

Еланя давал показания смело, не пугаясь отместки Грекова. Последний стал у дверей, стараясь быть незаметным. Ему не хотелось торчать на виду, зная, что на него начнут указывать пальцами, как только он покажется. Греков слышал громкий голос парня:

— Я, товарищи, сыпаться не горазд! Мне, товарищи, стыдно сознаться! Я ведь был в друзьях завкульта и его компании. Неважная эта компания, скажу я вам! Состояла она из свищевцев и комсомольцев вроде меня вот, слабо в чем-нибудь разбирающихся. Думал, что он поможет мне, чтобы развиться. Авторитет, мол, у него, ко всему доступ имел, до самого директора... Алешка, ясное дело, не замечал за ним разных там дел. Открыто Греков ничего плохого не делал будто бы: лоск на себя наводил перед другими. Выходило так, что Греков на людях руководящих показывал себя здорово. А он водился тайком со всякой шпаной, товарищи. Ко мне он относился вначале, как к пионеру какому-нибудь, а в дальнейшем я был у него как бы за правую руку. Где он, там и я! Бывало, через меня подговаривал Свища сделать нападение на рабочего или работницу — все для какой-то там проучки. Действовать он умел, разбойник!

Вымыслу у него много, товарищи!.. Полгода назад он изнасиловал Субботину у речки...

— Помним, помним! — полетели возгласы работниц.

— Ишь ты! Вона птица какая!

Алешка отыскивал по комнате Грекова, а представитель райкома кивками и улыбкой подбадривал Еланю, который уже основательно вспотел. Настроение повышалось.

— Никто не ведал, что завкульт сбил на это дело ребят, — продолжал Еланя. — Даже сама Субботина потом обвиняла только одного Свища, а тот не выдал Грекова. Выходит так, что Субботину давно наметил себе Греков, да не давалась она ему. Месяца через три, когда он для виду перестал с ней встречаться, завкульт принялся обделывать Свища...

— Позор! — воскликнул Алешка.

— Еще масса дел было, и все больше по женской части и выпивке...

— Насильник! Подлец!

— Как он мог так долго штуки выкидывать?!

Греков отодвинулся за дверь, стискивая свои пальцы. Выражение бессильной злобы кривило его лицо. Разоблачение пошло полным ходом. Отчего вдруг так разговорился этот Елашка? Может быть, Настька ему что-нибудь обещала? А Еланя, его бывший друг, продолжал:

— На других случаях задерживаться не буду, товарищи! Вот и с Настей наметывалось дельце. Я, сознаюсь, вдаривал за ней, потому — нравилась, а завкульт подгонял меня. Но не вышло с Настей это дело-то. Мне скрывать нечего, товарищи! Я порвал с Грековым и его бандитами, честное слово! Какое у него может итти воспитание комсомольца? Какой он заведующий, товарищи, культурой? Не гож он! Вот и все вам мое сознание!

И он грузно сел, тяжело дыша. Но было видно, как прояснилось у него в глазах.

Маслов попросил его:

— Ты, Еланя, опиши факты и представь в комиссию!

— Могу!

— Покороче! Одни факты!

— Их у меня хватит! Грамотный пусть кто-нибудь мне поможет, товарищ Маслов, а то выйдет коряво.

— Неважно!

Потом Маслов позвал:

— Марина Галина!

Греков услышал имя своей подруги и встрепенулся, надеясь, что Маринка всего не скажет, а, может быть, даже и выручит его или, в крайности, сгладит впечатление от показаний Елани: она с ним жила, как жена. Маринка была разбитная: она отошла от него, когда увидела, каков ее друг, но сразу с ним связь не порвала. А он с удовольствием проводил время и без нее, хвастаясь свободой от Маринки... Ему сейчас представилось, как он ударил Настю. Ничего: зубов не выбил!

Подружки подталкивали оробевшую Маринку:

— Вылезай на свет!

— Ну, иди же!

— Говори начистоту!

— Шевелись! Ждут ведь!

Маринка с виду хрупкая, но жила в ее мускулах сила. Недаром в этом году на физкультурном соревновании она по легкой атлетике была третьей. Выцветший от летнего солнца красный платок на голове, выбившиеся из-под него пучки светлых волос, живые голубые глаза. На ногах едва держались туфли без каблуков. Когда она поднимала руки, чтобы поправить волосы, то виднелись трусы: она не переоделась после вечерней тренировки на фабричной спортивной площадке.

Ребята зашушукались: они ждали интересных подробностей о ее сожительстве с завкультом. Но Маринка говорила о мещанском характере Грекова, признавала, что он — очень плохой комсомолец и, случалось, сильно оскорблял и даже пытался бить ее.

Закончила она твердо:

— Такого элемента нам не надо, ребята! Бюро правильно поступило, когда поставило вопрос о пьянке в общежитии на общественность. Мы клеймим хулиганов, а в том числе и нашего Грекова. Наши-то хулиганы не лучше бандитов Свища. Мы не должны в своих рядах их иметь. Мы — авангардная колонна нового поколения, о чем каждому сознательному известно. Мы не будем к ним снисходительными, товарищи. Нет, ребята, с хулиганами нам не по пути! Для них есть Нарым и другие путешествия. Я кончаю, потому — понятно!

Работницы захлопали и закричали:

— Верно, Маринка!

— Не жалеть своих подлецов!

— Такие только пятно кладут на рабочих!

Маслов поглядел на часы и торопливо сказал:

— Чихов! Тише, товарищи!

Но Маслову упорно пришлось добиваться тишины. Потом он снова вызвал Чихова. Того привлекли в свидетели, зная, что он временами долго вертелся с Грековым.

Это был парень допризывного возраста. Его щеки были отмыты и свежи. Волосы были разбросаны, а губы яркие, как у девушки. Чихов служил в конторе фабрики и был далек от физической работы. Одевался он щеголевато: ботинки с замшевым верхом, темносиние брюки с заглаженной складкой, вельветовая толстовка, подпоясанная кавказским пояском. Последний мягко сверкал при всяком повороте. Девчата из-за этого Чихова между собой конкурировали.

Он сначала заговорил тихо:

— Мне нежелательно обвинять бывшего нашего товарища. Правда, что немного любит пофинтить Греков...

С дальних углов комнаты потребовали:

— Громче!

— Говорю, что форсу он задавал! — поспешно повторил Чихов. — Только здесь его окрасили излишне...

Ольга неожиданно спросила:

— А в морду он тебя бил?

— Есть такое! — не смутился тот. — Шибал направо-налево! Сами, небось, знаете его. Ежели он не на ячейке находится, то распахивать свою душу любит да показать ее. Это верно! Кто, может, и стоит того, чтоб ударил, а мне он напрасно — под горячую руку. Я бы сам морду набил этой...

Кто-то подшутил:

— Комиссии, что ли?

Чихов смешался и снизил голос, догадываясь, что над ним начинают смеяться, но крикнул:

— ...потаскухе Настьке!

— Мало, видно, тебе надавал Греков! — спокойно сказал Левка.— Ты с ним одного поля ягодка!

Чихов проговорил нахально:

— Жалко, что шея твоя далеко!

— Возьми! Попробуй!

Маслов звонил и приглушал разгоравшуюся перебранку. Глаза его стали жестче и холоднее. Он ругал самого себя за то, что он, секретарь партячейки, не уделял достаточно времени работе среди этой молодежи.

Чихов намеревался сойти с трибуны, но Еланя ему крикнул:

— Постой! Этим не отделаешься!

— Эй! Покажи зубы-то!

— Грекова лошадка!

— Да у него двух нехватает! За дело, говорят, выбил!

— Пошляки! Мещане! Подальше их с фабрики!

Маслов обращался к Алешке, чтобы тот унял своих ребят. Секретарь поспешил призвать:

— Не мешайте высказываться! Прошу в личные оценки не входить и не мешать допросу! У нашего президиума есть право удалить тех, кто тормозит разбору этого дела.

Исаев горячо предложил:

— Давайте голосовать единогласно!

А голоса галдели, оглушая. Чихова проводили свистками. Он спешил уйти от сотен преследовавших его глаз. Расчищая себе проход среди толпы к дверям, он ни на кого не смотрел. Вокруг насмехались, толкали его...

* * *

На тротуаре у входа в общежитие стояла большая толпа. Никто не думал расходиться до решения суда. Шумели, всячески перемалывали недавние события на окраине. Вспоминали про воровство и разбой...

Греков слышал, как многие рабочие ругали комсомольцев. И он стался доволен. Его мысли были куцые: насолил Алешке, подорвав авто-итет организации в глазах масс.

Из окон общежития выбивался свет и голос товарища Маслова. дальше, к бульвару и в коленчатые переулки, падала ночная мгла. диноко держался за камень тротуара фонарь, едва освещая кусок лицы. Кромешная тьма скрывала развалившиеся заборы...

Тут же, на стыке старых домов и общежития, караулили постовые. Милиционеры встречали в толпе поддержку, когда приходилось нажимать а крикунов. И порядок на улице не нарушался.

Высокое общежитие, наполненное светом, гудящие толпы рабочих, мех молодежи и ее игра — все это было прочно и спокойно. Даже маль-ишки перестали баловаться, ожидая вместе со взрослыми приговора, который должен прийти оттуда, где просторные комнаты, чистый воз-ух, — прийти из дома, который пытается раздавить хламную, про-нившую окраину...

———

Мои записки.

С. Подьячев.

В Москве в начале восьмидесятых годов прошлого столетия на Солянке против ворот теперешнего Дворца труда, а тогдашнего воспитательного дома, стоял во дворе трехэтажный дом некоего Когтева, в котором, занимая его весь, находились типо-литография купца Иосифа Ивановича Пашкова и редакция еженедельного иллюстрированного журнала «Россия».

Издатель журнала был этот же владелец типо-литографии, купец Пашков, а редактором-секретарем — Иосиф Маркович Познер.

Редакция помещалась в нижнем этаже, как войдешь в переднюю через парадный ход, налево, в небольшой сводчатой комнате.

В эту редакцию, как-то раз в конце апреля, вошел плохо одетый в серой поддевке, в стоптанных сапогах, нескладный, длинный малый, и, сняв картуз, боязливо остановился у порога.

Малый этот был я, а дело происходило в восьмидесятых годах прошлого столетия.

Жил я в те времена «на месте», на Рязанской железной дороге сторожем. Получал пятнадцать рублей жалованья на «своих лепешках», т. е. харчах.

Стерег я огромные штабеля торфа по ночам. (Днем стерег другой.)

Обязанность моя состояла в том, чтобы охранять торф от пожара.

По углам штабелей стояли бочки с водой, а у меня постоянно было с собой брезентовое ведро — «присяга», как прозвали это мое ведро стрелочники, с которым я не расставался и из которого должен был в случае загорания в каком-нибудь месте торфа, зачерпнув в кадке воды, заливать огонь.

Это же ведро служило мне вместо подушки, когда приходилось прилечь соснуть.

Помимо моего месячного жалованья у меня был еще подсобный, хотя и небольшой, заработок.

Весной, когда «сходится заря с зарей» и как-то незаметно ночей, я с товарищем выгружал из вагонов торф. Цена была пятьдесят копеек с вагона. Я был малый здоровый и трудную и пыльную эту работу переносил шутя.

А как хорошо было после работы мыть руки и запыленное лицо из-под крана холодной водой и потом пить чай тут же где-нибудь около штабелей, слушая близкие и далекие гудки, отдаленный колокольный звон, стук колес по стыкам проходившего мимо товарного поезда.

Весной и летом жить было хорошо. Тепло, и ночи короткие. А вот когда наступила осень, ночи стали темные, долгие, ветреные, — стало плохо. Особенно внимательно должен был я следить за штабелями во время сильных ночных ветров. Невдалеке пробегали паровозы, летели из труб искры, и возможность несчастия, т. е. пожара, в такие ночи особенно была опасна. Было и такое время, когда по нескольку дней подряд и по ночам моросил мелкий дождик, который так пропитывал сыростью торф, что насильно не зажжешь.

В такие мокрые ночи я спасался в будке у стрелочников.

Стрелочников было двое, и они, точно так же как я с товарищем, дежурили посменно: один днем, другой ночью.

Оба были из отставных солдат времен Александра Второго. Оба участвовали в русско-турецкой кампании и оба были земляки из Рязанской губернии. Одному была фамилия Груданов, а другому — какая-то не рязанская, а латышская что ли, — Камос.

Этот Камос — здоровенный, бородатый, грубый мужик — жил со своей бабой-любовницей где-то неподалеку в Ольховцах. Любовница иногда, во время его дежурства, приходила к нему сказать что-нибудь или спросить. Была она большого роста, большеротая, донельзя глупая и подстать ему — такая же грубая. Звал он ее стервой: «Ты зачем, стерва, пришла?» А она его величала на-вы: «Вы, Агап Василич».

Как-то раз ночью он принес в будку со связанными ногами, задними и передними, большого бурого с изъеденными ушами кота и на мой вопрос: «Зачем ты принес его?» — ответил:

— А вот обожди, увидишь зачем. Я его, сволыча, смертной казни предам.

И действительно, он предал его жестокой казни: положил на рельсы под колеса товарного поезда. Кота раздавило. Между рельсов валялась голова с вытаращенными глазами.

— У меня не забалуешь, — сказал он, проделав с котом такую штуку. — Я кого хошь прикончу. Прикажет начальство — и тебя суну под вагон. Я, брат, на войне был, присягу помню.

Другой, сменявший его стрелочник, Груданов Анисим Коныч, с подстриженными усами, бритый, с прищуренными лукавыми глазами, постоянно почти улыбавшийся и говоривший хриповатым баском, скоро сделался моим хорошим приятелем. Я вместе с ним в его дежурство осенью по ночам коротал время в игрушечной, — только повернуться вдвоем, с двумя оконцами на линию рельсов с этой стороны и с той, — будке.

Будка стояла в нескольких шагах от штабелей торфа на запасном пути, по которому маневрирующие паровозы двигали пустые товарные вагоны, стучащие буферами, и давали свистки, на которые стрелочник

отвечал дуденьем в медную небольшую трубку, постоянно находившуюся при нем.

Приятель этот мой был холост, но то и дело менял любовниц. Не пройдет недели — глядь, а уж он рассказывает, что у него теперь другая Анютой звать.

— Ах, парень, вот груздочек-то — умрешь, ей-богу!

Он очень любил хвастаться своими победами и тем, что не один раз приходилось ему, по его выражению, «страдать за это».

— Не один раз, — хвастался он с каким-то удовольствием, — клочили меня за эти дела. Раз в городе в Муроме, — слыхал, такой город есть, — в проруби зимой купали, под лед хотели пустить в Оке-реке, ей-богу не вру!

— Дождешься, когда-нибудь убьют.

— Наплевать. Зато почудил на своем веку. Пожил в свое удовольствие! А два века не проживешь. Для меня молодые женщины (он никогда не говорил «бабы») да барышни дороже всего на свете. Умирать буду, на одре лежать, а их, ангелочков, не забуду.

Смешно было глядеть на его усатое, бритое до синевы «рыло», когда он говорил такие речи.

В будке я мог проводить ночи только в дождливое время, а на ночи осенью, когда уже бывали заморозки и было сухо, я устроил в торфе, раскопав его в одном месте, «логовище», где, когда все стихало, ложился навзничь, подложив под голову свое брезентовое ведерко, и глядел вверх, где надо мной, где-то там в неизмеримом таинственно-пугающем пространстве, горели мелкие и крупные звезды. Величие этой бездны, страшной и вместе с тем невыразимо прекрасной, наполняло мою душу сладким трепетом и вызывало на глазах слезы.

В редакции, где я (о чем говорено выше) остановился у порога, сидел за столом, по ту его сторону, лицом к двери, худощавый черноволосый не старый еще человек и вопросительно глядел на меня.

Я поклонился.

— Что скажете хорошенького? — спросил глядевший на меня человек и, очевидно желая ободрить меня, видя мое смущение, добавил: — Принесли что-нибудь?

Я, чувствуя, что в глотке у меня точно что-то застряло, сунул левую руку в карман поддевки, где лежала свернутая трубочкой тоненькая тетрадка стихов, и, вытащив ее, молча подал ему.

— Это что? — спросил он.

— Стихотворения, — с трудом выговорил я, чувствуя, что краснею.

— Гм-м! — как-то по-особенному крякнул он. — Стихотворения? Та-а-к! Что ж, оставьте, прочтем. Зайдите через недельку. А вы печатались где-нибудь?

— Нет.

— Чем занимаетесь? Здесь в Москве живете?

— Да.

Он опять пристально посмотрел на меня и спросил:

— А прозой не пробовали писать?

Я промолчал.

— Ну, так зайдите за ответом через недельку, — сказал он, кивнув головой.

Я поклонился и, надев картуз, вышел в переднюю.

Стрелочник Груданов знал про мои стихи. Я ему первому прочел их и получил одобрение, в особенности за те, где упоминались «она» и слово «любовь».

— Ловко у тебя выходит, — одобрительно говорил он, — складно! Молодчина, ей-богу! Я вот тебе расскажу про свою Анюту, а ты про нее стишок сочини, я ей подарю. Ты слушай, какая она: высокого роста она, в щигреневых полсапожках ходит, платье по моде сшито, сама брунетка, милое лицо и взгляд, голос приятный. Сочини, постарайся, поскладней,— половинку куплю. Ей будет приятно от меня стихи получить. О-о-чень приятно!

Через неделю я пошел за ответом.

Ответ, как и следовало ожидать, был отрицательный. Стишонки никуда не годились, и секретарь сказал мне:

— Слабы ваши стихи. Плохи, очень плохи. И мой совет — бросить писать их. Вы очень неудачно подражаете и Кольцову, и Никитину, и Некрасову. Бросьте! Попробуйте написать что-нибудь прозой. Рассказ небольшой, очерк, а стихи к черту! Советую вам это!

Говоря так, он глядел на меня ласковыми, немного прищуренными глазами, а я, стоя перед ним, рад был провалиться сквозь землю.

— Напишите что-нибудь небольшое прозой и приносите мне, — опять посоветовал он. И помолчав, не спуская с меня глаз, спросил: — Глеба Успенского читали?

— Нет.

— Советую читать. Возьмите в библиотеке. Советую! «Нравы Растеряевой улицы» прочтите.

Я молчал, не зная что сказать.

— Ну, всего хорошего! — сказал он, подавая мне руку. — Не огорчайтесь! Буду вас ждать с рассказом. Всего хорошего!

Старуха, моя «мамаша кресная», Авдотья Минишна, бывшая крепостная прачка господ Обольяниновых, рассказывала мне дома в деревне случай, который сильно поразил мое воображение.

Случай такой: однажды глухим осенним вечером (дело происходило в далекие крепостные времена) церковный сторож, проходя мимо кладбища, расположенного вблизи церкви, услыхал глухие раздающиеся от-

куда-то стоны. Остановясь и прислушавшись, он к ужасу своему убедился, что стоны эти раздаются из-под земли, из могилы, в которую накануне только что зарыли покойника. Сообразив это, он побежал к попу.

Поп сидел с попадьей и детьми за чаем. Перепуганный сторож рассказал ему то, что он слышал. Батя не поверил: «Послышалось тебе небось. Ветер воет, а ты на покойника со страху-то подумал. Покойник, друг мой, стонать да кричать не умеют. Иди-ка в сторожку, помолись богу, да приляг, усни, страх-то твой и пройдет». Уверил и успокоил сторожа. Пошел сторож назад, а итти как раз мимо кладбища. Приостановился, слышит: стонет! У него со страху волоса зашевелились. Побежал опять к попу. Теперь и поп поверил. Тоже побежал на погост и тоже послушал и услыхал: стонет, воет! Ударили в набат. Сбежался народ. Разрыли могилу, а покойник в гробу лежит, перевернулся вниз ничком, весь в крови, и руки искусаны. Задохся, не успели спасти.

Вот этот поразивший мое воображение случай я и задумал написать в виде рассказа.

Начал я рассказ с того, как поп в благодушнейшем настроении сидит в теплой комнате за столом, пьет чай вместе с попадьей и детьми, разговаривает и, довольный своей сытостью, уютом, забывает, что рядом в деревне и нужда, и грязь, и злоба.

Написав эту главу, я принялся за вторую, в которой описал, как живого заснувшего человека зарывают в землю, как он все это слышит и наконец, как просыпается в гробу.

Написав рассказ и будучи особенно доволен описанием мучений «живого мертвеца», я снес рассказ в редакцию. Секретарь принял и велел зайти за ответом «на-днях».

Я пришел.

— Садитесь! — предложил он.

Я, робея, сел.

— Ну-с, — начал он, — прочел ваш рассказ, и вот что: советую продолжать писать. У вас есть способность. Что же касается до прочтенного мной рассказа, то должен вас огорчить: он негоден для печати. Особенно плохо вышло у вас, где вы вздумали пуститься в психологию, изображая чувства заживо похороненного. Чепуха! А вот сцена у попа за чаем мне полюбилась. Это правильно. Повторяю, — писать вы можете. Читайте больше. Учитесь. Надеюсь, что вскоре вы мне принесете еще что-нибудь. Да еще вот что: заходите-ка ко мне как-нибудь на квартиру вечерком. Посидим и потолкуем. Придете?

Я кивнул головой. Он сказал мне свой адрес и продолжал:

— Буду ждать. Главное — не робейте. Не падайте духом. Надейтесь на себя, и пророчу вам, что вы будете писателем.

Он улыбнулся и крепко пожал мне руку.

Этого человека я давным-давно потерял из виду, и наверно уже его нет в живых, но память о нем живет в моей душе, и память эту я бережно и любовно донесу до могилы.

Как сейчас, гляжу на этого худенького черненького еврея, бегающего по убогому номеру «меблированной комнаты» и с жаром говорящего мне про рассказы Глеба Успенского, или стоящего у стола, освещенного светом лампы, и голосом, в котором дрожат слезы, читающего некрасовские или надсоновские стихи.

Вечная память дорогому моему первому учителю, первому подавшему мне руку помощи!

Вскоре я написал еще рассказ из жизни охотников под названием «Осечка» и отнес к нему. Рассказ был принят и напечатан. Радости моей не было предела, и такой чистой радости я уже никогда больше в своей долгой жизни не испытывал.

Рассказ не понравился «самому», т. е. издателю Пашкову, и он сказал секретарю, чтобы впредь рассказов из охотничьей жизни не помещать. Секретарь передал это мне и посоветовал не обращать внимания и не огорчаться.

— Для начала, для первого раза, рассказ ваш не хуже других, и слова «самого» просто каприз. Он вообще человек чудаковатый. Пишите еще.

Еще я принес рассказ поздней осенью под названием «Встреча».

Рассказ был напечатан и очень понравился «самому». Он пожелал увидать автора.

За этот рассказ я получил маленький гонорар.

Секретарь, когда я пришел в редакцию после того, когда рассказ был уже напечатан, встретил меня такими словами, которые испугали меня и ошеломили:

— Ну-с, батенька, — изобразил на лице своем строгость и стараясь говорить строго, начал он. — «Сам» ваш рассказ разнес на все корки. Не велел больше принимать ваших рассказов. Да и мне попало из-за вас. Сказал: «А вы что глядели? Чего вы суете в журнал?» и так далее-с, все в этом же духе. Что скажете на это! а?

И, очевидно увидав мое испуганное огорченное лицо и всю мою пришибленную фигуру, весело засмеялся, ударил меня по плечу и сказал:

— Ничего подобного! Успех, батенька, полнейший успех! Поздравляю! «Сам» пришел в восторг от вашего рассказа. Почему-то он ему очень понравился. Желает с вами познакомиться. Велел, когда придете, привести к нему. Идемте наверх!

Я заробел и начал отнекиваться. Но он настойчиво повторил: «идемте», и мне пришлось покориться.

«Сам» жил наверху, на втором этаже. Туда из передней шла широкая лестница. Там же, во втором этаже, были мастерские, а рабочие жили внизу, в каком-то сводчатом полуподвале, в сырости и грязи. На самом верху в третьем этаже были квартиры служащих.

Поднявшись по лестнице на площадку, мы свернули по коридору влево и остановились около крайней от окна, выходившего в коридор, двери. Секретарь отворил ее, и мы вошли в кабинет.

Направо от входной двери, против окон стоял большой стол, из-за которого, когда мы вошли, поднялся, отодвинув стул, «сам».

Секретарь сказал ему, кто я, и сейчас же ушел.

«Сам» пожал мне руку, сел на свое место, а мне указал сесть напротив.

Я внимательно и с некоторым изумлением глядел на него.

Был он среднего роста, широкоплечий, с длинными зачесанными назад и лежавшими до плеч волосами, с бритым лицом и с усами, опущенными вниз. Одет был в какую-то темносинего цвета блузу, сшитую на особый манер ниже колен, и вид его, одетого в эту блузу, похож был на огромный арбуз, к которому приставили голову и две коротких ноги.

В кабинете было просторно и светло. Висели по стенам картинки, лежали на полу в углу большие квадратные литографские камни, стоял диван, фотографический аппарат, книги, на столе валялись бумаги с рисунками бутылок, отпечатанные готовые образцы цветных ярлыков на бутылки произведений славившихся в те времена водочных заводчиков Петра Арсентьевича Смирнова, вдовы Поповой, Шустова и других.

Из кабинета вела дверь, плотно прикрытая, куда-то в другое помещение. На краю стола, за которым сидел «сам», лежали стопкой друг на дружке какие-то четырехугольные, в четверть длиной, черные глянцевитые бруски.

Помолчав немного, глядя на меня, он заговорил. Стал задавать вопросы: кто я? Откуда? Давно ли занимаюсь писаньем? Где живу? Сколько получаю? и т. д. и т. д.

Выспросив все это, он попросил меня прочесть ему вслух рассказ мой и подал номер журнала.

И до сих пор, будучи уже стариком, я терпеть не могу читать вслух свои вещи, а тогда, в те времена, это было для меня какой-то пыткой. Но делать нечего. Пришлось читать от сильного волнения дрожащим голосом. Кончив, я украдкой посмотрел на него и увидал на его глазах слезы. Он плакал. Достав из кармана блузы платок, он, наклонившись ниже стола, несколько раз подряд высморкался и потом, подняв голову и глядя на меня, сказал:

— По некоторым причинам рассказ ваш очень трогает меня и нравится мне.

Он долго смотрел на меня молча и потом сказал:

— Оставайтесь жить у меня. Вы мне будете нужны. Нужны и мне лично и в редакции. Писать я сам не люблю. Я буду иногда диктовать вам кое-что, а вы записывать. Жить будете здесь и питаться здесь же. Секретарем моим будете, — усмехнувшись, добавил он. — Согласны?

Я согласился.

С этих пор жизнь моя переменилась совсем на другой лад. И люди другие, и разговоры, и обстановка, и материальное положение, и все.

Расстался я со своими стрелочниками не без грусти.

— Забогатеешь, про нас забудешь, — говорил Груданов, когда мы на прощанье пили в будке бутылку водки, — попадешь на место на хорошее, не до нас тебе будет. А ты не забывай, приходи когда на досуге, навести. Эх, Павлыч, полюбил я тебя, ей-богу, привык. Познакомить тебя хотел... барышню свою новую показать, Зиной звать. Живописный портрет, ей-богу, икона!! Походка одна чего стоит, а тело клещами не ущипнешь, ей-богу не вру! И постоянно от нее духами пахнет. Начнешь целовать, не оторвешься никак! Меня всего своими духами продушила, ей-богу! Ангелочек во плоти, жаворонок, а ты уходить задумал.

Жить мне у Пашкова в материальном отношении было хорошо, но к нему самому, который, бог его знает почему, питал ко мне особую привязанность, я не мог привыкнуть.

Человек он был странный, со странными привычками и поступками. Самолюбие у него было огромное, образование малое, но это не мешало ему делать вид, что он все знает и обо всем может говорить. Свое «я» ставил превыше всего.

Дела типографские шли бойко. Он сам придумывал новые рисунки— ярлыки к бутылкам, — и ярлыки эти пользовались особым успехом среди таких водочных заводчиков, как Смирнов, Попова, Шустов.

Однажды, помню, он придумал ярлык на бутылки для рябиновки: полового в белой рубашке, несущего на подносе бутылку с закуской «гостям». Бутылки с таким ярылком хорошо шли в продаже.

Журнал «Россия» Пашков купил у какого-то прогоревшего издателя с целью, как я узнал после, печатать в нем свои сочинения.

Я попал как раз в то время, когда журнал недавно перешел в его руки.

К великому моему горю секретарь журнала Познер, который первый обласкал меня, ободрил, секретарствовал недолго. Не прошло и месяца после того, как я поселился у Пашкова, он покинул журнал, как я думаю — потому, что не мог и не хотел подчиняться требованиям издателя, вообще мало знакомого с литературой. но любившего совать нос куда не надо.

Его место занял другой, если память меня не обманывает, Аксаков Николай Петрович, поэт и писатель, да художник Кланг Иван Иванович, веселый добродушнейший человек, прекрасно читавший стихи, с которым я особенно хорошо сошелся и полюбил его.

Помимо Кланга было еще два художника. Один малоросс, фамилию не помню, серьезный человек, гордившийся тем, что его когда-то похвалил Крамской, и другой — Михайлов, которого я особенно хорошо помню.

Художник этот исключительно рисовал только на камне царские портреты. В мою бытность он старался над Александром Третьим. Работал он на глазах у «самого» в его кабинете. Делалось так потому, что иначе

он мог бросить спешную работу и удрать в кабак. Пил он «мертвой чашей». Допивался «до чортиков», в которых швырял чем попало. «Выхаживать» его и делать способным к работе после пьянства было не легко. Все тело тряслось, и он не мог сам взять со стола стакан или рюмку водки. Нальют, бывало, рюмку водки, поставят на стол: «Михалыч, таскай!» Он протянет к рюмке руку, а она у него начинает трястись все шибче и шибче, и он никак не может взять рюмку. Видя это и посмеявшись над ним, его заставляли разевать рот и вливали в рот водку. Через некоторое время после такой операции он «отходил», тряска прекращалась, и он садился за работу.

К каждому номеру журнала давались на отдельных листках картинки: «народы России» и другие. К картинкам, — например к народам России, зырянам, самоедам, лопарям, татарам и другим, — полагалось описание. Дело это взвалили на меня, но так как я ничего не знал о жизни народов, то мне посоветовали ходить в Румянцевскую библиотеку, где, — говорили мне, — вы найдете все, что нужно. Я так и сделал. Стал ходить по утрам в библиотеку, и там какой-то старичок заведующий, спасибо ему, научил меня, какие брать книги. По его указке я брал книгу, находил в ней нужное мне, например статью «Зыряне», переписывал всю ее целиком — и готово дело.

А то как-то раз к журналу была приложена картинка «Сбитенщик». Меня заставили написать «пояснение» к этой картинке, т. е. кто такой сбитенщик, как он живет, как «делает» свой товар и т. п. Долго я искал по книжкам, откуда бы можно было выудить описание, но такового не находилось. Пришлось искать живого сбитенщика, которого я и разыскал, как сейчас помню, на Москворецкой набережной, близ Каменного моста. Помню, зазвал я его в трактир, тут же неподалеку на Ленивке, выпили мы с ним, и я узнал от него все, что мне надо.

Помещение редакции журнала находилось, как я уже упоминал, внизу, и я бывал там не часто, ибо днем уходил в библиотеку или еще куда, а по вечерам под диктовку «самого» записывал его «сочинения». А сочинения он писал удивительные и по содержанию и по заголовкам, которые по нескольку десятков раз переписывались и переделывались.

С литературой он был мало знаком и читал мало, но это не мешало ему говорить: «Я, я все знаю!»

Журнал прежде всего ему нужен был, как уже и было упомянуто, для того, чтобы видеть свое имя «издатель Пашков» и помещать беспрепятственно, никого не слушая, свои сочинения, тоже подписанные «И. И. Пашков».

Я попал к нему как раз в то время, когда он надумал написать статью под названием «На поклон к искусству». Статья эта в конце концов надоела мне и пугала меня, как какой-то страшный кошмар.

Много раз переписывалась она набело и опять переделывалась.

«Сам» ходил по кабинету, заложив за спину руки или засунув их за пояс блузы, и диктовал, а я сидел за столом и торопливо запи-

сывал то, что он говорил. Сказав несколько слов, он останавливался и говорил:

— А ну прочтите, что написано?

Я читал.

— Зачеркните, это не надо!

Снова хождение, заложив за спину руки.

Снова вопрос:

— А ну-ка прочтите?

И опять:

— Нет, не то. Не то, не то! Зачеркните!!

В конце концов, измучив и надоев до смерти мне, он придумал новое дело: позвать стенографа.

— Вот что я надумал, — сказал он мне однажды вечером, — пригласим стенографа. Пусть он запишет мой разговор по поводу моей статьи. Сделаем так: меня он не будет видеть. Пусть сидит в этой комнате, а я буду в той. Буду говорить о своей статье. Приглашу кое-кого. Недурная идея, а? Статья сама по себе, а разговор по поводу статьи сам собой.

Так и сделали. Он не любил откладывать в дальний ящик то, что решил.

Меня откомандировали в Кремль в окружной суд. Окружной суд находился в огромном здании напротив того места, где Каляев «стукнул» губернатора Сергея. Здесь, в этом здании, я долго плутал по коридорам и этажам, разыскивая стенографа, и наконец нашел какого-то круглолицего на коротких ножках человечка. Я рассказал ему, в чем дело. Он согласился и первым долгом спросил о цене:

— А сколько же этот купец думает заплатить мне за труд?

— Этого я не знаю.

— Так как же я поеду? Надо знать, сколько. Я назначу столько, а он скажет: дорого. Узнайте точно, сколько времени он будет говорить, то есть час, два, пять. Тогда я назначу свою цену.

Я ушел и сказал об этом «самому». Выслушав, он сказал:

— Я раздумал. Не надо. Будем продолжать статью.

Наконец она была готова и вместе с другим материалом пошла в цензуру. И надо же было случиться греху: цензор как раз зачеркнул в этой статье какую-то строчку. Что это была за строчка и что он в ней нашел подозрительного, не помню. Но хлопот эта зачеркнутая строчка принесла полный рот.

«Сам» не допускал и мысли, чтобы из его статьи что-нибудь было вычеркнуто. Она в его глазах была верхом совершенства. Он читал ее всякому приходившему знакомому и был на седьмом небе от льстивых похвал, и вдруг какой-то цензор вычеркнул!

Цензор, устроивший эту штуку, жил в Марьиной слободке в собственном маленьком деревянном домике, и вот я с Солянки по вечерам раз, должно быть, десять ездил к нему упрашивать его, чтобы оставил строчку так, как она была написана «самим».

— Пожалуйста, нельзя ли оставить, как было! — просил я, стоя перед сидевшим у стола в кресле цензором.

Цензор с удивлением глядел на мою фигуру и, ударяя ладонью правой руки по столу, говорил:

— Нельзя! нельзя! нельзя!

— Пожалуйста! Автор — издатель журнала — очень вас просит.

— Да вы-то ему родня, что ли? Брат, сват? Упрашиваете меня, точно в любви изъясняетесь!

— Будешь упрашивать, — сорвалось у меня, — когда наказывали не возвращаться без благоприятного ответа.

Цензор засмеялся и потом сказал:

— Ну, ладно. Печатайте. А должно быть чудачина ваш этот купец издатель. Чего это он не за свое дело взялся? Прославиться хочет. Эх-ма! пи-и-сатели тоже! Ну, всего хорошего. Печатайте. Разрешаю!

Номер журнала со статьей «самого», наконец, вышел в свет, и восхищенный автор принялся няньчиться с ним, как с любимым ребенком-первенцем.

Номер, между прочим, послан был Льву Николаевичу Толстому в Ясную Поляну.

За этой статьей, помню, писал я под диктовку «самого» о каких-то плоских крышах.

Он надумал, что в Москве на вновь строящихся домах должны быть крыши плоские, на которых бы можно было разводить сады и пить там на воздухе чай.

Статью эту он решил послать в московскую городскую думу на рассмотрение. Потом писал статью о жизни дерева, в которой утверждал, что дерево растет и питается не от корней, а наоборот с макушки. Еще, помню, писал он насчет московских жуликов и как предохранить себя от них.

Между тем дела по нашему журналу «Россия» шли плохо. Подписчиков было мало, а дело двигалось к декабрю — к новому подписному году. Как оживить подписку, что сделать? Этот вопрос стоял во главе угла и перед «самим», и перед секретарем, и перед художниками.

В конце концов помимо соблазнительного (невыполненного) объявления в газетах о том, что вот, мол, в следующем году к журналу будут даны такие-то и такие-то приложения, решили обратиться к Антону Павловичу Чехову и ко Льву Николаевичу Толстому с просьбой, не дадут ли, мол, по рассказу.

Мысль эта пришла в голову первому художнику Клангу и очень полюбилась «самому».

— Отлично! — воскликнул он. — Вот это идея! И как я до этого не додумался? Конечно, пригласим Толстого. Я напишу ему письмо и убежден, что он не откажется сотрудничать в моем журнале, в котором наверно уже прочел мою статью «На поклон к искусству».

— Живет-то он далеко,— сказал Кланг.— По почте пошлете письмо?

— По почте может пропасть. Опасно! Надо с нарочным. Пошлем кого-нибудь.

— А кого послать?

— А вот кого! — он указал на меня. — Он поедет.

Я испугался.

— Помилуйте! — воскликнул я. — Куда мне ехать? Как я к нему явлюсь? Что буду говорить? Ей-богу умру от одного его вида со страху!

— Вздор, вздор! Ваше дело передать письмо и больше ничего. Послать кроме вас некого.

— Ну, а к Чехову Антону Павлычу кого же откомандируем? — спросил опять Кланг. — Он же пусть и к Чехову. Так и будем гонять его по великим людям. Пусть привыкает.

— Конечно, — согласился «сам», — а где Чехов живет?

— Живет он на Садовой-Кудринской, против Вдовьего дома. Знаешь? — обратившись ко мне, спросил Кланг. — Увидишь, — продолжал он с насмешкой в голосе, — красненький такой домик. Да найдешь, впрочем! У дворника спросишь. Он с братом живет. Брат — художник.

— Ты и съездил бы к нему, — сказал я.

— Мне нельзя. Неловко по одному дельцу. Да ты не бойся. Он малый простецкий. Спроси, если даст рассказ строк хотя бы во сто, какую цену назначит.

— Ладно! — согласился я. — Съезжу. Узнаю.

Антон Павлович Чехов в те времена жил на Садовой-Кудринской против тогдашнего огромного здания Вдовьего дома.

О трамваях тогда и слуху не было. Ходили конки.

Мне надо было сперва побывать у Сухаревки, а уже оттуда я сел на конку и поехал в Кудрино. Ехал наверху за три копейки. Сидеть наверху, куда вела снизу винтовая лестница, в хорошую погоду было весело. Видно далеко — и вперед, и назад, и по сторонам. По ровному месту, под гору везли вагон только две лошади, а где приходилось подниматься на пригорок, как например с Самотеки от Екатерининского парка в гору к Каретному ряду, — пристегивали другую пару лошадей, и на одной из них сидел верхом мальчишка «фаретор», обязанность которого заключалась в том, чтобы орать во всю глотку и нещадно нахлестывать кнутом лошадей — ту, на которой сидел, и другую рядом с ней. С треском, звоном, криком вагон втаскивался в гору. Здесь передняя пара отстегивалась. «Фаретор» вел лошадей опять вниз под гору, и вагон трогался дальше.

Дом, в котором жил Чехов, я разыскал без труда, а как попал в этот дом, как нашел квартиру Чехова, как вошел в нее — забыл. Помню уже себя сидящим в квартире, где-то внизу. Помню окно, у окна сидит и рисует, как после узналось, брат Чехова. Самого же Антона Павловича нет, а я жду его и знаю (а кто мне сказал об этом, не припомню, скорей всего художник), что он должен сойти сюда ко мне сверху по лестнице.

Жду. Слышу торопливые шаги. Топанье по лестнице. Тук, тук, тук! Вот и он. Среднего роста, худощавый, с черной бородкой, как мне тогда показалось, ловкий, веселый, подвижной человек.

— Здравствуйте! — говорю я.

— Мое почтение, — отвечает он. — Что скажете хорошенького? Садитесь пожалуйста!

Я сел. Он сел напротив и, улыбнувшись и не спуская с меня глаз, опять повторил:

— Что скажете хорошенького?

Я, как умел, начал объяснять, в чем дело, зачем пришел и от кого.

— Знаю я этот журнал. Знаю, — повторил он, и в его голосе мне показалась насмешка. — Знаю! — в третий раз повторил он. — Я подумаю. Уверять не хочу, а возможно, что дам в журнал что-нибудь. Подождите. Я в настоящее время очень занят. Тогда я вам сообщу. Редакция, кажется, если не ошибаюсь, на Солянке?

— Да.

— Я тогда извещу. Дам знать.

И вдруг спросил:

— Водочки не выпьете?..

— Нет. Спасибо, — сказал я.

— Не пьете?

— Пью.

— Гм-м! А вы, простите, тоже пописываете?

Я не ответил на его вопрос и стал прощаться.

— Да вы посидите еще! — задерживая мою руку и не спуская с меня пытливых глаз, сказал он.

Я простился и вышел.

«Сам», когда я передал ему, что сказал Чехов, рассердился, засопел носом и, пройдя по комнате, остановился передо мной, ударил себя левой рукой в грудь и воскликнул:

— Не-е надо! Я один сумею поставить журнал на ноги! Я-я!!.

Я было, признаться, обрадовался, думая, что теперь вопрос о Толстом отпал, но ошибся. «Сам» принялся сочинять письмо. Казалось бы, что сделать это нехитрое дело легко, но... но письмо сочинялось, писалось, переписывалось недели две, если не больше... «Сам» вошел, как говорится, во вкус, забросил другие дела и занялся исключительно письмом.

Я «очумел», по словам Кланга, переписывая сто раз это письмо, и тот, к кому оно писалось, — Л. Н. Толстой стал сниться мне в каких-то кошмарных снах.

— Я бы на твоем месте запил, — говорил мне, посмеиваясь, все тот же Кланг. — Толстой «Войну и мир» скорей написал, чем вы письмо

к нему. Выходит ли хотя что-нибудь путное-то? Ты вот что, брат, поедешь с этим письмом к Толстому, проси у него письменного ответа на это письмо. Дать-то он нам в наш журнал, ясное дело, ничего не даст. Так ты постарайся, письмо от него привези. Мы этим письмом и то поднимем подписку. Поставим в объявление вот эдакими буквами, что в будущем году в первом номере журнала «Россия» будет помещено интересное, имеющее общественное значение, художественно написанное, большое письмо к издателю журнала от яснополянского мудреца-философа и великого писателя земли русской, графа Толстого. Это, брат, тебе не бычок накакал. И, между прочим, кстати уж пристегнем, что и глубокоуважаемый Антон Павлыч Чехов дал честное слово прислать для журнала свой новый большой рассказ, который будет помещен в первом номере журнала. Поэта бы еще какого-нибудь обработать не худо бы. Надсона бы что ли. Аль он помер уж? Цензура проклятая не пропустит, а то бы пустить объявление, что будут даны найденные случайно в склепе записки монаха пустынника и затворника отца Варсанофия, умершего в конце пятнадцатого века, в коих записана его борьба с бесом, являвшимся ему во образе девы. Здорово бы это было, ей-богу! Тебя еще, знаешь что, нехудо бы откомандировать к Илье Репину. Не даст ли нам в журнал какой-нибудь рисунок. А не даст — наплевать! Письмо от него тащи. Мы письмо используем! Не худо бы тебя наладить еще и к отцу Иоанну Кронштадтскому. От него бы письмо взять. Погоди, я «самому» посоветую это сделать.

И он действительно «посоветовал» «самому» насчет Иоанна Кронштадтского. Наговорил ему о том, какой шум произведет повсюду и какая начнется подписка, если появится в объявлении, что у нас в журнале будут одновременно помещены письма от Толстого и отца Иоанна Кронштадтского. Шум произойдет! Фурор! На всю Европу прославимся.

«Самому» эта мысль понравилась, и если бы не произошел один случай, о котором расскажу после, то, пожалуй, пришлось бы мне ехать к попу, слывшему тогда за святого чудотворца.

Письмо к Толстому в конце концов было закончено, переписано набело и осталось только дело за тем, чтобы передать его его сиятельству.

— Завтра же и поезжайте, — сказал «сам». — Чем скорее, тем лучше. Куй железо, пока горячо.

Мне не хотелось ехать. Я заранее, ничего не видя, от одной только мысли, как явлюсь к этому прославленному графу, как буду отвечать на его вопросы, чувствовал себя нехорошо. Что же будет там, в Ясной Поляне?

Вечером, накануне моего путешествия, к «самому» собрались гости и свои служащие, кто поважнее. Почти все завидовали мне, находя, что на мою долю выпало большое счастье, потому что:

— Кого увидеть! С кем говорить-то придется! Толстой ведь. Подумать только!

— Смотри, пустой не приезжай от него, — наказывал Кланг, хотя бы вот эдакую записочку да привези! Не уходи от него, пока не да ответа письменного!

И потихоньку добавлял:

— Нам, собственно говоря, на самого-то Толстого наплевать; на письмо его нужно, а он пущай барские прихоти разводит, юродствуе Бога в мужике ищет, не противится злу. Ты только смотри с ним поакк ратней. Не брякни чего-нибудь зряшнего. Помни, с кем говоришь. Бож избави, не рассерди. Не наскочи, вроде как «сам» на художника Савр сова налетел.

Художник Саврасов, — автор известной картины, находящейс в Третьяковской галерее, «Грачи прилетели», — проживал, пропившис опустившись на дно, на «Хиве», т. е. на Хитровом рынке, неподалеку с нас. «Сам» был знаком с ним и, между прочим, как-то раз заказал ем картинку, какой-то вид в Сокольнической роще. Саврасов нарисовал принес. «Сам» начал разглядывать, критиковать и, взяв карандаш сказал:

— Здесь вот надо не так, а вот так! — и показал карандашом ка

Саврасов побагровел и заорал:

— Ты, ты! Ты, невежа, учить меня, академика! Учить ты меня, а Учи-и-ть!! Ты кто и кто я?! Убью! Изувечу!!

И, схватив что-то тяжелое, попавшее под руку, двинулся на «самого

Перепуганный «сам» успел убежать и скрыться в другую комнату

Выехал я из Москвы по Курской дороге до станции Ясенки вечером Приехал в Ясенки ранним утром, когда еще было темно. Куда итти? Н ехать же к его сиятельству в пять часов утра!

На шоссе близ вокзала в каком-то низком строении по окнам све тился огонь. Я пошел туда. Оказалось, что это трактир, под окнами кото рого около колод стояли лошади. Здесь уже открылась торговля, и можн было напиться чаю. Я сел в сторонке, заказал пару чаю, баранок и ста «проводить время», дожидаться утра, когда совсем рассветет и можно бу дет ехать к графу.

Стало рассветать. Ко мне подошел высокий бородатый мужик, оде тый в извозчичий кафтан, и, присев, спросил:

— К графу, что ли? Я свезу.

— А ты почем знаешь, что к графу? — спросил я.

— Эва! мы привычны. Знаем. К нему, что ли?

— Да.

— Свезу?

— Теперь еще рано. Сколько верст до имения?

— Недалеча.

— Приедешь, а он спит.

— Сам-то он, может, и не спит, а другие-то спят. Графиня сама детки. Ты что же, по какому к нему делу?

— Послали меня с письмом.

— На службе, стало быть, находишься? На месте живешь? Хозяин послал аль кто?

— Хозяин.

— Та-а-к! То-то, я гляжу, непохож ты на гостя. Много к нему господ ездит. Нам хлеб. Дурака он ломает. Знать, хорошая-то жизнь надоела, из сапог в лапти обулся. По-нашему хочет, по-мужичьи! Гы! Ну, а как ты ни перефасонивай себя, все граф, барин. Н-но-о человек он ничего, шибко плохова сказать нельзя, зато сама такая-то, Христос с ней, стерва — дальше ехать некуда! Сынки тоже, ох-хо-хо!! Сама все хозяйство забрала в руки. Жадней чорта! Пятачок и тот норовит оттянуть от тебя. А сам ничего не видит, настоящей жизни не знает. В монастырь бы ему, по-настоящему, уйти надо.

— А я слыхал, говорят, добрые они все. Для народа хороши.

— Добрые, гы, добрые! Доброта ихняя известная. Господская, приятель, милость — кисельная сытость. Добры-то они добры, а камушек за пазухой про запас держут. Небось, своего не упустют, шалишь, не пообедаешь!

Выехали мы с этим мужиком со станции в имение графа — Ясную Поляну — утром. Ехали не торопясь, и всю дорогу он знакомил меня с подоплекой жизни рабочих в имении. С его слов картина получалась тяжелая.

Подъехав к большому белому барскому дому к парадному крыльцу, он сказал мне:

— Приехали. Иди. Ты, небось, недолго. Я тебя обожду, пока там будешь. Лошадь пока пожует. Отдохнет. Иди-ка!

С большим волнением, робея, вошел я с подъезда в переднюю. Здесь никого не было. Я огляделся. Налево шла лестница наверх. Теперь, по прошествии долгого времени, у меня изгладилась из памяти точная обстановка этой передней. Постояв, я услыхал наверху шум. По лестнице, топоча, сбёжал худощавый хорошенький мальчик и, не добежав до последних ступенек, увидя меня, остановился и крикнул:

— Вы к папа!?

Я не успел сказать «да», как в это время дверь напротив отворилась, и из нее показался бородатый с нахмуренными нависшими бровями старик, сам Лев Николаевич Толстой.

Точно не могу теперь сказать, времени прошло много, а припоминаю, что он, должно быть, только что встал, потому что нес ночную вазу, которую, увидав меня, прикрыл полой, и, как мне казалось, сердито косясь на меня, скрылся куда-то.

Потом после некоторого с моей стороны ожидания позвали меня, — он ли сам или лакей, не помню, — к нему в кабинет. Ход в кабинет был из этой же передней.

Кабинет — небольшая, если не ошибаюсь, сводчатая комната, — разделен был на две половины перегородкой.

Толстой, одетый в блузу, с нахмуренными бровями и толстым расплывшимся носом, здесь в кабинете показался мне еще сердитее, и мысль поскорее избавиться от него, чуждого и далекого от меня, уйти из этого кабинета всецело овладела мной.

Спросив, откуда я приехал, он, посадив меня за стол напротив себя, уставился на меня своими проницательными небольшими из-под нахмуренных бровей глазами.

Мне стало неловко, и я, торопясь и волнуясь, достал скорей письмо и передал ему.

Он разорвал конверт, вынул письмо и, еще больше нахмурившись, стал читать. Пока он это делал, я глядел на него, и желание уйти поскорее еще больше овладело мною.

Прочитав письмо, он вздохнул и сказал:

— Ничего не могу дать. Вообще я сейчас мало пишу. Не могу!

Я вспомнил слова Кланга: «Не приезжай пустой» и сказал:

— Издатель журнала, приславший вам со мной письмо, просил привезти от вас письменный ответ. Просил, чтобы вы написали ему.

— Да ведь все равно, вы передайте ему мои слова, что не могу.

— Нет уж, пожалуйста, — пристал я, — напишите!

Он пристально посмотрел на меня и спросил:

— А вы тоже пишете? Сочиняете?

— Нет, нет! — поспешно ответил я, — нет!

— Отлично делаете, — сказал он и, помолчав, подумав, добавил: — Ну хорошо. Я напишу ему.

«Слава тебе, господи! — с радостью подумал я про себя. — Мне только это от тебя и надо!»

Он поднялся и прошел в другую половину комнаты, где, как я сразу понял, стал писать ответ на полученное письмо.

«Слава тебе, создателю!» опять про себя воскликнул я, радуясь.

— Ну, вот письмо, ответ, — сказал он, появляясь снова передо мной. — Передайте!

И, передав в мои руки письмо, сел напротив меня.

Я было сейчас же, получив письмо, поднялся, торопясь проститься и уйти, но он не дал мне это сделать.

— Сидите, сидите! — сказал он, не спуская с меня глаз. — Куда вы торопитесь?

— Ехать надо, — сказал я. — На поезд.

— Да теперь поездов нет. Не скоро еще. Останьтесь... После обеда поедете. Вы что же, служите?

Я сказал.

— Вы еще не женаты?

— Нет.

— Пьете?

— Мало.

— Совсем не надо. Совсем не надо! — повторил он. — Я пил. Я знаю, какое это зло. Не пейте.

Я молчал.

— Читаете что? — продолжал он. — Диккенса читали? Некрасова? А какое ваше мнение о Некрасове?

Не помню, что я ему на это ответил. Скорей всего, что ничего, ибо у меня никакого особого мнения о Некрасове не было, — кроме того, что я любил слушать чтение некоторых его стихов.

— Да куда вы торопитесь? — видя, что вместо ответа на его вопрос я решительно поднимаюсь с места, сказал он. — До поезда еще долго. Успеете. Пообедаете у меня, тогда и поедете.

— Нет! —сказал я, испугавшись его «пообедаете».—Мне пора. Поеду!

— Все равно на станции придется долго дожидаться, — сказал он, улыбнувшись.

— Ничего, — сказал я, — подожду. А то еще опоздаешь.

— Экой вы какой! — улыбаясь и очевидно поняв мое состояние, сказал он. — Ну, ну, как угодно! Так и передайте своему хозяину: не могу! А с кем вы приехали? С ямщиком? Парой? Тройкой?

Я сказал, как приехал и с кем.

— Гм-м! Ну, стакан кофе или чаю выпьете на дорогу. Я скажу подать.

— А уж я чайку попил.

— Где?

— На станции в трактире. Рано приехал. Зашел в трактир, там и подводу нашел доехать до вас.

— Экой вы какой! — опять улыбнувшись, сказал он и подал мне руку.

— Прощайте! — сказал я и с каким-то (смешно теперь говорить) радостным облегчением, точно гора свалилась с плеч, вышел от него.

Еще раз мне пришлось увидать Толстого гораздо позднее, в другом месте и при других обстоятельствах.

Случилось это в имении одной богатой помещицы верст за шестьдесят от Москвы. Толстой был знаком с этой помещицей и иногда ездил к ней в гости. Помещица была из передовых, занималась благотворительностью («ах, бедный мужичок»), тратя на это деньги (гроши) из огромных капиталов, нажитых, награбленных «предками» с этих же «бедных мужичков». Перед Толстым она умела прикидываться совсем не той, какой была на самом деле. А на самом деле это была злая, мстительная барыня-крепостница. В имении этой помещицы была школа, где, между прочим, зимой по вечерам показывались «туманные картины» вроде: «Тайная милостыня Николая-чудотворца», «Город Венеция», «Чтение манифеста Александра II» и т. п. Гостивший у барыни Толстой хаживал в эту школу, и в ней-то вот мне пришлось еще раз увидать его.

Вечером показывали какие-то картинки для ребятишек-школьников. Толстой сидел впереди, окруженный гостями помещицы.

Между прочим на экране появился портрет самого Льва Николаевича. «Это кто?» — задал вопрос, обращаясь к ребятишкам, учитель. «Толстой, Толстой, Толстой! — закричали детские голоса. — Граф Толстой! Лев Николаич Толстой!»

Толстому, очевидно, это было не неприятно. Он улыбался и поправлял левой рукой бороду.

Между прочим, кстати уж сказать, в этом же имении был с ним такой вот случай. В имении была так называемая «богадельня» для бывших крепостных стариков и старух. Жили эти «бывшие люди» в этой «богадельне» по углам, в грязи и нищете, получая «месячное»: пуд ржаной муки и тридцать копеек деньгами. Среди этих несчастных людей, «хамов» по барскому выражению, жил каким-то чудом сохранившийся крепкий старик, бывший кучер, славившийся сквернословием. Он, между прочим, исполнял обязанности дворника при богадельне, пилил дрова, возил воду, получая за это помимо «месячного» отдельную плату.

И вот как-то раз по обыкновению (дело было зимой) утром он один пилил на дровосеке дрова. Лев Николаевич, находившийся в гостях у помещицы, вставал рано и выходил гулять. Одетый в подержанный полушубок, на ногах валенки, на голове какая-то круглая шапчонка, немного сутуловатый, с бородой, с широким носом он походил с виду на какого-то продольного пильщика и, не зная его, никак нельзя было подумать, что это его сиятельство граф Толстой.

Гуляя, он наткнулся на работавшего в одиночку дворника и, видя, что одному ему пилить поперечной пилой не споро, предложил свои услуги — помочь. Тот не отказался и спросил:

— Ты чей?

И, получив какой-то ответ, опять спросил:

— Наниматься, что ли, пришел? Место ищешь? Нужен здесь рабочий, да только не советую, брат, поступать. Все одно убежишь.

— Почему?

— А потому, что сама барыня — чорт, не нашего царя. Сволочь! Нашего брата слопать рада. Дьявол, а не баба. Не советую, брат. По мне как хошь, а только гляди. Сволочь, говорю, для нашего брата, а не барыня.

И все это, всю рекомендацию, он приправлял самой изысканной матерщиной.

Когда после дворник узнал, с кем беседовал и кому «расписал» барыню, — испугался. Да и было чему! Барыне, конечно, «доложили» об этом случае, и вскоре старика-дворника убрали из имения, переселили куда-то в деревню к бедняку-мужику на квартиру, где он, прожив года два, умер, всеми брошенный, забытый, в грязи, изъеденный вшами.

В Москве меня поджидали. Приехал я утром. Кланг, увидав меня, растопырил как-то смешно руки, точно играл в жмурки, и закричал:

— Пустой?!

— Есть! — сказал я и хлопнул рукой по боковому карману, где лежало спрятанное письмо.

— Привез! — опять закричал он. — Ур-ра!

«Сам» тоже обрадовался моему приезду. Посыпались вопросы: как, что? Что сказал? Как застал его? и т. д.

Прочли маленькое письмо-ответ. Содержание ответа было отказом дать что-либо в журнал.

— Да мы на это и не рассчитывали, — заговорил Кланг, — наплевать! Нам письмо дорого! Это письмо потянет подписчиков, как пьяниц на водку. Погодите, какое я составлю объявление, на всю Европу шуму наделаю!

«Сам» больше всего интересовался тем, что сказал Толстой о его статье «На поклон к искусству», которую, я и забыл сказать, он навязал мне свезти вместе с письмом.

— Ну, как он взглянул на мою статью? Что сказал? Какое выражение лица было, а? Я думаю, что она поразила его, а? Как по-вашему?

Сказать ему, что его статью Толстой при мне читать не стал, а поморщившись отложил в сторонку, я не решился и промолчал, а он продолжал, принимая мое молчание за одобрение:

— Ему надо бы сойтись со мной покороче. Вдвоем с ним мы могли бы многое сделать. Может быть я выберу время сам съездить к нему переговорить с ним. Страницы моего журнала, пусть он знает, всегда открыты для него. Повторяю, надо сойтись с ним покороче, втянуть его в работу в нашем журнале. Я с своей стороны готов дать ему две-три темы для рассказов. А теперь, — продолжал он, — ввиду его отказа придется заменить его другим писателем с именем. Кого бы, например, пригласить?

— Григоровича нешто? — подал мысль Кланг.

— А он жив?

— Что ему делается. Живехонек!

— Григоровича? Гм-м! Н-да, это тоже имя.

— Еще бы, — согласился Кланг, — еще какое! Кто написал «Антона Горемыку» — он! «Переселенцев» — он! Необходимо придется пригласить.

— Дорого заломит наверно, — сказал «сам». — А где он живет?

— В Питере. Подьячев спутешествует. К отцу Иоанну кстати бы уж завернул в Кронштадт.

— Не поеду! — решительно сказал я. — Что хотите делайте со мной, не поеду! Довольно с меня Толстого.

— Молодчина все-таки. Недаром съездил. Привез что надо.

— Не так важно письмо, — сказал «сам», — как важно то, что передана лично в его руки моя статья. Не часто ему, я думаю, попадают в руки такие вещи. Да-с, не часто!!

«Сам» после статьи «На поклон к искусству», напечатанной в журнале, стал как-то заметно охладевать к нему, хотя подписка благодаря заманчивым объявлениям поднялась.

Он занялся и увлекся другим делом, которое в конце концов погубило его.

Я уже, кажется, говорил, что рядом с его кабинетом было другое помещение, дверь в которое постоянно была плотно прикрыта, и говорил тоже, что на его рабочем столе лежали какие-то четырехугольные черные полированные бруски дерева, о которых как-то раз, когда я с ним ближе познакомился, он, кивнув на них, сказал:

— А это вот знаете что?

— Нет, — ответил я.

— Это, — как-то торжествующе усмехнувшись, сказал он. — Это, это... составит новую эру в строительном искусстве! Перевернет все вверх дном!! Я изобрел, — продолжал он, глядя на меня, — и изобретаю и усовершенствую теперь, вечное, несгораемое, негниющее дерево! Железа не надо! Мое дерево вытеснит железо. Представьте, например, шпалы на железной дороге из моего дерева, — они вечны. Дом из моего дерева вечен. Теперь меня занимает вопрос, как назвать его? Я роюсь в словаре и никак не могу подыскать подходящего названия.

— Назовите его просто: «дерево Пашкова» — сказал я. — Вы изобрели — пусть это изобретение и носит вашу фамилию.

Выслушав это, он хлопнул себя по лбу и радостно воскликнул:

— Ну, конечно же так! «Дерево Пашкова»! «Дерево Пашкова»! Отлично! Спасибо!

Бруски этого дерева были, как уже и говорено, черного блестящего цвета, тяжелые, пропитанные каким-то составом.

— Мой секрет в том, чем они пропитаны, — говорил «сам». — В этом составе все дело. В нем есть и асфальт и еще кое-что. Но пока это секрет. Я еще не совсем усовершенствовал изобретение. Но уже достижение налицо. Там у меня, — он кивнул на дверь в другое помещение, — готовится кое-что. Да-с, готовится! И это будет поценнее, чем толстовские романы. Это удивит мир!!

После я узнал, что «там», т. е. в другой, постоянно закрытой, комнате была у него своя доморощенная лаборатория-мастерская, в которой орудовал «механик» — парень, взятый с Хитрова рынка, где в те времена можно было подыскать человека по какой угодно профессии.

В лаборатории этой была в углу устроена печка, в печке вмазан котел, который каким-то особенным способом наглухо закупоривался. В котле находился состав — «специя», придуманная изобретателем. В эту «специю» опускались бруски дерева, березовые, еловые, сосновые, дубовые, и котел, после того как в него опущены были бруски, наглухо закупоривался, а под ним разводили огонь и температуру внутри его доводили до отказа. «Специя», доведенная жаром до последней степени, бурлила в котле и пропитывала собой бруски дерева, которые, пропитав-

шись ей, должны были быть, по мнению изобретателя, несгораемыми и негниющими.

Это новое дело завладело «самим» так, что он забросил свое писанье, перестал диктовать мне свои статьи, чему я был весьма рад.

Жизнь моя в это время переменилась, сделалась безалаберная, праздная.

Делов не было. Стали водиться деньги. Харчи я ел хорошие. Завелось знакомство — преимущественно из пишущей братии невысокого сорта, пьяной и бесшабашной. Сам я тоже стал попивать. «Выпимши», любил слушать чтение стихов, которые обыкновенно читал мне — и читал великолепно — Кланг. Знал он их наизусть великое множество. Особенным почетом пользовались у него Некрасов и Кузьма Прутков.

Как сейчас, гляжу я на его рослую фигуру. Вот стоит он передо мной, отставя левую ногу вперед и приподняв немного голову, и, размахивая правой рукой в такт стихов, внятно, красиво, раздельно и задушевно читает:

В толпе горластой, праздничной
Похаживали странники,
Прокликивали клич:
«Эй! Нет ли где счастливого?
Явись! Коли окажется,
Что счастливо живешь,
У нас ведро готовое:
Пей даром сколько вздумаешь —
На славу угостим!..»
Таким речам неслыханным
Смеялись люди трезвые,
А пьяные да умные
Чуть не плевали в бороду
Ретивым крикунам.
Однако и охотников
Хлебнуть вина бесплатного
Достаточно нашлось.
Когда вернулись странники
Под липу, клич прокликавши,
Их обступил народ.
Пришел дьячок уволенный,
Тощой, как спичка серная,
И лясы распустил, —
Что счастие не в пожитях
Не в соболях, не в золоте,
Не в дорогих камнях.
— А в чем же?
— В благодушестве!
Пределы есть владениям
Господ, вельмож, царей земных,
А мудрого владение —
Весь вертоград христов!
Коль обогреет солнышко
Да пропущу косушечку,
Так вот и счастлив я!

— А где возьмешь косушечку?
— Да вы же дать сулилися... ‹
— Проваливай! Шалишь!..
и т. д. и т. д.

А то, бывало, начнет декламировать что-нибудь из Кузьмы Пруткова, которого, кажется, всего знал наизусть. Как сейчас, гляжу на него, читающего «Философа в бане»:

Полно меня, Левкония, упругой гладить ладонью.
Полно по чреслам моим вдоль поясницы скользить.
Ты позови Дискомета, ременнообутого Тавра:
В сладкой работе твоей быстро он сменит тебя.
Опытен Тавр и силен. Ему нипочем притиранья!
На спину вскочит как раз; в выю упрется пятой...
Ты же, меж тем, щекоти мне слегка безволосое темя.
Взрытый наукою лоб розами тихо укрась.

Вообще это был человек развитой, добрый, талантливый и веселый. Но иногда на него находила, как он сам выражался, «меланхолия». Тогда по целым дням он угрюмо молчал или же вдруг, ни с того, ни с сего, запевал что-нибудь «божественное», уныло-протяжное, например:

Положиша мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней.

Из поэтов в те времена мне почему-то больше всех нравился и трогал Надсон. «Выпимши», я проливал слезу, читая его, и помню, как однажды (и сейчас стыдно вспомнить) попал я в номер к гулящей девице, затащившей меня с улицы к себе, и как я там у ней ей и пришедшим к ней вечером трем подругам читал сдуру, захлебываясь слезами, «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой» и т. д. и как девицы, видя перед собой такого чудака-дуралея, фыркали и давились от душившего их смеха!

На масленице жена пьяницы — портретиста-художника, занимавшаяся сводничеством, свела меня с девушкой-портнихой.

Сводня эта жила на Никитской в хорошей квартире. Меня пригласили вечером на блины. Помимо меня собралось несколько человек гостей, преимущественно молодых людей, которые еще до блинов начали выпивать, и среди них вскоре поднялись спор, крик, хохот.

Хозяйка, долгоносая, с глазами навыкате, восточного типа баба, шепнула мне потихоньку:

— Идите за мной.

— Что такое? — спросил я.

— Да уж идите. Увидите!

Я пошел за ней.

Она провела меня в другую плохо освещенную комнату, где я разглядел сидящую в уголке на диване женскую фигуру.

— Настя, — сказала сводня, — вот молодой человек (имя рек) желает давно уже с вами познакомиться. Познакомьтесь! А я пойду к гостям.

Она ушла. Мы остались вдвоем.

Знакомству и первой встрече с этой девушкой в первое время я не придавал особого значения, а потом, дальше-больше, привязался к ней и полюбил ее со всем жаром первой, хорошей, искренней любви.

Она была малограмотна. Ничего не читала. Родом из Костромской губернии. С детства отдана была в ученье к портнихе. Выучилась и осталась жить у этой же хозяйки, у которой училась, на месячное жалованье мастерицей.

Она тоже быстро привязалась ко мне. Жили мы дружно. Я не помню, чтобы когда серьезно поссорился с ней. Ее мечтой было — подыскать помещение, открыть свою мастерскую, но на это нужны были деньги, которых ни у нее ни у меня не было.

По субботам, окончив работу, она приходила ко мне и оставалась до понедельника.

На буднях она работала подолгу, особенно перед большими праздниками.

Я по вечерам ходил навещать ее. В мастерскую, где она вместе с другими работала, меня не пускали. Я обыкновенно через дворника, который признал меня и иногда получал от меня «на чаишка», вызывал ее ко мне. Я ждал ее под аркой ворот, и она, наскоро накинув на себя какой-нибудь платок или пальтишко, радостная, выбегала из мастерской и бросалась ко мне на шею.

Весной, когда стаял снег в Москве и за Москвой, мы с ней по праздникам уезжали с утра или в Сокольники или на Воробьевы горы.

Особенно хорошо я помню Воробьевы горы. Весна была ранняя. В середине апреля уже весь снег сошел, и дни стояли солнечные, теплые, с особенно каким-то прозрачным голубым небом, по которому, как горы с серебряными блестящими краями, медленно двигались, плыли облака. Мы находили где-нибудь укромное глухое местечко, откуда вдали, в прозрачном дрожащем воздухе за рекой, видна была раскинувшаяся Москва с далекими домами, башнями, церквами, и с своим запасом провизии надолго располагались здесь.

Она часто пела мне любимую свою песню: «Как на матушке на Неве-реке, на Васильевском славном острове».

У ней был не сильный, но приятный, хватающий за душу своей прелестью, голос. Я, положив голову ей на коленки и глядя то вверх на голубое бездонное небо, то на раскинувшуюся вдали Москву, слушал ее пение и чувствовал, как сладко плачет мое сердце.

Эх, да и хорошее же это было время моей жизни! Первая любовь, весеннее солнце, чириканье птичек, шелест леса, голубое небо, манящие к себе дали, поцелуи, смех, молодость, сила, жажда жизни! Где же это все!!

Она была религиозна и как-то раз подговорила меня поехать с ней к Троице-Сергию.

Близ этого монастыря находился, да и теперь еще наверно находится, скит под названием «Черниговская божья матерь». Там, в этом скиту, в те времена жил прославленный, вроде Иоанна Кронштадтского, старец-предсказатель и чуть ли не чудотворец — отец Варнава.

Вот к этому-то святому отцу Варнаве она и потащила меня узнавать, по ее выражению, «судьбу».

Пришли мы в скит часу в десятом утра. Прошли под ворота во двор и увидали толпящихся людей около крыльца и под окнами домика, где, как оказалось, проживал прозорливец отец Варнава.

Мы встали в очередь. Первой итти к старцу досталось ей. Она пошла и долго не возвращалась назад. Когда же возвратилась, то я увидал, что все ее лицо пылает, а в глазах стоят слезы.

— Ну, как? — потихоньку спросил я.

Она не ответила на вопрос, а с дрожью в голосе сказала торопливо:

— Ну, теперь ты. Иди, иди! Он ждет. Иди!

Я пошел.

Встретил меня небольшого роста, сутуловатый, с седой бороденкой старикашка, — как оказалось, сам отец Варнава. Я поклонился и поздоровался с ним.

Он молча глядел на меня и потом вдруг, как мне показалось, сердито сказал, указав рукой в передний угол, где висели иконы.

— С хозяином, с хозяином здоровайся вперед, ему кланяйся!

Не понимая, я молчал.

— Не понимаешь? Жид ты, что ли?! — еще сердитее уже почти закричал он. — Иконам вперед поклонись, с ними поздоровайся, а потом уж со мной. Эка, необузданные!

И не дожидаясь, что я скажу, благословил меня и сунул к моим губам привычным манером свою пухлую руку.

— Ну что скажешь, раб божий, зачем пожаловал?

И опять, не дожидаясь моего ответа, кивнул на дверь и сказал:

— Эта молодка-то, сейчас ушла от меня, твоя, что ли?

— Моя.

— Так. Ездите в святую обитель, блудодействуете. Эх вы, необузданные! Стыд-то куда спрятали? Аль стыд не дым, глаза не выест? Давно с ней живешь-то?

— Нет.

— Жениться надо. Жениться! Закон приять. А закон приявши не по-собачьи жить. Чем занимаешься? Где живешь? В бога веруешь? В троицу единосущную и нераздельную? Есть теперь не веруют. Необузданные! А ты верь, не слушай никого, верь! Ты то подумай: кто все сотворил-то, а? Само, что ли, сделалось? Почему солнушко с востока кажное утро встает, а не с другова места, а? Скажи-ка, умная голова?

— Не знаю.

— То-то не знаю. Чего вы знаете-то, необузданные?! Псалом предначинательный знаешь? Нет? Эх ты, необузданный! Читай этот псалом, в нем все сказано. Слушай-ка, я те почитаю. Вникай! А то постой-ка, я те дам листочков. На-ко вот, читай дома со вниманием. Свет узришь. В каждом слове премудрость. Грамоте-то хорошо знаешь?

— Знаю.

— Ну, вот и читай. Богу молись хорошенько. Проси его. Говеешь ли? Успенским постом селедок не ел ли? Начальству покорен ли? Смирение, послушание паче всего. Не высокомудрствуй. Широко не шагай — портки разорвешь. Бога бойся, царя чти. Священное писанье читай. В храм ходи чаще. Отца духовного чти и слушайся. Не возносись. Родители-то у тебя живы ли? Как звать-то? Именинник-то когда бываешь? Своему ангелу молись. Помни: за плечами он у тебя стоит, записывает дела твои, и дьявол стоит, тоже записывает. Ангел хорошие дела записывает, а дьявол худые, злые. На страшном суде все это объявится. Н-нда! Помни все это, раб божий! У преподобного был ли? Прикладывался ли к мощам? С ней был? Гляди, в чистоте подходил-то? Не имел ли перед этим греха с ней? Не поганый ли? Ну, иди со Христом! Читай листки, молись, не блудодействуй, женись. Иди!

И, благословив еще раз и еще раз сунув к губам руку, отпустил.

— Ну, что? — глядя на меня во все глаза, спросила она.

— Да ничего особенного. Напрасно ходил.

— Как так напрасно? Что он сказал? Про меня ничего не говорил?

— Нет. Дал вот мне листков троицких. Спрашивал, не ел ли успенским постом селедок. Больше ничего.

— А насчет женитьбы не говорил? Спрашивал, холостой ты или женатый?

— Спрашивал.

— Ну ты что?

— Сказал, что холостой.

— А он?

— Велел жениться.

Она пристально посмотрела на меня и замолчала.

Между тем издателю журнала, все больше и больше увлекавшемуся своим изобретением несгораемого вечного дерева, «усовершенствующему», как он выражался, это изобретение и доводившему его до «идеального состояния», пришла в голову какими-то непонятными путями «новая идея».

Оказалось, что этой «новой идеей» было то, что он «решил» написать драму в шести картинах под названием «Николай Иваныч».

Сказано-сделано. Как-то вечером началась первая диктовка. Я сидел за столом, вооруженный карандашом. Он ходил из угла в угол по комнате, заложив за спину руки.

— Ну-с, вы готовы? — спросил он.

— Готов.

— Пишите: «День. Комната с большим окном. Николай Иваныч ходит задумчиво по комнате. За стеной слышен детский крик. Крик: «ай, ай, ай, ай!» Николай Иваныч, молча остановившись, слушает. Потом говорит: «Боже мой, боже мой!» Схватывает себя за голову».

И так далее, и так далее все в этом же роде.

В главном герое драмы нетрудно было узнать самого автора, и этот главный герой говорил длинные «умные» философские речи, от которых я, записывая их, «балдел», а он, автор, найдя исход своей философии, расходился все больше и больше и, казалось никогда не будет конца его речам.

Но... конец пришел. Пришел нежданный и ужасный.

На третьем этаже нашего дома была квартира художника и его брата. Хорошо познакомившись с ними, я частенько бывал у них. Помню, как-то раз — дело, кажется, было осенью — художник справлял именины. Были гости. Были, как и водится, водка, пиво, закуски. Художник с братом хорошо пели свои малороссийские песни. Было весело, и пирушка затянулась бы до утра, если бы не была прервана самым ужасным и неожиданным образом.

Часу в двенадцатом ночи, вдруг, не ждано-не гадано, раздался внизу страшный взрыв, от которого затрясся пол в комнате, где мы пировали. Все с испугом повскакали с мест, а хозяин-художник, знавший про лабораторию «самого», громко закричал:

— Дождались, наконец!

Я выскочил за дверь в коридор. Из этого коридора шла вниз широкая лестница. Снизу шел кверху густой вонючий дым. Другого выхода вниз не было. Сбежав до площадки второго этажа, я увидал налево в конце коридора как из двери кабинета «самого» вырывались сквозь дым языки пламени. Где-то шел какой-то страшный треск. Перепуганный, я бросился вниз в переднюю и здесь увидал страшную картину.

На полу, поддерживаемый рабочими, сидел сам изобретатель вечного несгораемого дерева, весь обгорелый, с раздутым лицом, без бровей и жалобно стонал.

Сверху по лестнице с криком сбегали люди. Густой и едкий дым наполнил все здание. Пожар быстро распространялся.

«Самого» завернули во что-то и на извозчике увезли в Яузскую больницу.

Пожар начался в лаборатории, где, как выяснилось после, от сильнейшего жара вмазанный и наглухо закупоренный в печке котел не выдержал и, как какая-нибудь бомба, лопнул. «Механика», находившегося около, силою взрыва благополучно отшвырнуло в сторону, а самого изобретателя, бывшего здесь же, облило вспыхнувшей горючей «специей», кипевшей в котле, и он с воплем живым факелом выскочил в коридор.

«Сам» остался жив. Через неделю или позднее я пришел навестить его. Он лежал вблизи больших выходивших на солнечную сторону окон,

был весь на виду и был страшен. Лицо — круглый багрово-красный шар. Вместо глаз — узенькие щелки. Весь забинтован.

Говорить потихоньку, едва слышно, он мог, и, как мне показалось, да впрочем это так и было, с укором сказал мне:

— Зачем вы не позвали меня к себе наверх на вечеринку, я был бы цел.

На табуретке, около кровати, лежала толстая книга, на корешке которой я прочел «Библия» и подумал: «Зачем это она у него?»

Уже перед тем как мне уходить, он потихоньку сказал:

— Почитайте мне.

— Что? — спросил я.

— Вон лежит... Библия... Екклезиаста почитайте мне... Найдите... я... я... послушаю.

Я взял книгу, нашел заглавие «Книга Екклезиаста или проповедника», прочел ему заглавие и спросил:

— Это?

— Да, — едва слышно ответил он.

Тогда я стал читать:

— «Слова Екклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Суета сует, — сказал Екклезиаст, — суета сует, все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Я, Екклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме и предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот — все суета и томление духа! Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрость больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания, и предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь».

Я замолчал и взглянул на него. Он лежал не шевелясь. Потом он тихонько прошептал:

— Еще.

Я стал снова читать и, когда опять взглянул на него, то увидал, как из щелок его глаз выкатились большие, как горошины, слезы.

Журнал прикрылся. Все кончилось. Мне пришлось уйти.

Жизнь моя потекла по новому руслу.

Куранты [1]).

Г. Санников.

1.

Однажды
На башне кремлевской,
Вздрогнув,
Куранты оборвали звон,
Медным стоном пронзив синеву.
Звяканьем захлебнувшись,
Остановились трамваи на миг,
И пробегающий автомобиль
Головой глазастой
Уткнулся, рыдая, в сугроб.

На окрайнах громко гудки взревели.
Толпами
Из корпусов фабричных
В ночь
Рабочие молчаливо прошли.

Ветер
Вечерние улицы
Тушью метельной душил.

Только красноармеец
На посту,
У ворот Кремля,
Вглядываясь,
Слышал —
Провода, колыхаясь, гудели,
Словно трубы трубили
Похоронного шествия марш,

---

[1]) *От редакции.* Поэма печатается в сокращенном виде. Некоторые места поэмы в первоначальном виде, как фрагменты «Ленинианы», были опубликованы автором в 1925 г.

И настороженный
Крепче сжимал ружье...

В этот вечер
Умер рабочий вождь.

2.

. . .

Каждой ночью
С кремлевской башни
Раздается
Рабочий гимн.
Это мертвые о борьбе поют,
Это мертвые будят живых.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I

Углами
Древних башен выступая,
Сооруженные невесть когда,
Кирпичные
Величествуют стены
Многовекового Кремля.

За ними —
Башни, храмы и хоромы,
Громады древние развенчанных царей.
А здесь на площади
В тени,
Под ними,
Покоятся герои баррикад.

Бойцы, соратники и други,
Они
На приступ в октябре,
Под перепал и гул орудий,
Лавиной ринулись...

И, как грохочущий прибой,
Всторжествовали над Кремлем
И красною опали пеной
Под сединой
Державных стен.

Резец художника на камне высек:
Светило утреннее,
Древко и стяг
И величавость
Женщины-свободы —
Могучее Начало мятежа:

«Павшим в борьбе за мир и братство народов» [1]).

II

Вот здесь огнем знамен военных
Мы присягали и клялись.
И батальонами, полками уходили
На дальние
И ближние фронты.

Из-за морей тогда десанты
Британии,
Державы кораблей,
Оружием, предательством и кровью
И пыткой голода мытарили страну.

Броненосцами,
Бронепоездами
Передвигались рубежи:
Балтийское и Белое,
Каспийское, Кавказ и Крым.

А там —
Сибирь с верхов Урала,
Путь к океану преградив,
Иноплеменников скликала
Под императорский девиз.

Вокруг
Фронты тесней смыкались.
О камни стен ломались дни.
На площади великого почина
Кричали
Стяги годовщин.

И с высоты
Стены кирпичной,
Торжественным безумством мятежа,
Над павшим войском
Пламенела
Мемориальная доска.

---

[1]) Надпись на мемориальной доске кремлевской стены.

III

«Мундир английский,
Пагон рассейский,
Табак японский,
Правитель омский»...

В дыму гранатном худело солнце,
И тлели зори в удушьи битв.
Фронты в Москве,
К стене кремлевской,
В обхват скакали и рвались.

Рабочим маршем земля стонала,
Поэты пели борьбу и труд.
С последней силой пустых резервов
Мы к океану
Держали путь.

Последний порох голодных армий,
Но беззаветен напор борьбы,
И вот
Форты блокады пали —
Кавказ, Таврида и Сибирь.

«Мундир сносился,
Пагон свалился,
Табак скурился,
Правитель скрылся»...

Слетались стаи знамен победных
На перекличку торжества,
И триумфальным разбегом далей
Пред нами
Прядали моря.

И были дни светлы, как песни,
И были песни, словно дни.
Четыре тяжких годовщины
В созвездье подвига
Срослись.

IV

На пятый год
У стен кремлевских
Не расцвели цветы...

V

А ведь, казалось, скоро, скоро, —
Пройдет, быть может, месяц, год, —
Примером
Бури беспримерной
Восстанут Запад и Восток.

Проснутся буйные вулканы,
И лава,
Вырвавшись из недр,
Кипящие огнем потоки
Покатит с гулом по земле.

И перекроем грянут страны
И, разогнувшись,
Навсегда
Сольются желтые и белые
В железном подвиге труда.

Мы ждали бурь,
Мы звали громы
И с высоты кремлевских стен
Земному шару посылали
О мятеже горячий клич.

Но угнетала, одуряла
Сухая темень тихих стран.
Был бред зарниц,
Был говор радуг,
Но молот бурь не грохотал.

И мы катили одиноко
Крутые жернова побед.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

VI

Шли весны...
По ночам
Звончей куранты гимн могил
На башне древней выбивали.
Молодоклены под стеной
Озеленялись звонким пухом,
И на могилах
Вновь цвели цветы.

Манифестации, парады
И дни великих годовщин
Приливом толп, знамен, оркестров
Теснили площадь.
С высоты
Аэрогромом
Аэропланы
Железный кипятили вихрь.

Но, как на бой, суровым шагом
Мы шли на мирные парады,
И без отрады
Ткали песни
И тосковали о боях.

Высокий градус пятилеток.
Прививка бодрости. Госплан.
Иди в совхозы
Вместо розы
Выращивай добротный злак.

Живи, питайся, строй и думай,
Переключай себя
И верь —
Балансы выравняв, коммуна
Переболеет разнобой.

VII

А в это время, за стеной...

VIII

Однажды
На башне кремлевской,
Вздрогнув,
Куранты оборвали звон,
Медным стоном пронзив синеву.
Звяканьем захлебнувшись,
Остановились трамваи на миг,
И пробегающий автомобиль
Головой глазастой
Уткнулся, рыдая, в сугроб.

На окраинах громко гудки взревели.
Толпами

Из корпусов фабричных
В ночь
Рабочие молчаливо прошли.

Ветер
Вечерние улицы
Тушью метельной душил.

Только красноармеец
На посту
У ворот Кремля,
Вглядываясь,
Слышал:
Провода, колыхаясь, гудели,
Словно трубы трубили
Похоронного шествия марш,
И настороженный
Крепче сжимал ружье...

В этот вечер
Умер рабочий вождь.

IX

Кто расскажет
О днях расколотых?
О катастрофе сердец рабочих?
Музыканты!
Где же ваш реквием?
Живописцы! Поэты! Зодчие!

Когда хоронили Маркса,
Энгельс сказал:
«Человечество
стало на голову ниже»,
И живет этот образ Энгельса...

X

Фасады
Охвачены инеем.
По кварталам заря костров.
Небывалое марево траура.
Человеческой скорби парад.

Караулы.
Бессонница партии.

Многоколонный приют вождя.
Субтропических пальм торжественность.
Мертвый свет электрических люстр.

Припадали ко гробу взорами.
Сокрушенных сердец унисон.
И в покое знамен —
Любимое
Восковое его лицо.

Провожаемый миллионами
От Колонного в путь погребальный,
По волнам
Похоронного радио
Гроб
На красное кладбище плыл.

И рыданьями, и оркестрами,
И ветрами —
Гудками метельными,
Надрывалась страна рассветная,
Хоронила вождя.

Так
Свершилось непоправимое,
И неистов сиротства раскат.
У эпохи не стало любимого
Человека и коммуниста.

Тяжелы и черны снега.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

XI

Годы суровые, стены кирпичные.
Старая гвардия,
Старая гвардия
Уходит.
Новые могилы. Гранитные плиты.
Надписи:
Красин
Дзержинский.

Одни под стены, другие без почестей.
И все дорогие, нужные,
Кровью своей,

Подвигом,
Жизнью,
Проложившие путь Октябрю.
Годы тяжелые, стены кирпичные...

XII

XIII

О, сколько раз
К вождю влекомый,
К могилам
Погибшей гвардии его,
Я добрые задумчивые ночи
Стене кремлевской отдавал.

Внимал,
Как медные куранты,
На камни осыпая звон,
О возмущенном разуме,
О смертном бое пели,
О неоконченной борьбе.

И в этом мерном звоне меди,
В резьбе
По глине тишины
Мне голос слышался подземный,
Мне песни чудились могил.

И останавливалось время,
Гася ночные фонари,
И только
Перезвон курантов
Над сонным городом парил.

XIV

Порыв, романтика и песня,
Я снова вами одержим.
Зову грядущее,
Болею,
Зову и брежу наяву.

Нетерпеливо
Жду начала,
Пишу и рву поэмы чувств.

Сияй, грядущее, и звоном далей
Нам наполняй глухую жизнь.

Чтоб сила воли не скудела,
Как в жар и засуху река,
Чтоб рос бы разум человека,
Перегоняющий века.

И чтоб в строительстве сознаний
И в дружном подвиге труда
Социализмом прорастала
Упорства нашего руда.

XV

Недавно летней ночью,
Под вечностью кремлевских стен
Один в раздумьи терпеливом
Я поджидал зарю...

Мне вспоминался бой октябрьский,
Когда мы в буре повернули руль
И к нерушимым берегам,
Отважные,
Поплыли прямо
Тяжелым строем кораблей.

А за стеной светало,
И над Кремлем сквозила даль.
Рассвет
Разливом дыма сизого
С дарами солнца наступал.

И площади прямоугольник
И зданий ломаный чертеж
Обозначались постепенно.
В своем величии
Росла
Зубчатая стена.

И только темный мавзолей,
Как ночь глубокая,
Синел,
Нетронутый рассветом.

Подобно озеру,
Широко
Прозрачная седела тишина.

О, час багряного налива,
Дневеющее забытье...

XVI

Передо мной,
Как в теплом сне
Младенческом, невозвратимом,
Виденья возникали:
Сменялась радуга грозой,
И утро
Превращалось в ночь,
Теснились, холодея, звезды —
Миров безвестных корабли.

И то ли медь колоколов,
Раскалывая звон о башни,
Сдавала ночь заре на слом,
Иль это в самом деле сон —
Бред площади
И вымысел камней
И одержимость грузных зданий...

XVII

XVIII

Не раз
Во дни крутых свершений,
На зыбкой высоте трибун,
Водитель бурь — Владимир Ленин —
Вставал пред нами наяву.

Упругая напористая речь.
Как весла вскинутые руки.
И лоб высокий и округлый,
Овал скуластого лица.

И от начала до конца
Весь плац: полки и стены—слух,

Вниманье башен неподвижных,
Сосредоточенность шеренг.

Словами бурь дышала площадь.
Вскипала в дружных толпах мощь.

XIX, XX

XXI

Очнулся я,
Кругом все то же:
Площадь Стены
Могилы Мавзолей.
И слышу,
Колебля утреннюю сень,
В час неурочный
Куранты
Мерно
Вызванивают
«ИНТЕРНАЦИОНАЛ».

1924—1928 гг.

Международное политическое положение в 1928 году.

Ф. Нотович.

Истекший год дал окончательное оформление важнейшим международным политическим процессам, которые уже давно существовали, всеми остро ощущались при разрешении любой междугосударственной проблемы, затрагивающей интересы различных капиталистических стран, касалось ли это запутанных дел балканизированной Восточной и Центральной Европы, колониального и полуколониального Востока, Балканского полуострова и обоих бассейнов Средиземного моря с их многочисленными неразрешенными проблемами, с одной стороны, или же, когда речь шла о разрешении вопросов, вытекающих из быстро нарастающих и все углубляющихся противоречий между Англией и Северо-американскими соединенными штатами, с другой стороны.

Англо-французский военно-морской компромисс, означающий в переводе с дипломатического языка на простой разговорный язык восстановление франко-английской entente cordiale (сердечное соглашение) и возврат к довоенным союзам с сопутствующими им конвенциями военных и морских штабов, — заключает собой целую главу империалистической политики руководящих капиталистических стран Европы.

Англо-французским компромиссом оканчивается период блужданий, шатаний и зигзагов в политике Англии и Франции по отношению друг к другу, в политике Англии в отношении Германии, Италии и к итало-французским противоречиям на Балканах и в Восточном и Западном Средиземноморских бассейнах.

Англо-французский компромисс имеет несколько ликов. Он означает: политическое господство англо-французского блока, охрану послеверсальской Европы на основе незыблемости мирных договоров (Версаль, Сен-Жермен, Трианон, Нейи) и военных союзов Франции с ее союзниками (Польша, Чехо-Словакия, Румыния и Юго-Славия); охрану и взаимную гарантию колониальных владений обеих стран и ведущих к ним путей сообщений; оттеснение на задний план фашистской Италии с ее чрезмерно возросшими империалистическими аппетитами и назначение для нее «пайка»; совместный и согласованный надзор за быстро восстановившей свое промышленное могущество Германией с целью задержать ее быстрый экономический рост и возрождающихся на его основе у господствующих классов Германии империалистических тенденций и устремлений; усвоение Францией Пуанкаре точки зрения английского консервативного кабинета на «русский вопрос», т. е. поддержка французским правительством английской антисоветской политики и организации всех враждебных сил

против СССР; совместную организацию защиты против сделавшейся неудобной и стеснительной опеки и зависимости империалистической Европы от империалистических Северо-Американских Соединенных Штатов, или, другими словами, попытку не дать себя Америке посадить на «паек». Для осуществления этой поистине чудовищной программы уже сговорившихся двух империалистических хищников у них имеется только одно средство — война. Англо-американский компромисс в конечном счете имеет в виду организацию подготовки войны.

Ниже мы еще вернемся к этому вопросу и постараемся доказать, что таковы именно цели, которые преследуют империалисты Англии и Франции пресловутым компромиссом. Здесь же мы хотим только подчеркнуть, что данный компромисс оформляет и заканчивает целую послевоенную и послереволюционную эпоху, богатую пацифистскими социал-демократическими бреднями о возможности разоружения при капиталистическом строе и о создании капиталистической Лигой Наций незыблемых гарантий мира и безопасности; эпоху ухаживания Англии за фашистской Италией и терпеливого наблюдения за тем, как Муссолини с благословения Чемберлена начал всерьез сплетать враждебные Франции союзы на Балканах и в Центральной Европе.

Всему этому положен конец. Старые «друзья» нашли друг друга. Муссолини должен будет довольствоваться тем «пайком», который ему предназначит дуумвират, облизываясь от запаха обильной и вкусной пищи, которую пронесли мимо его губ, но в рот попал договор с Грецией Венизелоса и ценный для Турции, но не имеющий большой ценности для Италии при данных изменившихся условиях договор с Турцией.

Англо-французский компромисс ограничивает также свободу маневрирования для германской дипломатии, поскольку она со времени неудачи Пуанкаре в Руре очень часто с успехом использывала противоречия между Англией и Францией.

Истекший год внес ясность также и в другой важный вопрос современности. Мы имеем в виду проблему разоружения.

В марте подготовительная комиссия к конференции по разоружению отвергла советский проект всеобщего и немедленного разоружения, а внесенный тогда же советской делегацией проект частичного разоружения до сих пор не рассмотрен, так как подготовительная комиссия с марта месяца не собиралась. На запрос тов. Литвинова, обращенный в августе к председателю комиссии г-ну Лоудону, почему комиссия вопреки принятому решению не созвала до 9-й сессии пленума Лиги наций, последовал уклончивый ответ. Речи же Бриана, лорда Кешендена в сентябре в Женеве и выступления салонного «социалиста» Поля Бонкура рассеяли последние пацифистские иллюзии. Вместо разоружения даже в границах, допустимых статьей 8 Лиги наций, — англо-французский компромисс, позволяющий строить Англии в неограниченном количестве категории тех судов, которые она считает нужными для сохранения гегемонии на море, а Франции сохранить в неприкосновенности такую сухопутную армию, которая позволяет ей быть полным хозяином на континенте Европы. Что болтовне о пацифистских намерениях Лиги наций и руководящих буржуазных государств пришел конец — это даже признали ко всему привыкшие германские «броненосные» социал-демократы. Теперь и они должны признать, что вопрос о разоружении снят окончательно с очереди дня, хотя болтать об этом еще будут не один раз. Так, например, центральный орган германской социал-демократической партии дает такую характеристику происходившим в сентябре в Женеве дебатам по разоружению: «Ни один партийный руководитель и ни одна партия, которые хотят вести практическую

политику, не могут не обратить внимание на отрицательный ответ; которы был дан в последние недели на вопрос: можно ли думать о немедленно международном разоружении. Второе наступление Германии в Же неве за немедленное разоружение, поддержанное международным социа лизмом и пацифизмом, к которому вряд ли по тем же мотивам присоеди нились в марте Россия (язык-то!) и в сентябре Венгрия, было также похо ронено речами Бриана, Бонкура и Кешендена в сентябре 1928 г., как в ма 1919 г. первое наступление за разоружение» [1]).

И только вторичное письмо т. Литвинова председателю подгото вительной комиссии и требование германского министра иностранны дел Штреземана заставили Францию и Англию «согласиться» на созы VI сессии подготовительной комиссии к конференции по разоружени в марте текущего года. Верить в выполнение этого обещания не возбра няется, но скептики вполне основательно указывают на то, что в март прошлого года было также решено созвать VI сессию подготовительно комиссии не позже ближайшего пленума Лиги наций (сентябрь 1927 г.) но вместо этого Франция и Англия сговорились насчет того, как бы разо ружить своих противников, а самим остаться вооруженными до зубов

Отмеченные выше события представляют собой не что иное, как по литическое выражение происшедших в последние годы экономических и социальных сдвигов в руководящих капиталистических странах Европы. Экономическая и финансовая стабилизация Германии, Франции, Бельгии и Италии на основе восстановленной и расширенной довоенной промышленности, разгром рабочего движения в Англии, разгром и физическое уничтожение коммунистической партии в Италии и бешеное наступление предпринимателей на рабочий класс в Германии, Польше, Франции, Чехо-Словакии и других странах, которое приняло в прошлом году невиданные еще формы, — вот чему дал вполне реальное и конкретное выражение в международной политике 1928 год.

Но вместе с тем в истекшем году не нашел окончательного разрешения ни один из важных вопросов, волновавших в течение нескольких лет общественное мнение. Три раза обсуждала Лига наций виленский вопрос, способный в любой момент вызвать вооруженное столкновение на нашей границе, столкновение, чреватое тяжелыми последствиями для всей Европы, два раза она же обсуждала венгерско-румынский конфликт о так называемых «оптантах» и инцидент о незаконном провозе из Италии в Венгрию оружия. Были попытки рассмотрения пограничных столкновений на Балканах. Но ни одного из этих вопросов Лига наций разрешить не сумела вследствие тех противоречивых интересов, которые сталкиваются каждый раз, когда «миротворцы» в Женеве приступают к разрешению жгучих вопросов. И по усвоенной в Женеве тактике отложили разрешение этих вопросов до более удобного случая.

В истекшем году Лига наций как никогда показала полное свое ничтожество и беспомощность в вопросах большой политической важности. Она не сумела внести мир и согласие там, где он был нарушен на второй день после окончания войны. Зияющие раны в послеверсальской Европе сочатся, температура больной капиталистической Европы в этом году поднялась еще выше.

Довоенная политика равновесия государственных группировок и союзов вновь возрождена в полной мере. И Лига наций с очевидностью для всех становится не только инструментом вредным, как коммунисты всегда утверждали, но и бесполезным с точки зрения буржуазных паци-

[1]) «Die Gesellschaft», November 1927, S. 400.

фистов. Назначение Лиги наций, по мнению этих последних, состоит в том, чтобы помешать созданию союзов наподобие довоенных, чтобы малым государствам предоставить полное равенство с великими державами по вопросам международной важности. Однако через 10 лет после окончания войны союзы вновь возродились, все важнейшие вопросы решаются хотя и в Женеве, но не Лигой наций, а министрами пяти великих держав — Великобритании, Франции, Италии, Германии и Японии. И даже г-ну Залесскому, министру иностранных дел «почти великой» Польши, приходится развлекаться на стороне (чтобы не стоять в передней) пока великие мира сего обсуждают между собой тот или иной вопрос. После таких душеспасительных бесед всей мелкой сошке остается только с невозмутимым спокойствием поднимать руки, что она и делает аккуратно четыре раза в году, во время каждой сессии Совета Лиги наций. И поэтому вполне понятно, что даже бывший французский представитель в Лиге наций Анри де-Жувенель не выдержал запаха Женевы и ушел оттуда.

Пакт Келлога, англо-французский компромисс заключены без ведома и вопреки Лиге наций, даже репарационный вопрос обсуждается без ее участия.

Беспрерывные вооружения, сухопутные, морские и воздушные маневры на угрожаемых и неумиротворенных участках Европы, угнетение нацменьшинств поддерживают и усиливают тревогу за завтрашний день.

Саботаж разоружения, обострившиеся противоречия между Англией и Америкой, обострившиеся противоречия между империалистической Англией и СССР, с одной стороны, и между СССР и остальными капиталистическими странами, с другой стороны, выражением чего была попытка захвата Банк де Франс советского золота, попытки изгнания нашей нефти из иностранных рынков, попытка франко-германского сговора на предмет совместного использования русского рынка, присоединение германских держателей царских займов к международной организации держателей царских займов, руководимой из Лондона, покушение на нашего торгпреда в Варшаве, украинская ирредента, питаемая из Варшавы, Парижа и Лондона, поездки французских генералов в Польшу и Румынию, глухое недовольство в лагере побежденных и такое же недовольство многомиллионных угнетенных нацменьшинств в новых образовавшихся государствах, вспыхивающие ярким пламенем восстания в колониях, — все эти явления, нашедшие свое выражение в 1928 году, говорят нам вполне определенно, что мир в величайшей опасности, что война не подкрадывается, а приближается размеренным шагом.

Англо-французский компромисс и возрождение старого англо-французского союза 1904 г., приведшего через 10 лет к мировой бойне, должны показать и тем, кто ходит с повязкой на глазах, что новый год принимает от старого очень тяжелое наследство.

Изменения, произошедшие в международной жизни в последние годы и нашедшие свое законченное выражение в международных актах прошедшего года, освещению которых мы посвятим последующие страницы, рассеяли еще одну легенду, усердно распространявшуюся международной социал-демократией.

Социал-предатели всех мастей упорно твердили на всех перекрестках, что стабилизация капитализма несет с собой умиротворение и устойчивость во внутренних и международных делах. Жизнь же учит другому. Пакт Келлога, англо-французский компромисс, усилившаяся активность Германии в 1928 г. с целью обретения внешне-политической независимости и назначение комиссии экспертов для окончательного урегулирования репа-

рационного вопроса, все эти акты и события несомненно детища политической и экономической стабилизации капитализма. Но остается политическим фактом первостепенной важности и то, что ни один важный вопрос не разрешен окончательно и в истинно мирном и доброжелательном духе. Проблема рынков и сырья, проблема избытка населения, репарационный узел, упирающийся в задолженность Европы Америке, морское и финансовое соперничество Англии и Америки и обнаружившееся с прошлого года финансовое соперничество Франции, Англии и Америки между собой— все эти вопросы приобрели сейчас гораздо большую остроту, чем несколько лет тому назад, когда стабилизация была только предметом горячего желания.

Наличие перечисленных нами основных противоречий, раздирающих капиталистический мир, с одной стороны, и противоречий между СССР и капиталистическими странами, с другой стороны, деятельная подготовка империалистической Англии к войне и не менее активная подготовка к войне Франции и ее союзников делают войну не академической темой, а вполне реальной и ощутимой опасностью. Вопреки социал-демократической «теории», согласно которой стабилизация капитализма несет с собой блаженство мира, эта же самая стабилизация заострила в еще большей степени, чем до сих пор, вопрос о войне и поставила войну в порядок дня, как очередной вопрос современности.

* * *

Разоружение, пакт Келлога, англо-французский военно-морской компромисс, репарационная проблема — вот центральные узловые вопросы, в которых, как в фокусе, отражены все противоречивые интересы борющихся за гегемонию империалистических мировых держав. Поэтому мы и намерены в дальнейшем проследить на этих вопросах всю международную политику прошлого года.

Проблема разоружения и противоречия империалистов.

Целый ряд причин, которые мы не можем здесь разбирать, заставляли руководителей империалистических государств в течение целых годов говорить пацифистские речи и проявлять всяческое «благоволение» к вопросам разоружения. На более реальную почву вопрос стал тогда, когда Германия вошла в Лигу наций и своим добровольным отказом от идеи реванша в Локарно выбила из рук Франции ее главный козырь, состоявший из триединой формулы: гарантия безопасности — обязательный арбитраж — разоружение. Локарнский договор давал Франции и то и другое, поэтому германское правительство рассуждало вполне логически, что наступило время для воплощения в жизнь и третьего члена формулы — разоружение. Германия при этом также руководилась вполне определенным эгоистическим, но отнюдь не пацифистским принципом. Поскольку вводная глава к V отделу Версальского договора определяет разоружение Германии, как «подготовку к общему ограничению вооружений всех наций», — она вполне естественно стала добиваться разоружения и своих бывших врагов. Еще на первых трех сессиях подготовительной комиссии к конференции по разоружению, происходивших в 1926 и 1927 гг. без участия СССР, обнаружилось, что многолетние разговоры о разоружении—пустой звук, что за 7 лет абсолютно ничего не сделано для практического разрешения вопроса и что надо начинать с самого начала, т. е. с того самого места, на котором вопрос о разоружении остался на мирной конференции.

Далее обнаружились коренные противоречия между Францией и Англией по сухопутному, морскому и воздушному разоружению, которые и явились главной причиной неудачи всех конференций по разоружению, не говоря уже о том, что желания разоружиться у империалистических государств никогда не было.

Разногласия Франции и Англии сводились к следующему: Франция требовала, чтобы ограничения касались только кадровой армии, а Англия добивалась распространения ограничения и на обученные резервы. Англия далее требовала сокращения флота по категориям судов, Франция же, наоборот, требовала назначения общего тоннажа, в пределах которого каждое государство вольно распоряжаться по-своему.

Оба требования стремятся закрепить собственную национальную систему вооружения на достигнутом уровне и в максимальной степени разоружить противника.

Выставляя требование точно закрепить количество тоннажа за отдельными категориями судов, английское правительство этим добивалось того, чтобы Франция не могла строить большого количества опасных для Англии подводных лодок и истребителей. Англии важно закрепить за Францией большое количество крейсеров, так как в области крейсеростроения она далеко превосходит Францию. Другое дело истребители, которых, принимая во внимание необходимость защиты длинных морских путей — в военное время, может оказаться и недостаточно для эффективной защиты морского транспорта и подступов к Англии.

Франция в этом году приступила к реорганизации ее обороны. Согласно нового закона вся тяжесть защиты страны падает не на малочисленный кадровый состав армии, а на вооруженный народ. Армия же мирного времени должна быть тем кадром, который организует миллионные резервы. И английский проект как раз и распространяет ограничение на резервы.

Сама же Англия имеет наемную армию и не располагает обученными резервами. Ее армия и флот в мирное время достигают состава военного времени, и ограничение резервов ей не наносит ущерба.

Однако франко-английскими разногласиями и разногласиями между бывшими союзниками и Германией не исчерпывались все разногласия империалистических колоссов по вопросам разоружения.

Конференция трех морских держав (Англия, Япония и Сев.-ам. соед. штаты — июнь-август 1927 г.) со своей стороны открыла перед всем миром всю глубину противоречий и непримиримость интересов Англии и Америки. Она показала, что со времени Вашингтонского соглашения 1921 г. (признание за Америкой права иметь равный по силе Англии военный флот) и финансового соглашения Болдуина 1923 г. (урегулирование английского долга Америке) накопилось столько жгучего материала, а стремления к мировой гегемонии дряхлеющего империализма Великобритании и задорного, молодого и пышущего здоровьем империализма Америки настолько велики и неудержимы, что всякие попытки примирить непримиримое были обречены на неудачу.

Так как Вашингтонское соглашение уже разрешило вопрос об ограничении линейных судов (дредноутов) и авиаматок для Великобритании, Сев. Америки, Японии, Франции и Италии, предоставив каждой стране право иметь суда этих категорий по ключу: 5 : 5 : 3 : 1,75: 1,75 и ограничив мощность орудий на крейсерах 8 дюймами, то конференция трех занялась исключительно вопросом ограничения других категорий военных судов, которых названное соглашение не коснулось.

Хотя Вашингтонская конференция и установила равенств Англией и Америкой, тем не менее к моменту конференции трех обладала далеко превосходящим Америку военным флотом. Есл взять один тоннаж главных боевых единиц того и другого флота, значение флота не определяется одним тоннажем, то их соотноше жется таковым:

Готовые и находящиеся в постройке суда н 1 января 1928 г.

	Англия	Соед. штаты
Линейных судов	20 с тоннажем в 690 000	88 с тоннажем 554 0
Брониров. крейсеров	62 » » » 404 000	18 » » 165 0

Таким образом несоответствие крейсерского состава Америк же классу судов Англии колоссально. Сила вооружения, обору наиновейшими техническими усовершенствованиями, дальноб орудий и пробивная способность снарядов, как и быстрота движени находятся также на стороне Англии.

Все три делегации представили свои планы ограничения м вооружений на открывшейся 20 июня 1927 г. морской конфере Женеве.

Длительные дебаты обеих делегаций показали, что главные р дения между Америкой и Англией касались крупных крейсеров и жения мелких крейсеров, что же касается тоннажа, то по этому в можно было достигнуть соглашения. Америка предлагала огра общий тоннаж для всех крейсеров от 3 000 до 10 000 тонн водоизме Вооружены крейсера должны быть 8-дюймовыми пушками. Анг предлагала разделить крейсера на две категории. Крейсера в тонн подлежат ограничению, крейсера же в 7 500 тонн огра не подлежат. Вторая категория крейсеров вооружается 6-дюйм пушками.

Из сопоставления обоих предложений видно, что Америка вается сокращения и ограничения как раз крейсерского состава который у нее отстает от английского. Англия же разделением кре на два класса, один из которых не подлежит ограничению, доби закрепления еще большего превосходства своих крейсерских си Америкой, так как она предлагала одновременно уменьшить коли крупных крейсеров, из которых, главным образом, и состоит крейсе флот Америки.

Англия же именно богата крейсерами типа менее 10 000 тонн

Япония предлагала закрепить за каждой из трех стран нал и строящийся тоннаж в конвенционном порядке, отказываясь от да шего его увеличения.

Расхождение всех трех морских держав диктовалось их полож на море. Великобритания обладает первоклассными и многочисле морскими базами во всех морях и океанах, и ей не нужны крупные с дальними радиусами действия. Таково же положение и Японии н можном театре действий в Тихом океане. Америка же, наоборот, не сколько-нибудь существенных морских баз вне ее собственных бе Для нее существенно важно удержать как можно больше крупных серов с дальним радиусом действия.

При принятии же предложения Англии преимущество после кроме того, состояло бы еще в том, что она, в случае надобности, бы превратить не меньше 50 торговых судов в вспомогательные

сера, вооружив их 6-дюймовыми пушками. Американские же торговые суда для этого не годны.

Провал морской конференции трех держав имел очень важные последствия для разоружения вообще и для ухудшения англо-американских отношений в частности. Англо-французские разногласия о резервах и распределении тоннажа по категориям судов, англо-американские разногласия по вопросу об ограничении крейсеров и их вооружения были ничем иным, как выражением целого ряда важных политических, экономических и финансовых противоречий. Впервые было произнесено слово «война», а Америка на провал конференции ответила выработкой грандиозной программы морского судостроения. В мае прошлого года американская палата представителей (депутатов) утвердила новую судостроительную программу, состоящую из 15 крейсеров по 10 000 тонн и 1 авиаматки в 13 800 тонн общей стоимостью в 274 миллиона долларов. Правда, сенат задержал ассигновку денег на судостроительную программу из побуждений внутренней политики. Предвыборные интересы республиканской партии этого требовали. Нет никакого сомнения, что теперь, после одержанной ею блестящей победы на президентских выборах и на частичных выборах в конгресс и сенат, последний утвердит майский вотум конгресса. Гувер еще на предвыборном собрании 11 августа прошлого года не оставлял никакого сомнения в том, какова будет политика его президентства по вопросам разоружения. Говоря о взаимоотношениях Америки к европейским делам и Лиге наций, Гувер, между прочим, сказал: «Однако лучшая гарантия мира состоит пока в соответствующем приготовлении к оборонительной войне, поэтому военный и торговый флот Америки должны находиться на такой степени могущества и безопасности, чтобы во всякое время можно было поручиться за национальную безопасность». Советская делегация в декабре 1927 г. и в марте 1928 г. перед всем миром разоблачила лицемерие и фальшь империалистических «миротворцев» и их прислужников социал-предателей из II Интернационала. То громадное сочувствие, которым были встречены советские предложения в Женеве не только рабочими и всеми трудящимися, но и значительной частью мелкой буржуазии и интеллигенции, та широкая кампания за границей в пользу советских предложений заставили женевских радетелей о мире оборвать дискуссию. Мы уже в начале статьи указывали на то фиаско, которое потерпели попытки германского рейхсканцлера Мюллера вновь поставить в порядок дня вопросы разоружения.

Отказываясь решительно от какого бы то ни было, хотя бы частичного, хотя бы минимального, ограничения своих вооружений, империалисты прекрасно понимали, что их действия находятся в непримиримом и кричащем противоречии с желаниями и интересами трудящихся управляемых ими стран.

Так как в 1928 г. пацифистский обман капиталистических правительств был окончательно разоблачен, — и в этом главная заслуга советской делегации в Женеве и положительный факт международной политики обозреваемого года, — а подготовку к войне, приближение которой никто уже ныне не отрицает, удобнее всего организовать под прикрытием пацифистских фраз, то нет ничего удивительного в том, что подписание 27 августа пакта Келлога было провозглашено величайшим достижением на пути к примирению народов и исключению войны из обихода междугосударственных отношений.

Следует отметить, что главные участники нового пацифистского обмана еще до подписания пакта Келлога сами признали, что он является для них ничем иным, как дымовой завесой для прикрытия подготовки

к войне. Еще 30 июля стало известно о заключении франко-ан морского и сухопутного компромисса, которое по утверждени ского правительства было продиктовано исключительно горя нием «притти с Францией и другими державами к такому со которое приведет к счастливому заключению работ подгото комиссии» [1]).

Таким образом, еще за месяц до подписания договора щении войны» Франция и Англия заключили соглашение, вос старую Антанту. Призрак войны приобрел вполне реальные о

История переговоров по заключению Парижского договора подтверждает это.

Пакт Келлога, английские, французские советские оговорки к нему.

Опуская довольно длинную и не менее затруднительную переговоров, предшествовавших подписанию пакта Келлога, м вимся только на ее главных этапах, которые имеют крупное пол значение и которые нам помогут уяснить цели, преследовавши ными империалистическими странами, и то содержание, кот вкладывают в договор, объявляющий войну войне.

В день 10-й годовщины вступления Сев. соед. штатов Амери риалистическую войну, 6 апреля 1927 г., Бриан, французский иностранных дел, обратился с посланием к американскому нар тором он предложил заключить договор о вечной дружбе. За последовало 10 июня и формальное предложение. Только 27 де следовал ответ американского статс-секретаря по иностранн на предложение Бриана. Но вместо двустороннего договора Кел лагал распространить договор об отказе от войны как средст нальной обороны на все великие державы. И только тогда, п американского правительства, этот договор будет иметь полож ценность для дела упрочения мира. Французскому правительст нужно было, для него имел особую ценность договор двух с ний, а не многосторонний. Такой договор с могущественной Америкой мог бы быть легко Францией использован в качеств ческого давления на Англию, отношения с Америкой которой бес ухудшаются. Сев.-ам. соед штаты не учли значение предложени для будущего, и поэтому они признали, что договор с одной Фра имел ровно никакой ценности. Правящей же республиканско нужны были блестящие эффекты, которые выставили бы амер правительство внутри страны и за границей чемпионом мира. П плодных переговоров с Брианом в течение 3½ месяцев Келлог о 13 апреля 1928 г. непосредственно к правительствам Англии, Ита мании и Японии, пригласив их подписать предложенный им текст

Через неделю, 21 апреля, Бриан обратился к тем же пяти ствам с нотой, при которой был приложен французский проект В отличие от своего собственного проекта от 10 июня 1927 г., кот в основном воспроизведен в приложении к ноте Келлога от 13 а новом проекте Бриана уже не говорится об «отказе от войны, как национальной политики», а только об отказе от «агресс войны». Но самое замечательное заключалось не в проекте а во французских оговорках, содержавшихся в ноте Бриана. этим оговоркам разрешается участникам договора, «запрещающег

[1]) См. переписку, опубликованную по этому вопросу в английской Бе и французской Синей книге.

вести войны для самозащиты, во исполнение обязательств по отношению к Лиге наций и для защиты Локарнских договоров. Специальная статья (4) во французском проекте оговаривала право Франции вести войны во исполнение союзных договоров с Польшей, Чехо-Словакией, Румынией и Юго-Славией. Эта статья, характерная для «пацифизма» Бриана—Пуанкаре, гласила следующее: «Постановления этого договора не суживают ни в какой степени прав и обязанностей, которые вытекают для подписавших договор государств из прежних международных договоров, участниками которых они являются».

19 мая английское правительство дало согласие на подписание пакта Келлога, но... если будут уважены и его оговорки. А оговорки эти сводились вот к чему. «Известные области на земле» представляют жизненный интерес для правительства Великобритании, а посему, говорится в английской ноте, «вмешательство в отношении этих областей им терпимо быть не может. Защита этих областей против нападения представляет для Британской империи акт самозащиты».

«Известные области на земле» — это Египет, Суэцкий канал, Персия, Афганистан и многие другие страны. Кроме того английское правительство высказалось за включение в договор 4-й статьи французского проекта. Солидарность с Францией в вопросе, касающемся права вести войны в защиту ее союзников, выраженная английским правительством, заслуживает особого внимания. Ведь известно, что одна из основ послевоенной политики Англии состояла в отказе от защиты границ союзников Франции. В Локарно Англия отказалась гарантировать границы Польши и Чехо-Словакии; известно также, что не без молчаливого попустительства Англии Муссолини поддерживает требование Венгрии на пересмотр ее границ за счет союзников Франции.

Таким образом еще раньше, чем империалисты согласились подписать пакт Келлога, они его до того окарнали своими оговорками, до того исказили его первоначальный смысл, что один американский журналист принужден был резюмировать значение «договора, запрещающего войну», следующим образом: нет такой войны, которой нельзя было бы оправдать на основе пакта Келлога и оговорок к нему.

Таково действительное содержание и значение пакта Келлога в толковании Англии и Франции, после того как они его снабдили своими оговорками.

Из орудия мира, каким его считают социал-демократические простачки, он в руках империалистов будет орудием войны.

Каково же отношение к пакту Келлога самой Америки? 28 апреля Келлог заявил на собрании Американского общества международного права, что оговорки Бриана не противоречат его договору об «отказе от войны».

В совершенном противоречии с этим заявлением находится другое заявление Келлога, дающее толкование своему детищу. Согласно последнему заявлению, ограничительное толкование договора, содержащееся во французских и английских оговорках, обязательно только для их авторов, но не для всех участников пакта. Ограничивающие договор постановления, содержащиеся во вводной его части, не имеют большой силы, так как они не находятся в его основных статьях, а только во введении. Если Келлог так толкует ограничивающие договор оговорки, содержащиеся в тексте договора, то само собой понятно, что не имеют никакого значения и те оговорки, которые в текст не попали. Ни французские, ни английские оговорки в текст включены не были и к договору не приложены. Одним словом, нет обязательного толкования

договора, а есть разные толкования; эти мым его значение совершенно обесценива Противоречия между двумя толкованиями американского госуда ного секретаря, данные им его же собственному творению, не долж кого смущать. Когда он заявлял, что французские оговорки не п речат его договору, то это его заявление было предназначено для ции и Англии. Откажись Америка признать французские и англ оговорки, французское и английское правительства никогда бы писали договора. Америке же важно было этот договор подвести под по двум причинам. Давая свое имя международному акту, несущем кое название «договор об отказе от войны»,— американский п сильно возрастал за границей и внутри страны. Будучи инициат оберегателем пакта Келлога, Америка невольно становится как бы ром, стоящим над другими государствами. Эту благоприятную п она с большой для себя выгодой сумеет использовать при первом государственном конфликте, будь то в Южной и Центральной А или Европе.

Американские капиталисты, крупные капиталы которых инв ваны в Европе и других частях света, заинтересованы в получении лей и в бесперебойной уплате процентов по долгам, — это диктуе рике потребность в мире. Имея в руках пакт Келлога, она сумеет ствовать в этом направлении на Европу.

Расширительное толкование договора Келлогом было в потребностями внутренней политики. Но это вместе с тем пока что американское правительство довольно беззаботно относится к Келлога и смотрит на него, как на инструмент, который можно и д использовать в зависимости от очередной потребности.

Итак, Англия и Франция своими оговор лишили всякого значения пакт Келлога. стаивая на них, они добивались того, чтоб этого договора сделать инструмент импери стической политики. Отношение Америки к пакту мы что охарактеризовали.

Кроме социал-демократической печати и правительственны тилий, пакт Келлога был по справедливости встречен всей прессой тически и с недоверием. Он, кроме II Интернационала, никого не уд ворил. Фашистская печать Италии его встретила в штыки. «Л д'Италиа» в день подписания договора нашла единственное уте в том, «что этот лицемерный праздник мира окутан черными ту Даже польская печать и польский министр иностранных дел ос недовольны договором, несмотря на французские оговорки. И н основания. Польские империалисты без недели прекрасно чуют, что под крылышком оговорок им чем дальше, тем труднее и труднее будет живать «крессы», а их аппетиты не уступают аппетитам покрови В заключение приведем характеристику пакта Келлога, принадлеж перу нейтрального человека, известного швейцарского проф Раппард:

«Этот проект (договора), когда подвергают его текст юридиче анализу, с учетом всех оговорок и интерпретаций, которым он дал сам по себе почти совершенно ничего не означает. Он оставляет без к либо санкции нарушения запрета, которое он предписывает, и запр только военные операции, агрессивный и национальный характер рых был бы признан теми самыми, которые их начнут. Таким образ не запрещает никакой будущей войны, как он и не смог бы запрет

мировую войну, все участники которой утверждали касательно себя, что ее природа и происхождение строго оборонительны».

Французский публицист, граф де-Омерсон, анализируя Парижский договор, пришел к заключению, что он даже не представляет конструкции, а только атмосферу.

Какого свойства эта «атмосфера», видно из того, что она благоприятствует появлению на свет и взращиванию таких истинно «пацифистских» плодов, каким является англо-французский военно-морской компромисс.

Пакт Келлога для империалистов — прикрытие, под покровом которого они подготовляют новую бойню.

Только одно советское правительство совершенно иначе отнеслось к пакту Келлога. Не обманываясь насчет тех «благодеяний», которые договор «о запрещении войны» несет с собой трудящимся массам, советское правительство, тем не менее, присоединилось к пакту Келлога. Советское правительство прекрасно знает цену всяким декларациям капиталистических миротворцев. Единственное средство против войны — это разоружение. Советское правительство защищает этот тезис с первого дня своего существования. Советская делегация с твердой последовательностью его защищала в Женеве. В пакте же Келлога нет даже упоминания о разоружении. Вина в этом не падает на советское правительство, так как оно не было приглашено к выработке текста договора и, следовательно, не могло настоять на внесении в него обязательств по разоружению. Первоначально даже не имелось в виду его пригласить впоследствии присоединиться к договору. Народный комиссар по иностранным делам тов. Чичерин разоблачил истинную причину обхода советского правительства. «Устранение советского правительства из числа участников этих переговоров, — заявил он в интервью 5 августа, — наводит нас прежде всего на мысль, что в действительные цели инициаторов этого пакта, очевидно, входило и входит стремление сделать из него орудие изоляции и борьбы против СССР».

Мощное движение рабочего класса во всем мире за приглашение СССР присоединиться к пакту Келлога возымело свое действие, вопреки Англии и Польше, которые оказывали сопротивление.

Наше правительство считает этот договор совершенно неудовлетворительным, неспособным устранить опасности войны. Критикуя недостатки пакта Келлога, нота тов. Литвинова от 31 августа, переданная вместе с актом о присоединении советского правительства к договору французскому послу в Москве г-ну Эрбетту для передачи американскому министерству иностранных дел, заявляет, что, благодаря обильным оговоркам, «едва ли останется на земле такое место, где бы договор нашел применение». Советское правительство присоединилось к договору, не желая пропустить малейшую возможность, которую можно было бы использовать для укрепления мира. Советское правительство также сделало и свои оговорки. Оно заявило, что мир может быть обеспечен, когда будут устранены такие действия, которые ведут к нарушению мира. Среди действий этих нота перечисляет, между прочим, подавление освободительных движений, оккупацию чужих территорий, интервенцию, блокаду, разрыв дипломатических отношений и т. п. Все эти действия ведут к войне, и, следовательно, нарушителем мира будет тот, кто виновен в подобных действиях.

Борясь за мир, советское правительство своими оговорками расширило до бесконечности категорию войн, которые должны быть запрещены. Само собой понятно, что империалисты не будут считаться с советскими оговорками, как и мы не намерены считаться с оговорками Франции и Англии.

Характерно в этом отношении следующее. Департамент ин(ных дел (министерство) в Вашингтоне опубликовал в свое время акт о присоединении советского правительства к пакту Келлс сопроводительной ноты т. Литвинова, в которой содержатся сов расширительные оговорки. Этим хотели лишить советские огово] официального характера.

Если империалисты выхолостили все содержание пакта Кел используют его для маскировки их приготовлений к войне, то одно советское правительство показало истинное и искреннее ж сделать из него инструмент подлинного мира.

Англо-французский компромисс и отр ние его на европейской политике.

Основные положения англо-французского компромисса соде] в ноте английского посольства в Париже, посланной французско нистерству иностранных дел 28 июля. В этом документе они форм ваны следующим образом:

«Ограничения, которые должна будет определить конферен разоружению, коснутся четырех классов военных судов:

1) Линейные суда или суда больше 10 000 тонн водоизме или вооруженные орудиями калибра более 8 дюймов.

2) Авиаматки более 10 000 тонн.

3) Надводные суда более 10 000 тонн или менее, но вооруж орудиями калибра от 6 дюймов до 8 дюймов.

4) Подводные лодки большого радиуса действия или б 600 тонн.

Вашингтонский договор урегулировал ограничения по к 1 и 2, таким образом конференции по разоружению остается рассм нормы распространения этих ограничений на державы, не подпис этого договора».

Значит, будущая конференция должна заняться только ограни судов упомянутых в 3 и 4 классах.

Итак, на крейсера меньше 10 000 тонн и вооруженные 6-дюйм пушками совсем не распространяются нормы разоружения. Ос также не затронутым право строить безграничное число миноносц деров и контрминоносцев, подводные лодки не выше 600 тонн и мелкие суда.

Англия добилась от Франции того, чего она не могла доби течение многих лет борьбы в подготовительной комиссии к конфе] по разоружению и чего она также не смогла добиться от Америки на ренции трех морских держав. Само собой понятно, что такие усту делаются даром. Еще во время беседы Чемберлена с Брианом в Ж 9 марта первый заявил последнему, что за уступки в вопросе о кла кации категорий судов английское правительство согласилось бы с уступку Франции по вопросу об обученных резервах. Лорд Кен в телеграмме английскому поверенному в делах в Америке, содер которой предназначалось для правительства Америки, следующ разом объясняет причины, побудившие консервативное правите сделать эту важную уступку Франции: «Правительство его вели не без колебания пришло к заключению, что невозможно будет п бать точку зрения Франции и большинства других держав, котору постоянно поддерживали в этом вопросе, и что в настоящих услови какой прогресс невозможен в вопросах сухопутного разоружения пор, пока на пути его будет находиться этот камень преткновени

этому оно не предполагает в дальнейшем сопротивляться французским претензиям» [1]).

И на этом сделка состоялась.

Даже беглое знакомство с взаимными уступками, содержащимися в этих двух документах, ясно показывает, против кого компромисс направлен. И не удивительно, что Америка истолковала англо-французское военно-морское соглашение, как брошенный ей вызов. Из рассмотрения категорий судов, на которые соглашение распространяется, видно, что ограничиваются как раз те суда, которые нужны Америке, и остаются вне пределов соглашения категории судов, нужные Англии, т. е. достигнуто соглашение по вопросу о тех судах, из-за которых потерпела фиаско морская конференция трех.

Печать всех стран и все вдумчивые политики расценивают франко-английское соглашение как восстановление старой Антанты. Мы не будем останавливаться на оценках печати, правильно трактующих вопрос, так как политические события истекшего года, особенно последних его месяцев, подтвердили этот факт. Важно только установить, против кого восстанавливается Антанта.

Если сердечное соглашение (entente cordiale) 1904 г. было направлено против Германии, то и восстановление Антанты в 1928 году несомненно против кого-то направлено. Оставляя пока этот вопрос открытым, мы дадим место истолкованию англо-французского компромисса официозу французского министерства иностранных дел. В официозной редакционной статье от 26 октября «Тан» дает исчерпывающее истолкование восстановленной англо-французской дружбе: «Когда думают о длинном пути, пройденном со времени Вашингтонской конференции, когда представители английского адмиралтейства были в первом ряду хулителей французской морской политики, то надо с глубоким удовлетворением констатировать то доверие, при помощи которого моряки обеих стран сговорились и сделали все уступки, совместимые с безопасностью их стран.

В Вашингтоне две наиболее могущественные морские державы сговорились за счет Франции. Несмотря на свое морское прошлое, несмотря на ее положение второй мировой колониальной державы, ей навязали пропорцию линейных судов, которая соответствует державе второго ранга. Опасность этой произвольной классификации находилась не столько в невозможности для французского морского ведомства строить столько дредноутов, сколько строили его соперники, — Франция на следующий день после победы, почти разоренная, была принуждена сама восстанавливать свои разоренные провинции — сколько в искушении, которому могут поддаться ее партнеры, чтобы навязать ей эту пропорцию: 5 : 5 : 3 : 1,75 для всех классов судов, а именно для мелких надводных судов и подводных лодок, столь важных для защиты ее берегов и ее колоний». Указав на то, что на Вашингтонской конференции представители английского адмиралтейства были в рядах первых хулителей французской морской политики, статья продолжает:

«Достаточно бросить беглый взгляд на настоящий англо-французский компромисс, чтобы видеть полную перемену, которая совершилась в английском морском ведомстве в нашу пользу в вопросе всех судов, исключая линейные суда, а также крейсеров, вооруженных орудиями от 6 до 8 дюймов.

---

[1]) Белая книга, документ № 4.

В этом пункте английское адмиралтейство признает абсо.
равенство за французским флотом».

Напомнив далее нелюбовь английского адмиралтейства к п
ным лодкам, официоз пишет: «Но тем не менее это с его
роны доказательство трогательного дов
к французскому морскому ведомству, кот
располагает в настоящее время солидным
водным флотом, чтобы признать за ним п
строить столько больших подводных су
сколько и оно, и оставить ему полнейший
стор в постройке стольких малых единиц, ск
ко оно сочтет нужным для защиты свои-х б
гов. Чтобы это сделать, надо быть убежден
что, впрочем, соответствует реальности, –
мины наших истребителей и наши подвод
лодки никогда не будут обращены против
танского флага» [1]).

Эти откровенные признания заслуживают особого внимания
того чтобы английское адмиралтейство отказалось от той б
которую оно всегда питало к французскому подводному флоту, д
было произойти нечто большее, чем военно-морской компромис
по себе. Чтобы проделать такую глубокую эволюцию, чтобы пе
из первых рядов «хулителей французской морской политики» к «трог
ному доверию к французскому морскому ведомству», должно что-т
читься такое, что компенсировало бы вчерашних хулителей в п
мере за усвоение ими трогательного доверия. Наступившая так б
уверенность, что французские моряки никогда не выпустят ни
мины против английского флага, могла быть только куплена всес
лющим политическим соглашением. Англо-французский
промисс есть следствие политического сгов
техническое урегулирование военно-морс
вопросов, посредством которого должно
держиваться соглашение политическое. Д
компромисс — результат возобновления англо-французского союза.

Разоблачения английской и американской печати и приз
Кешендена не оставляют никакого сомнения в том, что франко-ан
ская Антанта восстановлена в своем прежнем виде. Совершенно не
но, существует ли письменная договоренность, как в 1904 году,
же только договоренность устная. Остается неопровержимым фа
что, по меткому выражению Гендерсона, Франция отныне стано
английским солдатом, а Англия—французским матросом.

Совершенно бесполезно ломать себе голову также и над тем,
становлена или не восстановлена Антанта после того, как англи
правительство под давлением Америки и собственного обществе
мнения принуждено было формально аннулировать морское соглаш
Политические события показывают, что Антанта существует. А ее с
ствование особенно отразилось на взаимоотношениях между Анг
и Италией, Италией и Францией и в отношениях всех этих стр
Балканам.

После заключения Локарнского договора, который знамен
окончательный разрыв Антанты и поддержку Германии против Фра
с целью вовлечения первой в антисоветское русло английской полит

[1]) Разрядка моя. *Ф. Н.*

Англия теперь сделала поворотный шаг. Со времени Локарно начинается заметное сближение Англии с Италией. Свидания Чемберлена с Муссолини в Ливорно и Раппало, поездка Черчилля в Рим, все это были определенные вехи в новой ориентации английского правительства. У всех сложилось с того времени такое убеждение, — а факты на протяжении нескольких лет это убеждение подтвердили, — что Англия предоставила фашистской Италии свободу действий на Балканах и в восточной части Средиземного моря, т. е. как раз в самых уязвимых местах французского империализма. С того времени началась агрессивная политика Муссолини на Балканах и в Центральной Европе, которая ставила себе окончательной целью окружение Юго-Славии, вытеснение Франции из Балкан, усиление Венгрии в Центральной Европе и ослабление Малой Антанты посредством отрыва от нее Румынии и поддержки Венгрии и Болгарии. Попытки проникновения Италии в Турцию, Сирию, Абиссинию, Иемен, иногда и удачные, — все это не могло бы произойти без согласия Англии. Над осуществлением намеченного плана Муссолини работал упрямо и методически.

В начале сентября 1926 г. «неожиданно» для всех был свергнут греческий диктатор Пангалос, придерживавшийся югославской ориентации на Балканах и ориентировавшийся на Францию вообще. Новое греческое министерство Заимиса аннулирует греко-югославскую конвенцию, регулировавшую претензии Юго-Славии на портовую зону в Салониках и на железную дорогу Гевгели—Салоники. Постепенно греческое министерство попадает в полную зависимость от Рима. В ноябре 1926 г. Муссолини закрепил и юридически оформил посредством Тиранского договора господство Италии над Албанией. Еще через год Албания окончательно очутилась в руках Муссолини. В руках Италии находятся албанские финансы, армия, дорожное и портовое строительство, жандармерия и сам новоиспеченный король Ахмед Зогу. В начале 1927 г. Муссолини ратифицировал Парижский протокол, санкционирующий захват Бессарабии, а в мае он заключил договор о дружбе с Венгрией. Поддерживая Болгарию последовательно то против военной контрольной комиссии союзников, то против Юго-Славии, то умеряя в Лиге наций аппетиты Греции и Румынии по отношению к Болгарии, — Италия приобретает громадное влияние на правительство Ляпчева. Не довольствуясь подведением мины под Малую Антанту и, следовательно, под Францию, Муссолини постепенно начинает напирать и непосредственно на Францию. Итальянская печать предъявляет претензии на передачу Италии французского мандата на Сирию. Фашистские организации на Ближнем Востоке агитируют за передачу Италии покровительства над христианами, которое издавна находится в руках Франции. В 1926 г. Англия заключила договор с Италией по поводу раздела Абиссинии на сферы влияния. По этому договору Италия получала право на постройку железной дороги, соединяющей Абиссинию с итальянской колонией Эритреей. Эта дорога, если бы она была построена, сделала бы совершенно ненужной французскую железную дорогу, соединяющую Абиссинию с французским портом Джибути на Красном море. В ноябре того же года Италия заключила очень выгодный договор с правителем Иемена, который расположен против Абиссинии и французского Джибути. Одновременно Италия предъявила требование об исправлении границ Ливии за счет французского Туниса, а целый ряд претензий по вопросу о гражданстве итальянцев в Тунисе, Алжире и на юге Франции, требование пересмотра Танжерского статута, инциденты на почве предоставления Францией убежища жертвам фашистского террора — все это отравляло политическую атмосферу и делало взаимоотношения обеих стран невозможными. Причем Италия была сто-

роной нападающей и требующей, а Франция — обороняющейся. году Муссолини заключает договор о дружбе с Испанией, котор истолкован Францией, как враждебный шаг против нее. Если взгляд на географическую карту и присмотреться к государственны пировкам, то окажется, что все новые «дружественные» договоры заключены с враждебными Франции государствами, которые распо в уязвимых местах для Франции или Малой Антанты. Во всех эт ствиях Муссолини имел скрытую поддержку английского правите Но одновременно и Франция Англией не отталкивалась.

В начале прошлого года английские банки во время пере с югославским правительством о предоставлении ему займа в лионов фунтов стерлингов поставили условием эмиссии займа ратифи Неттунских конвенций. По этим конвенциям, заключенным еще в Италия и итальянские граждане получают важные экономичес годы в Далмации, Словении, Хорватии и во всем побережьи. Под нием общественного мнения этих провинций югославское правит отказывалось с 1925 г. их ратифицировать. Английские же банки зас его это сделать. Ратификация Неттунских конвенций привела даже ституционному и государственному кризису в Юго-Славии. Хор часть скупщины в виде протеста ушла из нее и больше не возвра туда. Другое условие — это контроль над израсходованием займа преследовалась цель не дать Юго-Славии строить стратегические против Италии.

Вся беспокойная и шумная политика Муссолини последних ле направлена против Франции. Притязание на Танжер в свою очеред держивалось Англией и при ее помощи притязания Италии были ча удовлетворены. В результате английской поддержки усилиями ф ской дипломатии к средине 1928 года были созданы основы для перегруппировки сил на Балканах, в Адриатическом и Эгейском

Видимая для всех поддержка Англией итальянской полити Балканах, которая выразилась в полном закабалении Албании и в Францией престижа на Балканах, убедила некоторые балканские тельства в том, что сильнее кошки на свете зверя нет, а этим является фашистская Италия. Среди этих правительств первое принадлежало бывшему греческому правительству Заимиса. Исх того убеждения, что Италия является важным политическим ром на Балканах и в восточной части Средиземного моря и что, того, Италия пользуется при проведении своих политических план ной поддержкой Англии, тогдашнее греческое правительство пос всю будущую политику Греции на полном подчинении Италии. П нам Муссолини Греция должна была через Албанию сделаться стом против Юго-Славии, а в союзе с Болгарией и посредством румынского договора замкнуть кольцо, окружающее ее со всех с Фиуме, Адриатическое море, Албания, Греция, Болгария, Румы Венгрия — вот круг, в котором должна была задохнуться Юго-С. Греко-итальянский, турецко-итальянский и греко-турецкий договор осуществлением которых итальянская дипломатия не мало потруд должны были продлить итальянские щупальцы вплоть до Сирии и чить весь восточный Средиземноморский бассейн в сферу исключите интересов Италии.

Первые два из указанных нами выше договоров уже закл Над заключением третьего работает итальянская дипломатия и до си Муссолини носился с мыслью втянуть также и Испанию в средизем скую комбинацию. Окружение и изоляция Франции должны были

полными. Завершение этого плана, о котором английское правительство не могло не знать вследствие тех интимных отношений, которые существуют между Муссолини и Чемберленом, с одной стороны, и греческим посланником в Лондоне Какламоносом, который являлся фактическим министром иностранных дел, и английским министерством, с другой стороны, было уже близко к осуществлению. «Неожиданное» появление в Афинах испытанного франкофила Венизелоса расстроило всю великолепно налаженную комбинацию.

С июля балканская кинофильма разворачивается в обратном порядке. Все что итальянская дипломатия с таким трудом создавала в течение нескольких лет было почти целиком уничтожено ловким шахматным ходом.. Правда, турецко-итальянский и итало-греческий договоры остались как бы свидетелями триумфа Муссолини. Но первый, как мы уже отмечали, больше нужен Турции, чем Италии. О ценности второго еще преждевременно говорить, ибо выполнять-то его будет не Михалкопулось, при котором этот договор вырабатывался, а Венизелос, друг Юго-Славии и ставленник Франции. Правда, что Албания также осталась в кармане Муссолини, но он мечтал не о таких трофеях.

Так как в политике, как и в природе, ничто случайно не бывает, то и не случайно появление на сцене Венизелоса, который опрокинул все итальянские далеко идущие политические аспирации, и еще менее случайно то, что английское правительство впервые в послевоенные годы предъявило совместно с Францией протест болгарскому правительству по вопросу о македонских комитаджи, устраивающих террористические акты на территории Греции и Юго-Славии. Чтобы не «обидеть» Италию, ей также было предложено присоединиться к протесту, но она демонстративно отказалась от этой чести. Не случайно также участие английской кавалерии в маневрах французской оккупационной армии на Рейне. Маятник покачнулся в другую сторону. Английское правительство, перефразируя выражение бывшего рейхсканцлера фон-Бюлова, сочло для себя выгодным не танцовать больше экстра-кадрили с фашистской Италией.

Нарастающие противоречия с Америкой, постоянные колониальные заботы, наконец, строптивость и непослушность, проявленные Муссолини в проведении своих собственных планов на отведенном ему Англией участке, и относительная военная слабость Италии убедили английское правительство в том, что Италия еще не доросла до того положения, которое могло бы ее сделать равноценным партнером по разделу власти в Европе. Эти причины, повидимому, и были доминирующими при решении английского правительства переменить вехи. Быстрое же восстановление экономического и финансового могущества Франции с ее могущественной армией окончательно должно было убедить консервативное правительство в том, что выгоднее сговориться с Францией, чем подтягивать Италию до того состояния, которое ее сделает полезной для английских интересов. Другое важное соображение — между Францией и Англией уже существует общность интересов, состоящих в том, что они насыщены колониями, и вследствие этого обе озабочены больше сохранением награбленного, чем захватом нового. Дальнейшая же поддержка Италии означает поддержку ее колониальных устремлений, что должно неизбежно привести к войне с Францией.

Эта вполне ярко определившаяся политика Англии выразилась в охлаждении отношений между Англией и Италией, что обнаружилось в кампании итальянской печати против английских методов управления на Мальте. Фашисты вдруг открыли, что жители Мальты итальянцы и угнетаются англичанами. Франция же вновь завоевала свое прежнее

положение на Балканах, а Малая Антанта, этот французский в Центральной Европе, никогда еще не была так прочна, как в н щее время.

Было бы ошибочным допустить, что англо-французскую д оплатит одна Италия и что Франция явилась страной получающ ничего не дающей. Поддержка Англией французской точки зрения срочную эвакуацию Рейнской области, поддержка английским прав: ством финансовых требований Пуанкаре к Германии по репарацио долгу компенсируются соответствующими уступками со стороны Фра В чем состоят эти уступки, еще точно установить нельзя. Но что зд обошлось и без большевикоедства, это уже неопровержимый факт. F антисоветская речь Бриана в Женеве показывает, что восстановл англо-французская Антанта имеет и противосоветское жало.

Разоблачение прессы в связи с инспекционной поездкой фра ского генерала Лерона в Польшу, Чехо-Словакию и Румынию, возр ние планов об «освобождении» Советской Украины из-под «ига» бо виков и усилившаяся антисоветская активность английской дип тии в истекшем году в Прибалтийских и Скандинавских странах – детельствуют, с другой стороны, что антисоветская работа «рациона рована» и распределена по строгому учету между Францией и Анг что до сих пор так ясно не выступало.

Дебаты во французской палате депутатов в декабре месяце пр смотрении бюджета на 1929 год были превращены в яркие антисове демонстрации. Чтобы убедить парламент в том, что необходимо асс вать на военные нужды 12 миллиардов франков Пуанкаре, Бриан и циалист Ренодель в течение нескольких дней распространяли с парла ской трибуны ложь про нашу страну и Красную армию. По «иссле ниям» Бриана советское правительство тратит ежегодно на Кра армию 1 250 миллионов рублей, а в Киевских маневрах участв 700 тысяч человек, т. е. на 138 тысяч больше, чем вся Красная а В доказательство нашей агрессивности Ренодель ссылался на то мы якобы не желали присоединиться к конвенции об отказе употре ядовитые газы во время войны.

Тов. Литвинов на 4 сессии ЦИК СССР и т. Ворошилов на 7 с ВЦСПС заклеймили эти недостойные выступления Пуанкаре и Бр К стыду Ренодели он должен был на второй день убедиться, что СС только присоединился к противогазовой конвенции, но и ратифици ее, чего еще ни одно правительство не сделало, а ратификационная гра находится... в Париже у французского правительства.

Повидимому, Франция сделала некоторые уступки Англии и на Б нем Востоке, где будет координирована политика обоих государств тив освободительного движения арабских народов.

Таковы в общем уже сказавшиеся результаты восстановления ан французского союза. Однако главное острие англо-французского ком мисса обращено против Америки. Это для борьбы с последней Ан нужны союзники.

Англо-французский морской компромис его отражение на взаимоотношениях Амер и Европы.

Серьезные наблюдатели международной жизни сравнивают соз шееся ныне положение в связи с заключением англо-французского со

шения с положением 1904 года. Тогда англо-французский союз был только началом планомерного окружения Германии, и в англо-французском договоре 1904 года, как и в нынешнем соглашении, ничего не говорилось относительно общего политического фронта двух государств. Договор касался только Марокко и Египта. Америка имеет все основания считать англо-французский компромисс направленным против нее. В начале XX столетия Германия была опаснейшим конкурентом Англии во всех географических широтах и во всех областях экономической и политической жизни. И еще в большей степени, чем Германия, Америка является в настоящее время конкурентом Англии. Как тогда, выражением антагонизма обоих государств явилось форсированное германское судостроение, так и сейчас выражением англо-американского антагонизма является морское соперничество. Морское соперничество является только выражением глубочайших политических, экономических и финансовых противоречий, разделяющих обе страны.

Основные англо-американские противоречия сводятся вкратце к следующему. Америка вытесняет Англию почти из всех важных ее рынков сбыта. В то время как участие Англии в мировой торговле в 1927 г. не увеличилось по сравнению с 1913 годом, Америка за тот же период увеличила свой вывоз товаров в Европу на 72%, в Азию на 312%, в Южную Америку на 145%, Океанию на 176% и т. д. САСШ систематически вытесняют Англию из Южной и Центральной Америки, где ее интересы (вложение капиталов) и до сих пор еще очень велики. Английские капиталы в государствах одной Южной Америки исчисляются в 450 миллионов фунтов стерлингов. Америка занимает самостоятельную, более либеральную позицию по отношению к Китаю, что способствует ослаблению позиций Англии в Китае. Нефтяные интересы обоих государств различны, как и противоположны их интересы как поставщика и потребителя каучука. Америка является кредитором Англии, которая выплачивает ей ежегодно одних процентов от 33 до 38 миллионов фунтов стерлингов.

Для поддержки обширной торговли и интенсивной финансовой, экономической и политической экспансии Америке нужен сильный флот. Она считает, что интересы ее возрастающей торговли во всем мире требуют, чтобы эта торговля могла быть во всякое время защищена от случайностей. Опыт 1914—1918 гг. показал, что торговля во время войны даже такого могущественного, как Америка, нейтрального государства находится под величайшей угрозой. Отсюда и борьба Америки за «свободу морей». Англия же на протяжении столетий боролась против этого принципа и объявляет своим неотъемлемым правом захватывать во время войны не только суда вражеских государств, но и суда нейтральных государств, если они заподозрены в перевозке военной контрабанды. Под военной же контрабандой Англия понимает даже продовольствие. Таким образом Америка обосновывает свое требование на обладание могущественным флотом не чисто военными, а экономическими причинами. Располагая неограниченными финансовыми возможностями, Сев.-ам. соед. штаты в состоянии строить в неограниченном количестве боевые единицы, которые они считают для себя необходимыми. Но они считают это ненужным расточительством и согласны в видах экономии отказаться от обширной судостроительной программы, если в такой же степени откажутся и другие морские державы.

Из краткого перечня противоречивых интересов Англии и Америки вытекает необходимость для Англии заручиться поддержкой могущественной континентальной державы против Америки, если она не хочет сдаться богатой и могущественной заокеанской республике. Лучшим союз-

ником для нее может быть только Франция, являющаяся, как и он должником Америки, выплачивающим ей ежегодно одних проценто до 125 миллионов долларов. Франция испытала на себе все неприя которые вытекают из флирта Англии с Италией, не забыто и пор в Руре. И английское правительство помнит хорошо, что если бы году рука Бриана не повисла в воздухе, то для Англии могло бы со опасное положение. Но вряд ли в будущем Америка повторит эту о как она это сделала, отвергнув предложенный ей Францией двухсто договор о вечной дружбе. Только широкое соглашение с Францией дать уверенность Англии, что Америка не использует Францию нее. Вот где надо искать корни англо-французской Антанты.

Трудно в точности предвидеть, как будут развиваться в даль уже сейчас наметившиеся основные линии англо-французской д Только одно можно сказать с несомненностью: они не будут друж ны по отношению к Америке. Общность франко-английских по ских интересов, на которые мы выше указывали, дополняется ещ нансово-экономическими интересами. Франция поразительно быст билизировала не только свою валюту, но и восстановила свое фин могущество. По августовскому отчету Банк де Франс, его текущи в заграничных банках, суммы, выданные под иностранные векселя, равнялись 36,5 миллиарда франков, что равняется 1,46 мил долларов. Подвал же с золотом не тронут. Из этого отчета видно, что ция незаметно вновь заняла крупное место на финансовом рынке. ствительно, сейчас уже не происходит ни одной крупной финансовой без участия французских банков. В послевоенные годы Франция лась до степени крупной промышленной страны. Финансово-пром ные и торговые интересы Франции толкают ее, как и Англию, на против промышленно-финансовой агрессии Америки [1]). Несомнен отношение Франции к Америке в настоящее время иное, чем А Может быть она еще даже не имеет своего плана сопротивления Ам Противоречия еще не совсем оформились и углубились. Другое де лия. У английской дипломатии есть точно разработанный план « и надолго». Лучшим доказательством этого служит тот факт, что в се прошлого года на пост английского посла в Париже был назначен бесцветного лорда Крю Вильям Тиррель. Этот выдающийся англ дипломат, скрывавшийся в течение десятилетий за кулисами, был ис вдохновителем английской политики окружения Германии. являлся инспиратором Эдуарда Грея и всей предвоенной внешне тики Англии, цель которой состояла в том, чтобы затянуть как мож петлю на шее Германии. Нет сомнения, что Тиррель и в настояще имеет определенную миссию. Опираясь на воссозданную Антанту, о ковать новую цепь для окружения Америки. Иначе трудно объяснит мещение Тирреля из Форейнофиса в Париж.

Таково в общем положение дел. Предметы разногласий впол делены, и они уже настолько созрели, что противники уже прис к возведению укрепленных позиций. Американское правительств расценивает англо-французский компромисс, и оно очень открове этом говорит в ноте от 29 сентября, посланной английскому правит в ответ на приглашение принять компромисс как базу для работ ференции по ограничению вооружений. После изложения знаком

---

[1]) В 14 пунктах Вильсона это важное для Америки требование фор вано следующим образом: должна быть обеспечена «безусловная свобода за пределами территориальных вод».

точки зрения американского правительства на ограничение морских вооружений нота продолжает: «Оно будет счастливо и впредь продолжать делать эти усилия, но оно не может согласиться на оставление широко раскрытых возможностей для неограниченных пост. оек некоторых типов судов высокой боевой силы и на ограничение только тех типов судов, которые специально нужны Америке».

«Американское правительство не стремится к специальным преимуществам на морях, но не может согласиться на то, чтобы его ставили в положение явно невыгодное». Нота далее резко критикует соглашение и в следующих выражениях объясняет свой отказ признать его приемлемым в качестве базы для переговоров: «К несчастью, англо-французское соглашение не выполняет ни одно из тех условий, которые правительством САСШ считаются за неизменные. Соглашение оставляет без ограничения очень большой класс действительно боевых судов, а это именно обстоятельство неизбежно приведет к возврату со ревнования в деле морских вооружений, столь гибельном для национальной экономии».

Несмотря на то, что американское правительство и обе основные политические партии, как и печать и общественное мнение, были поглощены предвыборной кампанией, англо-французскому компромиссу тем не менее уделялось величайшее внимание. Буря, которую морское соглашение вызвало в Америке, не улеглась и после того, когда в английской палате общин Болдуин официально заявил, что оно уже аннулировано. Американцы при этом вполне резонно рассуждают так: аннулировано техническое соглашение, но осталось в силе соглашение политическое. Америка рассматривает воссоздание Антанты как бунт Европы против Америки. Исход президентских выборов развязал республиканскому правительству руки. На состоявшемся митинге по случаю 10-й годовщины заключения перемирия, устроенном американскими легионерами, Кулидж дал отповедь «взбунтовавшейся» Европе. Никогда еще ни один американский президент не говорил в таком враждебном тоне к Европе. Он пригрозил лишить ее кредитов и предоставить своей судьбе. «Мы не хотим помогать вооружениям, мы не хотим финансировать подготовку будущей войны». «Англия, — заявил далее Кулидж, — размещает за границей значительные займы. Франция также имеет за границей крупных должников. Оба эти государства ассигнуют большие сумму для военных надобностей». Этот агрессивный выпад против «Европы» интересен тем, что американский президент признает факт подготовки к войне, называет поименно государства, подготовляющие войну. Что указания в американской ноте на морское соревнование не пустой звук, видно из того, что вслед за угрожающей речью Кулиджа секретарь по военным делам Вильбур опубликовал новую судостроительную программу, включающую постройку 71 судна, стоимостью в 724 миллиона долларов. Американское правительство также потребует утверждения сенатом уже утвержденной палатой представителей депутатов сметы в 274 миллиона долларов на постройку 15 крейсеров и одной авиаматки.

Военный же бюджет на 1929 г. составляет 672 млн. долларов [1]). Выработан план постройки тихоокеанских морских баз на Филиппинах, на Гавайских островах и вблизи Панамского канала.

Речь Кулиджа ясно говорит, против кого направлены эти вооружения. Строящаяся в Сингапуре военно-морская база может быть так же легко обращена Англией против Америки, как и против Японии.

---

[1]) «Le Temps», 6.XII 1928 г.

Указание Кулиджа на то, что 15 лет тому назад Франция и мания больше всех других стран вооружались, что и привело к в свидетельствует о том, что степень раздражения и против Франции велика.

Восстановление англо-американского союза углубляет про речия главных империалистических государств и приведет к еще шему военному соревнованию, о чем свидетельствуют вышепривед бюджеты Франции и Сев. Америки.

От этого общего соревнования не отстает и Италия, которая и основания считает, что англо-французское соглашение направлено и тив нее. Характерно в этом отношении выступление Муссолини 1 кабря в фашистском парламенте. Подчеркнув в своей обширной «что весь мир вооружается», а «количество пушек и штыков все и увеличивается», он предупредил, что потребует новых жертв от ст для обороны, так как, продолжал он, «не надо питать иллюзий насчет тического состояния Европы. Когда буря приближается, все го о спокойствии и о мире как о глубокой душевной необходимости не хотим нарушить европейское равновесие, но мы должны быть го Никто из нас не удивится, никто не должен удивляться, если я тр другого усилия у нации, выздоравливание которой окончено, дабы в вить в готовность все силы моря, земли и неба».

Репарационный узел и эвакуация Рейна.

С 1 сентября началась нормальная уплата по плану Дауэса. Л ные 4 года истекли. Ежегодные платежи Германии отныне определя в 2 500 тысяч марок. Опираясь на 431-ю статью Версальского дог и аккуратное исполнение всех взятых на себя обязательств, германи правительство потребовало в сентябре месяце очищения своих Рейн провинций от французских, английских и бельгийских войск. Союз же связали этот вопрос с окончательным определением германского д После длительных переговоров в Женеве между представителями Г нии, представителями Англии, Франции, Бельгии, Италии и Япо детали которых остались для общественности скрытыми, было ре создать комиссию из экспертов, которая займется изучением этого воп а результаты представит на решение соответствующих правительст

Попытки Германии вытащить из своего тела занозу и получить ноту суверенной власти над своей территорией солидно обосно как с правовой, так и с моральной точек зрения. Она не только а ратно выплачивает репарации и выполнила все обязательства, но о казалась от реванша в Локарно. Наступило время уплатить по выдан союзниками векселю. В письме от 14 ноября 1925 г. союзники обе досрочную эвакуацию германской территории, если Германия всту в Лигу наций. Хотя формально союзники не могут оспаривать пра Германии, однако они стараются еще раз продать эвакуацию рейн областей за приличную мзду. Разногласия слишком велики.

Требования союзников сводятся к следующему:

1) Так как план Дауэса устанавливает только ежегодную сумму тежа, но не окончательную сумму всего долга Германии союзникам, комиссия должна теперь установить эту сумму и срок ее выплаты.

2) Окончательная сумма по репарациям должна быть не ниже которую должны Америке Англия, Франция, Италия и Бельгия, к того должны быть покрыты и военный долг Франции Англии и во

затраты на восстановление разоренных немцами провинций. Одна эта последняя сумма равняется 16 млрд. марок.

3) Должен быть выпущен крупный международный заем под залог германских железных дорог и облигаций германской промышленности, вырученная сумма из которого пойдет на покрытие претензий союзников.

4) Франция, кроме того, выставляет еще требование о создании контрольной комиссии над освобожденными областями.

Каждому ясно, что Германия не сможет покрыть всех финансовых претензий союзников, она вправе требовать и потребует уменьшения ежегодных взносов, как и снижения претензий своих союзников. Если Германия должна лишиться тех преимуществ (трансфертный комитет), которые охраняют ее валюту от расстройства, а союзники хотят получить деньги чистоганом, то они должны итти на уступки.

С другой стороны, для всех ясно, что без участия и согласия Америки репарационная проблема разрешена быть не может.

Ни Франция, ни Англия не могут возложить на своих налогоплательщиков новые тяготы, если они уменьшат Германии ее платежи. Они могут уступить Германии только в том случае, если Америка им скостит часть их долгов и согласится дать Германии крупный заем, который пойдет для покрытия счетов союзников Америке. Америка уже раз сделала скидку своим должникам при урегулировании долгов: Англии около 25%, Румынии 21%, Бельгии 46%, Франции 50%, Юго-Славии 68%, а Италии 74%. Сомнительно, чтобы она согласилась на дальнейшие скидки.

Но как бы то ни было — без Америки репарационной проблемы не разрешить, ибо она упирается в проблему междусоюзнических долгов. Только при общем уменьшении союзнических долгов Америке может быть разрешен этот сложнейший вопрос. Но последнее зависит не от союзников, а от правительства Сев.-ам. соед. штатов. При создавшемся напряженном положении между Америкой с одной стороны и Англией и Францией с другой стороны очень мало шансов на то, чтобы Америка согласилась, как выразился Кулидж, «содействовать приготовлениям европейских государств к войне».

Репарационный узел задевает такие сложные вопросы и столько противоречивых интересов, что даже после того, как будут окончательно очерчены функции и полномочия комиссии экспертов, у нее хватит работы на много месяцев.

Есть еще и другие разногласия между Францией и Германией. Последняя настаивает на том, чтобы эксперты были вполне независимы от правительств и не связаны никакими инструкциями. Франция же желает, чтобы эксперты-экономисты были чиновниками. Германия считает, что эксперты должны сами установить окончательную сумму репараций и сумму ежегодных взносов, сообразуясь с платежеспособностью Германии. Французы же считают, что сумма ежегодных взносов уже установлена планом Дауэса (2 500 тысяч марок), следовательно комиссия экспертов должна, по их мнению, только установить окончательную сумму долга. И здесь главные затруднения. Французы мечтают о фантастических миллиардах Они ссылаются на Лондонский ультиматум, который фиксировал долг Германии в 132 миллиарда марок. Немцы же рассчитывают на 25—35 млрд. марок.

Помимо разногласий, связанных с самой репарационной проблемой, существуют еще и другие противоречивые и ведомственные разногласия. Достаточно указать хотя бы на то, что содержание оккупационной армии стоит больше 80 000 миллионов марок. Французское, английское и бельгийское правительства не с легким сердцем возьмут эти расходы на себя.

До сих пор их оплачивает Германия из платежей по плану Дауэса. щина себя чувствует прекрасно в оккупированных областях и вся противодействует их освобождению, оказывая давление на свои г тельства.

Требование Польшей места в комиссии экспертов, поддержие Францией, вызовет также немало затруднений, так как Германия і не согласится.

Следует отметить, что позиция Германии при предстоящих п ворах значительно укрепилась. Симпатии Америки на ее стороне. В ли самих заинтересованных противников, Франции и Англии (первая чает 52%, вторая 22% по плану Дауэса), она натолкнется на сплоч и объединенный фронт. Полная поддержка Чемберленом францу требований по репарационному вопросу, заявление его в палате о что Германия не имеет юридического права требовать эвакуации Рей провинций, и данное им обещание в Женеве поддерживать требо Италии на получение от Германии суммы, равной всей сумме италья долгов, свидетельствуют не только об общем против Германии ф но также и о том, что Англия намерена оплатить расходы по англо-цузскому компромиссу за счет Германии.

Таковы те сложные вопросы, требующие своего разрешения, рые поставил истекший год в порядок дня.

Политика неевропейских стран, перевыборы в парламен

Если мы обратимся к неевропейским странам, то мы должны отметить прежде всего, что в истекшем году революционная волна на токе упала. Революционные бури, потрясавшие с 1925 г. не тольк рый Восток, но и державшие в страхе весь буржуазный мир, в 1! не беспокоили больше европейских и иных империалистов.

Китайская революция, преданная Гоминданом и выданная им странным империалистам и собственным помещикам и буржуазии, з чила свой первый круг формальным объединением застенного К Угроза Японии выступить против национальных армий заставила и: кратить преследование чжанцзолиновских войск на границе Манчж Подчинение Манчжурии националистскому правительству не за больше от соотношения сил боровшихся до занятия Пекина вражд партий. Это всецело теперь зависит от исхода переговоров между на ским правительством и Японией. Последняя добивается признания кином за ней тех особых прав и привилегий, которые она получи Чжан Цзо-лина. Если такие гарантии будут даны, тогда объедин всего Китая под властью Нанкина ничто не будет стоять на пути.

Нанкинское правительство аннулировало все неравные дого как и все таможенные преимущества империалистических держав. тересованные государства ограничились формальным протестом начали переговоры с нанкинским правительством о заключении і договоров, хотя оно формально ими не признано. Временные тор договоры с нанкинским правительством заключили Франция, Ит Бельгия, Португалия и Дания. До сих пор еще остаются в Китае а империалистов и их флоты. Хотя нанкинское правительство явл полным хозяином страны, охраняет интересы иностранцев, из лось за нанкинский инцидент и согласилось возместить убытки инос цам, тем не менее оно не признано де-юре ни одним буржуазным прав ством. Нанкин и буржуазные правительства отделяют не прин

Каждое из них отказывает в признании де-юре для того, чтобы можно было дороже его затем продать. И иностранные армии больше не нужны в Китае, даже с точки зрения империалистов собственность иностранцев вне всякой опасности, — они остаются как средство давления на Нанкин во время переговоров.

Особняком себя держат по отношению к Китаю Северо-американские соединенные штаты. Они еще в июле заключили торговый договор с китайским правительством, что равносильно признанию де-юре. Между китайскими националистами и Америкой установлены весьма близкие отношения, что последняя и использует для укрепления своего положения в Китае в ущерб другим империалистам.

Но под видимым спокойствием «умиротворенного» Китая то тут, то там прорываются настоящие революционные вспышки. Неслыханный террор, массовые казни коммунистов и заподозренных в коммунизме и преследование профессиональных союзов — все это свидетельствует о том, что революционное движение не уничтожено, а загнано в подполье.

Борьба индийских националистов против Англии приняла в прошлом году особые формы бойкота. Английское правительство вздумало «облагодетельствовать» Индию и октроировать для нее новую конституцию. Для этой цели была послана в Индию для изучения на месте комиссия под председательством известного юриста, члена либеральной партии Саймона. В эту комиссию не вошел ни один индус. В ответ на это надругательство индусы бойкотировали комиссию Саймона. Куда она ни приезжала, ей всюду тысячи и сотни тысяч организованных индусов устраивали враждебные демонстрации.

Острый политический конфликт имел место в прошлом году и между Египтом и Англией.

Правительство египетских националистов вычеркнуло из бюджета суммы на содержание оккупационной английской армии в Египте. Ссылаясь на знаменитые 4 пункта из декларации 1922 г., согласно которым Англия присвоила себе право:

1) представлять Египет за границей;
2) защищать иностранцев в Египте;
3) защищать Египет против внешних нападений;
4) содержать английскую армию для защиты Суэцкого канала, — английский верховный комиссар потребовал от египетского правительства взять обратно внесенный в парламент для утверждения бюджетный закон. Так как оно не согласилось исполнить требования Англии, то была послана в Александрию английская эскадра. В июле был произведен государственный переворот. Парламент распущен на 3 года, конституционные гарантии отменены, а король Фуад назначил по требованию Англии послушный ей кабинет из чиновников и бюрократов. Так закончилась на этом этапе борьба египетских националистов за независимость.

В истекшем году было также окончательно подавлено восстание националистов в Сирии против Франции, продолжавшееся с перерывами 7—8 лет. Сначала французы пошли на уступки националистам, обещав им исполнить их требование объединить все сирийские области в одно сирийское государство. Возникшие затем разногласия между французским верховным комиссаром в Сирии и учредительным собранием были разрешены тем же способом, что и в Египте. Учредительное собрание распущено, и назначено «министерство» из ставленников Франции.

Так выглядит французская и английская демократия в колониях.

Нечто другое представлял прошлый год для независимых восточных государств. Турция, Персия и Афганистан — все три государства, нахо-

дящиеся в периоде политического, экономического и культурного устройства их жизни на новых началах, заметно упрочили свое полож как внутри своих стран, так и за границей. Происходившие трения м этими государствами окончательно изжиты. В прошлом году были п саны дружественные договоры между всеми этими государствами. 1(прошлого года Персия сбросила с себя последние признаки политиче неравенства. Все привилегии для иностранцев отменены. Отныне инос цы, живущие в Персии, подлежат юрисдикции персидских законов. (шения СССР к этим трем нашим соседям остаются попрежнему дружес ными. За истекший год были усилены торговые связи с ними, и др четырех государств получает все более солидные основы. Немалая заслуги в упрочении внутреннего и международного положения назва государств принадлежит СССР. Наши соседи это знают и ценят. О борьба против империализма упрочила и закалила дружбу (с Турцией, Персией и Афганистаном и придала ей крепость.

* * *

Наш обзор не был бы полным, если бы мы не отметили происх шие почти во всех основных буржуазных странах перевыборы в п менты: во Франции, Германии, Польше, Швеции, Японии и Румы В первых трех странах выборы показали заметное полевение масс. смотря на избирательный террор, аресты, аннулирование рабоче стьянских избирательных списков, — коммунисты в Польше соб большинство голосов во всех промышленных центрах и провели в п мент 5 депутатов. Польские социалисты потеряли голоса в промышле округах, но приобрели деревенские и буржуазные голоса.

Партии правее пилсудчиков были разбиты наголову.

Германские выборы также показали крен влево, что позво удалить из министерства националистов. В результате новых выб было образовано правительство из социал-демократов, католичес центра, народной партии и демократов.

Большой успех имела на выборах германская коммунистическая тия. Ведя последовательную классовую борьбу, коммунистическая па получила больше 3 миллионов голосов и провела 54 депутата в рейх вместо 45 в 1924 г.

Выборы во Франции не произвели заметных изменений в перег пировках политических партий. Они дали парламентское оформление татуре Пуанкаре. Об этом свидетельствует ноябрьский «бунт» радик и радикал-социалистов. Чувствуя на себе давление мелкой буржу все увеличивающимися налогами и военными расходами правитель Пуанкаре, его реакционными попытками восстановить в правах кат ческие конгрегации, конгресс радикалов в Анжере отозвал своих 4 м стров из правительства Пуанкаре. Несмотря на то, что он лишился держки радикалов, имеющих в парламенте 123 депутата, Пуанкаре лось составить новый кабинет с некоторым креном вправо, распола щим весьма прочным большинством.

Выборы в Японии дали равное число голосов правительствен оппозиционным партиям. Это, однако, большого значения для полит ской жизни страны не имеет, так как в Японии имеют свои понятия о ламентаризме.

О президентских выборах в Америке мы уже выше говорили. Пр вим еще мимоходом, что поразительный успех Гувера (он получил 2 41 миллиона поданных голосов) означает не просто продолжение полит

Кулиджа, но усиление торговой и экономической экспансии Америки за границей, борьба за овладение иностранными рынками и вытеснение посредством усиления протекционизма с внутреннего рынка европейских товаров. Поездка Гувера в Южную Америку является выражением этой экспансии, и она должна быть расцениваема как начало борьбы за полное овладение рынками южно-американских государств.

Ввиду особых отношении между СССР и Румынией не лишне будет рассмотреть события в Румынии, имевшие своим последствием переход власти от либералов к национально-крестьянской партии (царанисты). После управления страной продолжавшегося целые десятилетия, либеральная партия, представляющая крупный туземный капитал всех видов и крупных помещиков, принуждена была в конце истекшего года передать власть национально-крестьянской партии. Эта партия представляет мелкую буржуазию, крестьянское кулачество, интеллигенцию и другие промежуточные группы. Ведя долгую борьбу с либеральной олигархией, национально-крестьянская партия выставляла лозунги демократизации государственного управления, введения полного парламентаризма, уничтожения подкупности чиновничества, пересмотра земельного закона, облегчения доступа в страну иностранного капитала и многое другое. Это последнее и сыграло большую роль в падении либералов. Иностранные банки отказали правительству Братиану в займе и дали ему понять, что они охотнее дадут деньги правительству национально-крестьянской партии. Когда эта партия находилась в оппозиции, ее вожди неоднократно высказывались за добрососедское урегулирование советско-румынского конфликта из-за захвата Бессарабии.

Будет ли хотя что-либо осуществлено из этой широковещательной программы, покажут дела нового правительства, но благоразумнее будет не возлагать на него больших надежд.

Произведенные в середине декабря выборы в парламент и сенат дали царанистам подавляющее большинство голосов. Они провели 321 депутата из 387, либералы провели только 13 депутатов. Это свидетельствует о том, что царанисты хорошо усвоили балканские, а особенно румынские, методы производства выборов. В Балканских государствах еще не было случая, когда партия, проводящая выборы, не получила бы большинства голосов. Некоторые примеры лучше всего это пояснят. В 1926 году выборы производил генерал Авереску, и его партия провела в парламент 292 депутата, а либералы получили 18 мандатов. В 1927 году выборы производило либеральное правительство, и либеральная партия получила 328 мандатов, а партия Авереску ни одного, национально-крестьянская же партия — 51. Теперь же эта партия получила 321, а либералы — 13 мандатов. Вот что значит в Румынии производить выборы и как там выглядит демократия!

* * *

Наравне с усиленной подготовкой к войне империалистических государств, усилением активной антисоветской политики Англии в истекшем году окрепли и усилились за границей элементы, враждебные СССР.

Образование Русского комитета при Союзе германской промышленности, цель которого — борьба против нашей монополии внешней торговли, присоединение части германских банкиров к Международной ассоциации кредиторов царской России, образование в Германии отделения Международной лиги по борьбе с большевизмом, — все это важные события, которые должны привлечь наше внимание и усилить нашу бдительность.

Невзирая на все отмеченные нами в этом обзоре явления, под ждающие планомерную подготовку буржуазии к войне, планомерную низацию антисоветских сил, — это не значит, что война нам угрс непосредственно, близко:—СССР и в истекшем году продолжал в ‹ международной политике активную борьбу за мир, за разоружени создание условий мирного сожительства. Деятельность советской де ции в Женеве, подписание пакта Келлога с прибавлением расширителі его толкования, сдерживание польской агрессивности по отнош к Литве (нота Польше), — все это факты, подтверждающие усилия ми политики СССР не словами, а фактами. Поглощенное хозяйствеі строительством внутри страны, советское правительство в своей межд родной политике вело борьбу за мир, находя широкий отклик и поддеј рабочего класса всего мира и всех истинно пацифистских элементов с ственности за пределами нашей страны, которые, так же как и государство, борются за мир, за разоружение и против опасности во

ЗА РУБЕЖОМ

В Словакии.

Илья Эренбург.

1. Урок кринки.

«Вы едете в Словакию? Но зачем? Что там хорошего?» Это я слышал не только от парижан, убежденных твердо, что за Фонтенбло кончается обитаемый мир, но и от пражских снобов. «В Сло-ва-кию?..» Теперь позади — сотня деревень, речки, умилительно смешной для нас, русских, словарь, ухабы дорог, новая дружба, если угодно, новая страсть, Словакия позади. «Что же вы там увидели?» Сколько иронии в вопросе! Действительно, что можно увидеть в столь неисправимой провинции? Ясно все: СССР — Волга или Урал плюс строительство новой жизни; Германия — замечательная техника, комфорт, небоскребы, пылесосы, почтенные близнецы на перочинных ножиках; в Италии — сразу и треченто и фашизм; во Франции—что ни шаг, то фасад Людовика или новая марка вина. Любопытство путника здесь простительно и пристойно. Для любителей за морями — Америка, негры, буддизм... Но Словакия? Ведь это даже не государство, это деталь школьного атласа, скучный затянувшийся уезд. Что же там можно увидеть?

Я не стану перечислять всех оставленных щедрот, не стану твердить об изумительной живописности Гронской долины, о татранских озерах, о песнях пастухов, об осанке баб, о старых деревянных церквах, о вышивках или о фресках. Все это прекрасно, причудливо и, однако, спорно, как любая страсть. Я отвечу прямо: в Словакии я увидел людей. Разве не достопримечательность это, не находка, не больший раритет, нежели все фасады, пылесосы и музеи? Разве ради этого не стоит покрыть тысячи и тысячи километров? Причем следует помнить, что Словакия — не Конго, — нет, она в самом центре Европы. Географически это даже не окраина, а сердце, и вот здесь, под боком у чешских пивоваров, где-то между кофейнями венского Ринга и нарами польских тюрем, среди Малой Антанты, нот Бенеша, среди расторопного изуверства Хорти или же неоримлян из «сигуранцы», под спудом законов Франца-Иосифа, пришлых освободителей и пришлых жандармов, под спудом тысячелетнего рабства,

на земле, рожающей только чертополох и благородство, живут на(щие живые люди, без зависти, без корыстолюбия, без деспотизма, л сохранившие весь жар, всю доверчивость, всю суровость детства. I художественным вкусам относится это, но к возрасту человечести

Душевное чудо, — его можно объяснять по-разному, можно г рить о стене Карпат, о традиционном отсутствии государственност скудости каменистой почвы. «Крестьяне?» Д:, разумеется. Но кто же лу нас знает всю растяжимость этого не то слишком поэтического, не то сл ком политического термина! Как-то один советский журнал напеч отрывок из моего романа «Лето 1925». Герой просит, и притом тще французских крестьян дать ему лошадь, дабы привезти из города док к больной девочке. (История, как видите, и зоологическая и сентимент ная.) Секретарь журнала решил дополнить текст эпитетом: «я обо всех **богатых** крестьян»... Оказывается, руководили им самые н ственные побуждения: он не хотел часом обидеть французских «серед ков»! О, секретарь, французские, да и не только французские, «се] няки» хорошо знают цену франка, или марки, или кроны. Только угол ное уложение здесь порой авторитетней денежных знаков. Да что говор о провансальских виноделах, до чешских свинопасов куда ближе. Чуд предоставляется обойти всю Чехию в поисках крестьянского дома, бы встретила его не корысть, но и ласка.

В самом начале нашего путешествия попали мы в глухую деревуш Это было на севере, в Оравском округе, который даже в нищей Слова славится заведомой своей нищетой. Косая избенка. О достатке словац крестьян обычно говорят тарелки на стенах и горы подушек. Здесь было ни подушек ни тарелок, — только дым, докучные мухи, насто женность летнего полдня и грустный грудной голос хозяйки: «нех вам пачи» (пожалуйста), — угощала она нас кислым молоком. Мы хот(заплатить, если не за ласку, то за кринку: ведь мы твердо помнили, такое денежное обращение, что такое крестьяне и что такое наш высок век. Баба обиженно усмехнулась: «не нужно». Голая изба, пустой хле кто знает, до чего нужны были ей даже эти кроны, и нет, не нужны, нужны до обиды, до пренебрежения. В этот день, среди дыма и зноя встретился по-настоящему со Словакией. Потом я видел много изб, мн(баб и много превосходства. Оравская кринка не осталась чудаковат эпизодом, она открыла весь внеевропейский строй словацкой жиз

2. Страна без городов.

Страна без городов! — сознание никак не мирится с этой чуть ли снобистической беднотой, националисты не могут надумать, из какого села сделать им столицу, а курьерские поезда (по-чешски, как и ни чуд это, — «рыхлики»), разлетевшись из Праги, не знают, возле какого плетня приличней им остановиться. Правда, тщательно исколесив Сло кию, можно найти несколько хоть и крохотных, но вполне породист

городков вроде Кремницы или Левочи. Однако они выстроены и по большей части заселены немцами. Это — знатные иностранцы. Если они остаются на территории Словакии, то только потому, что города не путешествуют.

Столица Словакии — Братислава. Слов нет, это почти европейский город, с театром, с ночными барами и с десятком высокополитических газет. Но словацкий он если и не по насилию, то по вольному найму: столицу поняли; наняли немецких фабрикантов, еврейских биржевиков и венгерских журналистов. От Братиславы до Вены полтора часа — трамвай ходит, — это почти Пратер, и до войны в Братиславу приезжали сентиментальные парочки повздыхать или выпить «под вехами» кувшин молодого вина. Новые границы причинили немало бед. Десятки тысяч словацких крестьян, уходившие на заработки в Венгрию, подвязали туже животы. А вот сентиментальные парочки, те вздыхают теперь в Шенбрунене — любовь стала экономней, домовитей. Отель «Карльтон» — в Братиславе давно не ремонтировали, он опустился, оброс подозрительной щетиной — чем не венгерский магнат после земельной реформы?.. Прогорели увеселительные заведения. Зато открылись министерства. Так была устроена дачная столица. Словаки в ней, конечно, водятся, но немного их, и ведут они себя скромно. Словацкие газеты быстро увозят из печатни на вокзал, а газетчик, войдя в «приличный» ресторан, помахивает немецкими или венгерскими листками. С таким же успехом столицей Словакии могли бы стать любая «международная выставка» или палуба трансатлантического парохода или же кофейня Монпарнасса. Даже окрестности Братиславы экзотичны: здесь словацкая деревня, там мадьярская, проедешь еще десять километров — немцы, еще — уж вовсе неизвестно откуда взявшиеся хорваты, а там вот вместо овина синагога, и вокруг нее стрекочущие на всех наречьях бывшей империи евреи чинят часы или перед высокомерными гусями расхваливают наилучшие швейные машины.

Крайние националисты устроили себе другую «столицу» в городе, который именуется «Турчанский святый Мартин». Название сложное, но жителей в этой столице всего тысяч пять. Там выходит «непримиримая» газета «Народни Новины». Читает ее несколько евангелических пасторов в окрестных селах. Среди огородов высится добротный каменный дом «Словенской Матицы». Сидят в нем блюстители национальной культуры. Они еще пытаются оградить словацкие головы от чешских идей, язык от чешских слов и животы от чешского пива. Пастухи их ученых трудов не читают, а братиславские журналисты, по обязанности проглядывая за кружкой пильзенского «Народни Новины», посмеиваются — эти-то навеки распрощались с гусями и с огородами; они предпочитают «гуманизм» Масарика, не говоря уж об американских барах Братиславы. Славные рыцари из «Матицы» сокрушенно вздыхают: «Как, однако, быстро несется жизнь! Как быстро меняются идеи!..» Они, например, высоко ценят русскую литературу, причем Тургенев для них — современник, Чехов — модернист, а Есенин, о существовании которого они случайно услыхали

в прошлом году, — катастрофа. Вокруг каменного дома солидно го гуси, и старосветский сон длится.

Есть еще в Словакии большой город — Кошицы, но он далеı востоке, а о своих восточных окраинах словаки говорят не то перепуг: не то пренебрежительно, совсем как чехи о Словакии. С виду Кошиı заурядный губернский город средней России. Душа его, разумеется зар, где грудятся сита и горшки, где божатся, набавляя крону на и где торгуют до хрипоты иконами или жареной колбасой. Особня палисадниками. Ларьки с фруктовой водой. По городскому саду бı размоpенные жарой, страстью и военным оркестром местные Психе: подмышников. Пыль и заунывный романс влюбленного счетовода. только собор не к месту — вместо луковок готические шпицы. Но ı шицы, если присмотреться поближе, не Словакия. Снова немцы, мадь евреи. Кончится базарный день, разъедутся по домам крестьяне, и в ний ветер начисто смоет словацкую речь, — ведь романсы счетовод умны, а этикетки фруктовой воды — эсперанто.

Словацкие города: Святый Мартин, Святый Микулаш, Бр Зволен, Ружомберок — вовсе и не города, это попросту разросш села. Одна длиннущая улица, базарная площадь, номера для приез: щих, бильярд для чиновников, кожемятня или сыроварня (это по « «индустриализации»), огороды, чтобы не переплачивать на укропе, три церкви, две-три школы, староста, а в кабаке портреты Масаı какой-нибудь кинодивы и уж непременно легендарного разбойника шика, который грабил богатых и награбленное раздавал беднякам. тинку с изображением подвигов Яношика я видал даже в захолустно делении банка, рядом с массивными сейфами. Что ж, это в порядк щей — ведь может же банк открыть свое отделение в деревне побо непосредственно соседствуя с хлевом и с суровой крестьянской пı той...

Если б мне довелось подыскивать столицу для Словакии, я о бовал бы какой-нибудь «салаш» в Ораве или над Вагом. «Салаш», пр: уж никак не город, это всего-навсего деревянная лачуга высоко в го где живет пастух «бача», где коптит он на очаге овечий сыр — «ос где он играет на дуде, где он считает бараньи зады и звезды. Вот та роню бы, не в барах Братиславы, не в пародийных ее полуминистерс обосновать столицу государства, которое издавна не было государс которое сохранило свой облик, язык, душу, вне торжества, вне держ: сти, даже вне простой свободы, в то время как народы-победители ı няли и себе и своему назначению. О, «салаш» далеко не Святый Маı Пастухи не страшатся современности. Конечно, круты склоны гор и р доходят до «салаша» человеческие вести. Но вот обитатели иных «(шей» уже мечтают об антеннах. Не все, что шлет пражская радиостан дойдет до сердца «бачи». Чистый и трудный воздух пропускает тольк стое и трудное, биржевые курсы или парламентские сплетни тонут в (соватой глухоте долин. Так еще раз поддаешься высокому соблазну

жет быть, мыслимо детским сердцем взять автомобиль без обязательного его маршрута, аэроплан без военных штабов и то же радио без шамкания Келлога?..

Столица Словакии, убогий «салаш» возле Тисовца, с какой нежностью вспоминаю я тебя! Далеко видны долины, речки, луга. На склонах холмов все незадачливое богатство этой земли: барашки, похожие на летние облака (не все же облакам походить на барашков!). В «салаше» — старый «бача». Ему уж за семьдесят. Не сразу достиг он своего высокого чина. Много лет, как простой «валах», он стерег овец. Теперь уж не может он бегать по холмам. Он только варит сыр. Он угостил нас жареным на лучине «ощепом» и дал хлебнуть из деревянного черпака холодной «жинтицы». Он «запек» для гостей свою старую трубку — «запекачку». Узнав, что мы — русские, он заиграл на дуде старые пастушеские песни. Слова этих песен мудры и грустны, как стихи того замечательного поэта, который живет где-то рядом с нами, гениального анонима, нет, не поэта уж — жизни. Да и все здесь в диковину. Разве не просится в музей этот резной черпак? Там будут наставлять экскурсантов: «Глядите, — мол, — какая простота, какое благородство форм»... «Бача» очень стар. Он наверное скоро умрет. Сколько же может быть морщин на лице человека?.. И «салаш» ветх, — кажется, подует ветер с Карпат — слетит крыша. И все же здесь, именно здесь — столица этой земли, достойной и любви и любования!

3. Нарядная нищета.

Иностранец, который вздумал бы судить о Словакии по окрестностям Братиславы или Комарна с палубы хорошего дунайского парохода, наверное удивился бы богатству этой страны: какие хлеба! какие виноградники! сколько племенного скота вокруг этих белых домов с колоннадами! И впрямь, на юге Словакии много плодородной земли, выхоленных женщин, отложенных бережливо крон. Беда одна — там мало словаков: в кокетливых домах с колонками живут преимущественно венгры.

Деревянные избы, на востоке крытые соломой, плохие дороги, тощие колосья, несколько овец, несколько гусей, которых пасут патетично, как будто не гуси это — коровища — вот словацкая деревня. До войны уходили на заработки в Венгрию, уезжали в Соединенные штаты, теперь не пускают туда, — что ж, едут дальше, и, кажется, не видал я деревни, где бы не вздыхали озабоченно бабы: «Мой-то далеко — в Ка-наде!» Курные избы здесь не редкость. Чтоб их увидеть, вовсе не нужно забираться в глушь Оравы. Нет, вот село Важец, это станция большой железнодорожной линии Прага — Кошицы — Бухарест, большое село, три тысячи жителей, и в Важце, зайдя в иную избу, жмуришься: от дыма бело.

Бедность в Словакии, однако, умилительно нарядна, и та же печь, не дождавшаяся поныне простой трубы, зато вся расписана местным затейником. Кажется, одна страсть преследует словацкого крестьянина: принарядить жизнь. Пустую похлебку он хлебает раскрашенной ложкой

из пестрой миски. Избы ярко голубые, или же покрыты они слож орнаментом. Здесь человек не останавливается ни перед чем: уж на кажется, смерть далека от кокетства, — все равно, словаки обря самое смерть. Могильные кресты в Детве размалеваны, как будто это ские игрушки, поярчей, повеселей, цветочки, розанчики, пичуга. П станству пришлось примириться: кто ходил бы в голую церковь?.. ступили от канонов и стены покрыли росписью.

Почти повсеместно сохранился национальный костюм, хотя он моздок, да и дороже куда городского. Здесь страсть побеждает бедн здесь, перед шкапами или сундуками с десятками чепцов, жилетов, ю фартуков, лент, вышивок, со всем цветистым и, видимо, необходи как солнечный свет, тряпьем. В каждом селе свой покрой, он твердо новлен, это — форма, причем не только отличается молодуха от деву но и женатый от холостого: в Важце парни после свадьбы сним шляп обязательные дотоле петушиные перья, а в Детве расстаются с черными, расшитыми шелком передниками — «фертушками».

Барокко, ветреное и вкрадчивое, запало в душу на ода. Как тейски нелепы и широчайшие юбки, под которыми неожиданно бле наваксенные голенища, и крохотные фартучки на здоровенных муж щах, и многоэтажные шляпы, и ворохи лент, развеваемых ветром! это — не только в праздник, нет, в будни, в полях, с косами или с по ником. Глаз европейца никак не хочет уверовать в подлинность подоб картин: полно! неужто это жнецы и пастухи, а не загулявшие стат братиславской оперы?.. Здесь не косность привычки, здесь врожден театральность народа, отнюдь не падкого на фальшь, но обожающего дневное зрелище — от пестрой колыбели до столь же пестрого могилы креста.

Воскресную службу надлежит рассматривать как самый необы ный бал-маскарад. В церковь идут все, включая заведомых безбо ков — кому же охота отказаться от празднества (а праздники здесь, вк чая и самые неподходящие, это прежде всего празднества). Воскрес наряд еще сложнее и богаче будничного: не счесть лент, бус, расши поясков или фартуков. Все это сверкает, мечется на резкой белизне мотканного холста. Женщины идут отдельно от мужчин, в одной рук золотое тиснение молитвенника, в другой — непременно цветок, и жат они этот цветок совсем как на сцене — за кончик стебля. Груд младенцев несут на спине в полотенцах. Перед распятьем бабы станов на колени, каждая по очереди. В сторонке кокетливо посмеива парни.

Каждая деревня живет своей отдельной жизнью. Это не то ост не то крепость. В селе Важец, например, не выдают девок замуж за « жих», то есть за парней из других деревень, — на «чужих» и не женя Так традиции переходят в кровосмесительство. Объединению способств религиозная пестрядь: католическая деревня окружена протестантск или наоборот. Тихо и глухо в таких деревнях. В праздник не только «

рар» (священник) удовлетворенно улыбается, его успех разделяет корчмарь. Чем тише, чем глуше, тем больше опрокидывается литров крепкой «паленки». Выпив, — когда поют, а когда и дерутся чуть ли не насмерть. Ведь детскость и душевная чистота легко сочетаются с заправской жестокостью. В селе Палудза учитель сказал нам: «Сегодня у нас два события, вот крестьяне и взволновались. Утром один парень поругался с другим и снес ему косой голову. А второе событие? Второе — приехали вы, то есть автомобиль»...

Вся словацкая интеллигенция вышла из этих деревень, если и не из курных изб. Оттого в словацкой литературе столько свежести, неуклюжести, отчаянной прямоты. В деревне Ясенова зашел я в избу; подушки, тарелки, большущая печь — конечно же, средоточие всей жизни. Вот в этой избе родился и рос один из самых крупных писателей, величаемый даже «словацким Гоголем», Мартин Кукучин. Не увидев этой избы, не увидев этих деревень, их живописности и нищеты, получеловеческого-полузвериного быта, трудно понять книги Кукучина, да и всю словацкую литературу.

Жизнь настолько здесь пропитана добросовестным запахом можжевельника, сена, навоза, что немыслимой кажется ни одна пядь, ни один час без привычных забот. В фешенебельном курорте Штрбске Плесо, во вполне современной гостинице, которая содержится государством, в комнате с мебелью стиль-модерн прочел я среди правил, для удобства иностранцев, даже переведенных на французский язык: «Запрещается в комнате сушить грибы». Ну, да, а вдруг турист-домовод вздумает сушить опенки или мариновать рыжики?..

Избы, мосточки через речку, черный, как земля, «ковач» (кузнец), супротив него весь белый «млынарь» (мельник), русая смешливая и конфузливая детвора, старики, много чистеньких, свежевыбритых, высохших старичков, чьи лица, как пергамент архива, хранят историю такой-то деревни, четыре чужих человека: «фарар», учитель, корчмарь, жандарм — в европейском платье, — не сегодня это родилось, не завтра умрет, прочное, косное, верное себе до жертвы. Какая только дичь ни таится на этих холмах! Здесь живут старики с длинными косами, здесь живут люди в землянках, и уж знахарствуют-то они во-всю.

Американцам не мешало бы посмотреть, как применяется институт «пробных браков» в словацкой деревне. Если парень и девушка нравятся друг другу, что же, пусть «гуляют»: ночь с субботы на воскресенье парень может оставаться в доме родителей девушки. Проходит несколько месяцев — или справляют свадьбу или премирно расходятся: не подошли. Девушка ничуть не обеспечена: Ребенок? В таких случаях старые бабки сокрушенно бормочут: «Переспали». Что ж, тогда парню приходится платить алименты. Невеста в выигрыше — она теперь с «приданым». Запрет касается только «чужих»: учителя, почтальона, нотариуса. Если с ними загуляет девушка, — кончено, никогда уж ей не выйти замуж, одна дорога — в отсутствующий город.

До войны словацкая деревня была почти поголовно неграмо' По официальной статистике только 37% всего населения умело чит. Теперь национальные ограничения отпали, число словацких школ у личилось в восемь раз. Молодежь теперь умеет читать, но это, коне' не значит, что она читает. Песни и сказки здесь еще успешно замен: романы. Тираж ходкой газеты: несколько тысяч на всю страну. В боль селе два подписчика: «фарар» и учитель. Крестьяне плохо разбирак в политике, то есть в парижских поездках Бенеша или в отношении к цев к правительственному блоку. На выборах голосуют дружно и вт ную, как заведено (кем и когда — это не существенно). Одна деревня за «аграриев», другая—за клерикалов, третья—за коммунистов. Чтобы нять социальную философию словацкого народа, не стоит изучать ит избирательной кампании. Песни о разбойнике Яношике и те куда назі тельней. В Лужной прошел коммунистический список, а в Тисовце « рарный», но и там и здесь вам скажут, что справедливей всех минист был Яношик: «бо кривда велика. Неправость у панов, правда у збойнил Это не только те слова, которых из песни не выкинешь, это и та вера, торой не выкинешь из сердца словацкого крестьянина.

4. «Фарар».

«Фарар» в деревне хоть и чужой человек, но необходимый. Девуп с ним, конечно, «гулять» не пустят, но почет при случае окажут, а когд повиновение. Сплошь да рядом этот «фарар» определяет, за кого долж деревня голосовать. Он — посредник между крестьянами и предполаг мой «столицей», то есть ближайшим «жупным» (губернским) захолусть Учителю приходится с «фараром» ладить, — ведь в Словакии до сих і почти нет светских школ. «Закон божий» не только обязательный пр мет, это зачастую педагогическая база, определяющая, несмотря все братиславские инструкции, что можно, а что грех. Так, нап мер, не редки случаи, когда даже в протестантских школах начал естествознания смягчаются патетической формулой: «Не от обезья пошел человек, как утверждают безбожники, но по подобью божье он создан».

За пастырство над словацкими пастухами издавна воюют д церкви: римско-католическая и евангелическая. До создания Че: Словакии католическое духовенство отнюдь не брезгало мадьярской , бинкой. Католицизм покрывал не только правящий класс, но и правящ нацию. Наравне с латынью венгерский язык был языком духовных сем нарий и приходских школ. К моменту переворота во всей Словакии нас' тывалось что-то около пятисот словаков с образовательным цензом вы среднего, которые говорили на родном языке. Это были почти поголов протестанты. Католическая интеллигенция оказалась начисто мадья] зованной. Что же, «кесарю кесарево»: католические «фарары» не толь заговорили по-словацки, они стали ярыми националистами.

С виду Словакия — огромный приход. 6 июля — национальный праздник: «день Гуса». Однако для католиков Гус и поныне мерзкий еретик, так вот, чтобы не обидеть католиков, установлен 5 июля второй национальный праздник канонизированных Римом святых Кирилла и Мефодия. Вся Словакия делится на тех, кто пьет в день Гуса, и на тех, кто уже перепился накануне по случаю Кирилла и Мефодия.

Присмотревшись поближе, видишь, сколь театральна и декоративна религиозность словаков. Это не благочестие, но пестрый ворох лент, да еще столь же пестрый ворох суеверий. В душе крестьянина жив языческий дух. Зря старался католицизм привить ему культ смерти. Смерть для него проста и лаконична, как срубленное дерево или пересохший ручей. Шумны и веселы поминки на радость и корчмарю и цыганам, которые до поздней ночи терзают скрипки. Вокруг кладбищ часто даже ограды нет: дети резвятся там, пасется скот. Порой исчезают кресты. В Ноградских горах на детских могилах — какие-то каменные пряники; а в деревне Валковцы видел я кладбище, где вместо крестов деревянные столбы, одной формы для мужчин, другой для женщин, на них зарубки по числу прожитых десятилетий. Семь зарубок — значит к семидесяти стукнула смерть. Между столбиками трава, овцы.

Не только простота и ребячливая веселость отдаляют словацкого крестьянина от всей угрюмой утонченности католицизма: церковь здесь была слишком наглядно связана с государственностью, с ее иноязычным гнетом, с ее непонятной сложностью и отталкивающим великолепием. «Фарар» прежде всего «пан», более того он, конечно же, с «панами». Он вне мира овец, гусей, огородов. Он приносит с собой натянутость почти заморского Пешта. Деревянные костелы Оравы естественны, как елки и как избы, но вот роскошный Ясовский монастырь близь Кошиц, с храмом, похожим на театр, с жеманными святыми и с привередливыми ангелами, с изумительной библиотекой, где собрано все от инкунабулов до последних парижских новинок, с оранжереей, где диковинная коллекция кактусов и пальм, этот монастырь как бы знаменует весь панский характер так называемой «соборной и апостольской». Угощали нас в монастыре чаем, венгерским вином. Слов нет, хорошо живут восемнадцать монахов, среди инкунабулов и пальм! Правда, после переворота отобрали у них огромные поместья, но и того, что осталось, за глаза хватает на все очаровательное сибаритство высокообразованных и отнюдь не фанатичных отшельников. Пожалуй, нигде в Словакии не встречал я такой непринужденной барской роскоши. Зато и слышна здесь не словацкая, а мадьярская речь. Это — магнат среди соломенных чумазых холопов.

Один из давних своих эпитетов католическая церковь продолжает носить без иронии: она и поныне «воинствующая». Невзрачные села щедро обсыпает она листками, брошюрами, газетами. Тысячелетний навык придает должную солидность деятельности этого гигантского агитпропа. Безусловная дисциплина — в рядах черной армии. В местечке Спишский Четверток я видал другой монастырь — без пальм и без барочных хе-

рувимов. Там решетки на окнах и засовы на дверях. В кельях, точнее в камерах, сидят провинившиеся «фарары»: ослушники, критиковавш распоряжения старших, ротозеи, не сумевшие замести во-время след наплодившие чересчур много ребят или опившиеся на глазах у подходящих свидетелей, еретики, наконец попросту неудачники. судит епископский суд, и получают они столько-то месяцев или одиночного заключения. Вот оно, государство, которому дела нет государственных судов, до уголовного уложения или до параграф конституции!

Конечно, не в один человеческий век распадаются подобные арми На богомолье в Кошице сходится чуть ли не вся губерния, и д сятки тысяч крестьян часами простаивают на коленях вокруг холм увенчанного почитаемой часовенкой. Но сколько здесь торговцев лента или сластями, сколько цыган со скрипками, сколько любовных встре сколько сплетен и пересудов, сколько здесь от митинга, от балагана, огромного клуба. Трудно судить с религиозности народа по количест церквей или даже по частоте крестных знамений. Вспомним только испа цев, которые площадной бранью кроют Мадонну соседнего «сопернич ского» прихода, вспомним образа-амулеты на груди вольтерьянствовавш французских солдат или внезапную богомольность наших отечественны вольнодумцев на следующий день после вскрытия сейфов. Много зде скуки, страха, обиды. Словацкие крестьяне из достаточно инфернально католицизма устроили карнавальные поминки с «фараром», но и с цыг нами. Голое рассудочное лютеранство превратили они в одну из наро ных сказок, где что ни слово, то небылица. Не грамота, не газета, н «агитка» — главные враги церкви, но душа народа, может быть его близость к физиологической жизни земли, детский смех, мудрость стары «бачей», прямота, — да, прежде всего прямота.

5. Внуки Яношина.

Пока песни о добром разбойнике еще не стали статутом политиче ской партии, депутаты, приезжающие набирать голоса, как грибы, ка жутся крестьянину диковинными городскими фокусниками, газетна война для него — явно панское дело. Фабричные трубы, тресты, крупны банки, даже тракторы — не строй здешней жизни, это скорее утварь слу чайно наехавших колонизаторов. Законы жестокого полдня, установлен ные экономистами хотя бы соседней Чехии, застали Словакию всю розо вую в рассветном тумане.

Слов нет, — имеются в Словакии настоящие коммунисты: и рабочие и батраки, и крестьяне. Нельзя сказать, чтоб их гладили по головке. Нет любой номер местной «Правды» с белыми прогалинами похож на овчарку попавшую в хорошую переделку. Немало здесь коммунистов, вдовол знакомых с хоть патриархальным, но далеко не идиллическим бытом оте чественных тюрем. Патриархальность приводит к отсутствию понятия

«политический»: острог — так острог. Одного коммуниста посадили вместе со знаменитыми цыганами из Молдавы, обвинявшимися в людоедстве. Опыт, впрочем, не удался: на коммуниста цыгане не позарились. И все же по сравнению с Польшей, даже с Германией, эти преследования напоминают скорей семейное самодурство, нежели осознанный классовый террор. К политической борьбе здесь еще не примешалась естественная, страстная до личного отталкивания, заведомая, хоть и анонимная ненависть, которая после войны стала социальным воздухом Европы. Коммунисты здесь еще могут танцовать, или петь хором или просто мирно калякать, скажем, с «аграриями».

Приехали мы в один довольно большой город. «Староста» (городской голова) пригласил нас провести с ним вечер. Место действия: людный ресторан. Действующие лица: староста — член крайне правой партии, его помощник — народный социалист, далее молодой словацкий коммунист, наконец советские гости. Староста угощает нас отменным токайским. Он восхищается вполне искренно героизмом «Красина». Он рад гостям, всячески старается он их развлечь. Вот он встает, подвязывается салфеткой, берет из рук очередного цыгана скрипку. Публика?.. Что ж, это все словаки — они поймут... Сейчас он исполнит перед нами народные песни, среди других — песню об Яношике. Токайское здесь ни при чем. Это просто от добрых чувств. Я вспоминаю сейчас о столь живописном вечере не для того, чтобы лишний раз засвидетельствовать редкостное гостеприимство словаков. Но национал-демократы, словацкий коммунист, мэр города, скрипка цыгана! — нет, политическая вражда еще не стала здесь интимным сердечным делом каждого!

В одном из сел возле Брезна податной инспектор, человек идей более чем умеренных, привел нас в избу крестьянина-коммуниста, где на стене между Яношиком и разряженной Мадонной висел большой портрет Ленина: вот, мол, радуйтесь!.. Он показывал нам коммуниста, как будто это самовар, — надо же русских порадовать, показывал без досады, скорее с гордостью: смотрите, у нас и это имеется...

То же самое можно наблюдать и с обратной стороны, конечно, не среди рабочих Братиславы или Ружемберока, — у станка многое яснее и жестче. Но вот крестьяне-коммунисты, те бы поняли «старосту». В Тисовце оркестр коммунистической ячейки принял участие в церковном празднике: дули в трубы. Городские стыдили их: как же вы так?.. Крестьяне удивленно отвечали: праздник народный, трубы тоже народные, ну и дули...

Я отнюдь не хочу создавать буколическую легенду для усталого европейца. Трубы — трубами, токайское — токайским, и все-таки портрет Ленина висел в нищей избе, не в квартире податного инспектора. Буржуазия в Словакии малочисленна и хила, однако она существует, притом она растет. Следовательно неизбежен час, когда трубы тисовцев станут выводить несколько иные мелодии. Но детскость — еще меньше «порок», нежели бедность, у той и другой есть чему поучиться.

6. Венгры и немцы.

Каждая национальность в Словакии занимает определенное социальное положение: венгры — это полуразоренные помещики или кулаки, евреи — городская буржуазия, чехи — чиновничество, цыгане — люмпенпролетариат, словаки — крестьяне. Разумеется, немало исключений. Вы найдете и венгров-рабочих, и евреев-нищих, и словаков-буржуа, но общей картины они не меняют. Пафос правящей ныне нации — это прежде всего пафос крестьянства, противопоставление его и городской цивилизации и феодальной пышности мадьяр.

Глубоко, почти анекдотично назидательны те положения, когда социальные интересы сталкиваются со столь ходким патриотизмом. Конечно, мадьярские буржуа обожают свою родину и немало скорбят над жестоким концом «короны святого Стефана». Когда Красная армия подходила к Кошицам, еще плохо разбираясь в событиях, они, а за ними и еврейские буржуа, в качестве хорошо вышколенных мадьярофилов поспешили украсить дома национальными флагами — бело-зелено-красными: «наши возвращаются»!.. Вступив в город, красноармейцы обкарнали полотнища. Что же, при виде красных флагов патриотизм тотчас же исчез. «Освободителями» оказались чешские батальоны!

С тех пор многое переменилось, в Будапеште, как известно, хозяйничает Хорти, и, конечно же, вся зажиточная часть мадьярского населения теперь охвачена преискренним ирредентизмом. Вчерашние владетели необъятных угодий, виноградников, копей, конных заводов, они пьют «асу» из уцелевших погребов за здоровье того великодушного лорда Ротзермера, который взял сторону обиженных венгров. Они даже шлют этому заступнику несколько сугубо заплесневевших бутылок. Щедро оплачивают они труды независимых журналистов и сентиментальных политиков. Что касается рабочих-венгров, то эти молчат, угрюмо, решительно молчат. Видимо, им вовсе не охота попасть в число облагодетельствованных подданных симпатичного Хорти. Однако изменись положение, и сегодняшние ирредентисты станут вполне лойяльными гражданами, а пересмотра границы станут требовать рабочие. Таковы длительность и сила патриотических чувствований в наши дни.

Немцев в Словакии сравнительно немного, и большая часть их живет в городках Спишской жупы, которые сохранили немецкий характер, несмотря на мадъяризацию, проводившуюся во второй половине прошлого века. Вопрос о присоединении к отечеству немцев интересует чрезвычайно мало. Они предпочитают классическую стойкость колонистов. Ревниво хранят они свой язык и свои школы. Они зорко следят за духовной жизнью Германии. Они читают немецкие газеты и журналы, причем скорей журналы, нежели газеты. В каждом крохотном местечке — библиотека. Таковы они всюду — в Лодзи и в Цюрихе, в Риге и в Страсбурге. Очевидно представителям нации сильной и внутренно богатой свойственно центробежное начало. Не припасть к своей стране они хотят, но разнести ее дух по всему свету.

Конечно, известное отчуждение, если и не высокомерие, присуще словацким немцам. Немудрено — они представляют здесь иной мир: это прежде всего горожане и граждане, то есть люди камня и закона, среди леса, соломы, растяпства и благодушия. Венгры не более словаков понимали, что такое город. Их города росли в длину. Немецкие города росли вверх: их надо было защищать. Они строились добросовестно и надолго. Теперь это тихие захолустья, но любой дом твердит о былой мощи и о былой пышности. Левоча, Баньска Быстрица, Кежмарок — богатейшие музеи, где что ни здание, то художественный памятник. Находись они в другой стране, не было бы здесь прохода от англичан с бедекерами.

Среди обывателей принято воспринимать немцев, выходивших за пределы своей страны, как носителей грубой силы, которая начисто уничтожала ростки туземной культуры. Каску бисмаркского солдата надевают и на его прадеда, философа и заправского гуманиста, и на его внука, скромного коммивояжера. Глядя на скульптуру Левочского собора или на порталы домов эпохи высокого Возрождения, догадываешься, какой свет разносили по дебрям и болотам авантюристы и аскеты старой Германии. Те же руки строили и Нюренберг, и Краков, и Левочу. Все это теперь сухие даты и имена, известные только историку искусств, но тогда это было живой жизнью. И может быть провинциальные спишские немцы, с их фарфоровыми трубками и переплетенными классиками, выписывающие препошлую «Ди Вохе», обзаводящиеся понемногу автомобилями и граммофонами, только продолжают дело своих предков? Может быть одна цепь вяжет нюренбергского мастера, который на диво окрестным крестьянам, еще не знавшим, что такое настоящий фундамент, построил этот замечательный собор, и пронырливого агента машинной фабрики, демонстрирующего сегодня электрическую маслобойку?

7. Брак по расчету.

Историческую роль немцев исполняют теперь в Словакии чехи. Порой кажется, что они, став учителями, повторяют зады, услышанные ими в младенчестве от немецких гувернеров. Ученики ведут себя вполне пристойно. Нельзя сказать, чтоб они очень любили учителей, — нет, о любви только принято говорить на торжественных заседаниях в актовых залах. Но они их в меру уважают и главное — не ропщут. Остальное — сантименты, мало интересные для чехов, которые люди государственные, а следовательно деловые.

Чехи в Словакии — служилое сословие: «урядные» начальники, следователи, финансовые инспектора, жандармы. После переворота ринулись они на готовые места. Винить их не приходится: словаки сами никак управиться не могли. Остряки заверяют, что в канцеляриях тогда было больше стульев, нежели во всей Словакии хорошо грамотных людей. Теперь положение, разумеется, изменилось: словаки подучились, да и

новое поколение подросло. Но легче, кажется, устроить переворот, нежели оторвать соответствующую часть тела от кресла или хотя бы от вульгарного стула. С насиженных мест чехи не уходят и вряд ли так скоро уйдут. Это не «империализм», это не «братская услуга», это только правильно организованная опека, при которой равно соблюдаются и самолюбие опекаемого и интересы опекуна.

Чешский и словацкий язык очень схожи друг с другом, но русский гораздо скорее начинает понимать словацкую речь. Дело в выговоре. Это относится не только к языку, — у словаков во всем сохранился славянский «выговор». Они ведь не знали систематической и высокопробной германизации, которая почти стерла психологическую границу между Саксонией и Богемией. Словацкий рабочий хорошо понимает чешского: завод то место, где чех — дома, где он законно верховодит. Чех не только покажет, как надо обращаться с машиной, — он научит и как устроить забастовку. В словацком рабочем движении чехи играли, да отчасти и продолжают играть, роль руководителей. Здесь нет места национальному отталкиванию. Другое дело — крестьяне. Чешская и словацкая деревня разделены не сотнями километров, даже не веками, это два несовместимых мира.

Один зволенский крестьянин сказал мне: «Чудной народ эти чехи: они и судьи, и чиновники, и коменданты в балаганах, и жандармы. А я вот готов об заклад биться, что нет среди них ни одного обыкновенного крестьянина». Трудно было бы выиграть у этого философа пари. Если показать ему чешскую деревню, где крестьяне ездят на велосипедах, где носят они крахмальные воротнички и отплясывают фокстрот, где тракторы, кооперативы, довольство и скупость, он ответит, что это вовсе не деревня, а какая-то хитроумная «панская» затея. Дело не только в усовершенствованных формах земледелия, дело в национальном складе. Здесь становится очевидным, что два народа, живущих рядом, говорящих чуть ли не на одном языке, разделены границей куда более ощутимой, нежели десятки государственных границ, вычерченных перьями дипломатов.

В одном из словацких городков видел я курьезную свадьбу: невеста-крестьянка в национальном костюме, очень молодая и очень красивая, все время вспыхивающая под неодобрительными взглядами жениха. Он тоже из крестьян (достаточно посмотреть на его руки!), но он об этом старается забыть. Он как бы кричит о своем высоком положении крахмальной манишкой, булавкой в галстуке, топорной галантностью захолустного бакалейного лавочника. Все время он читает своей девушке нотации: «Вот это можно, а этого нельзя... эх, ты деревенщина!»... Он получает приличный оклад. Красотой он, правда, не отличается, зато у него самопишущее перо. Девушка готова заплакать. От смущения? От радости? Или, может быть, от обиды?

Эту парочку я неизменно вспоминаю, думая об одном супружеском сожительстве, именуемом «Чехо-Словакией». Ведь они счастливы — не

правда ли?.. А брак по любви — послушайте, что говорят разные резонеры, — это только хлопоты, слезы, порой и серная кислота. Муж трогательно заботится о своей деревенской половине. Говорю я это безо всякой иронии: число школ возросло, кооперация развивается, дороги улучшились, пьянство сократилось — страна становится на ноги. Если при всем этом несколько пострадала душевная структура деревенской красавицы, то на весах 1928 г. хорошее шоссе важнее благородных чувств.

Однако порой супружеская заботливость начинает выводить из себя даже кротчайшую женщину. Много венгерских законов не спешат отменить, потому что они, мол, более соответствуют низкому развитию Словакии. Цензура тоже для «малосознательного элемента» куда строже. Государство одно, а вот «Потемкина» разрешили в Чехии, но не в Словакии. Культурные чехи еще способны вынести подобное зрелище, но «дикие» словаки чего доброго выйдут все из кинематографа на улицу разбойниками Яношиками. Братиславским критикам, чтобы повидать фильму, пришлось съездить в Вену. Это, разумеется, мелочь, но достаточно показательная для домашнего быта государственной четы.

В Турчанском Святом Мартине видел я экскурсию чешских «соколов». Экскурсия по-чешски «вылет». Здесь был вернее налет. На тихий словацкий городок налетели лавочники и фермеры в оперных костюмах, неся, как новое евангелие, мелочную честность и шведскую гимнастику. Они устроили крикливый парад, поговорили всласть о своем «сокольском» супер-патриотизме, а потом начали дуть пиво. Кстати сказать, до «замужества» Словакия вовсе не знала этого пойла, увеличивающего животы и усыпляющего воображение. Выпив каждый несколько литров, «соколы» пошли танцовать фокстрот. А вокруг, разинув рты, стояла словацкая детвора. Что касается «непримиримых», то они сидели дома, закрыв поплотнее ставни. Они, разумеется, неправы: понятие «чехизация» здесь уж органически связано с понятием «современность». Эти ребята вместе с грамотой, с устройством трактора или мотора усвоят несколько сотен чешских слов и несколько десятков чешских привычек. Они будут, вероятно, пить пиво, ведь пиво веселее воды и дешевле вина, а экономными-то они обязательно будут. Зачем же корить чехов? Они только люди своего времени. Может быть азы современности и звучали бы несколько иначе в иных устах, но ведь, скажем это прямо, у деревенской красавицы вовсе не было богатого выбора, так что привередничать ей не приходилось.

8. Корчма и Реби Акиба.

В каждой словацкой деревне имеется обязательно хоть один еврей — корчмарь. Легче, кажется, прожить без «фарара», нежели без такого еврея. Если лавочка — отдельно от корчмы, значит в деревне два еврея. Если в деревне несколько лавочек, будьте уверены — где-нибудь между овином и хлевом притаилась синагога. В западной и центральной Словакии евреи «цивилизованные»: они ходят в европейском платье, говорят

по-мадьярски или по-немецки, а из десяти талмудских запретов выполняют один, притом наименее обременительный. Они хотят быть просвещенными лавочниками и либеральными корчмарями. Отсюда-то все беды. Сын, например, плохо понимает отца. Дело в том, что каждый корчмарь, верный национальным традициям, убежден в гениальности своих детей: «Они, наверное, выйдут в люди», то есть станут министрами или, на худой конец, маклерами. Для этого необходимо знание государственного языка. Сначала все евреи говорили по-немецки и были весьма далеки от проблемы лингвистики, но здесь-то началась мадьяризация. Будапешт — большой город, столица... Делать нечего, отцы, говорившие по-немецки, стали посылать своих детей в мадьярские школы. Мадьярский язык — трудный язык, но карьера — святое дело. Так выросло поколение, говорившее по-мадьярски. Кажется, на этом можно было бы успокоиться, но вот началась война и в итоге ее появилась какая-то «Чехо-Словакия». Вначале евреи недоверчиво усмехались: «Посмотрим, насколько это...» Выяснилось, что надолго. Тогда встал вопрос, какому же языку теперь учиться? Прага — столица, большой город... Где только возможно, будь то Словакия или Подкарпатская Русь, евреи посылают своих детей в чешские школы.

Крестьянам это наруку. Приходила бумага из города, — кто же мог ее прочитать, кроме корчмаря. Это вообще местный полиглот. Он умеет написать адрес в Америку. И притом с ним нечего церемониться, как с «фараром» или с учителем, он все-таки наполовину «свой», деревенский. Антисемитизма в Словакии почти что нет — это только профессия нескольких захудалых журналистов, которые учатся мировой политике по статьям польских «Двух грошей». Для настоящего антисемитизма здесь нет еще почвы: среди словаков нет корчмарей, мало и докторов или дантистов. А вот корчмарь отпускает «паленку» в долг... За дочкой его — так уж положено — волочатся деревенские ловеласы. Набожные старики уважают корчмаря: «он свой закон блюдет». Сын его читает газету и знает уйму всяческих новостей. В восточной Словакии и в Подкарпатской Руси еще сохранился древний обычай: крестьянин на Новый год должен накормить какого-нибудь еврея доотвала, не то стрясется беда. Евреи не едят «трефного», выход, однако, найден: им дают «натурой» — муку, крупу, масло. Но горе, если нет еврея или если не придет он, рассорившись с хозяином! Словом, еврей — это совершенно необходимая принадлежность любой деревушки.

В восточной Словакии евреи иные: это «хасиды», тесно связанные со своими польскими единоверцами. Они носят длинные лапсердаки, а в субботу меховые шляпы, туфли, белые чулки. Говорят они на «идиш» и газет вовсе не читают. Это мрачные изуверы, из жизнерадостного некогда «хасидизма» создавшие религию запретов, фанатизма и суеверия. В Мукачеве недавно два «чадика» принялись проклинать друг друга всеми библейскими проклятьями, а их приверженцы, те взялись за палки и за камни, так что в религиозный диспут пришлось вмешаться полиции.

Не знаю, чего больше в этих религиозных отправлениях: наивности или лицемерия. Приехали мы в глухую деревушку возле польской границы. Нет папирос. Где здесь «трафик»? Зайдя в корчму, я увидел седого пейсатого еврея, склоненного над огромной книжищей в кожаном переплете. Подсвечники... Вот что — оказывается, сегодня суббота! Табачная лавка — учреждение государственное, она должна быть открыта и в субботу. Крестьяне, те знают и запасаются всем заранее. Но вот мы нагрянули... «Обождите немного»... Посылают в деревню за «шабес-гоем», то есть за словаком. Но время горячее — все на работе в полях. «Возьмите сами папиросы, вот в том углу». Я спрашиваю, сколько стоит? — «Вы ведь сами знаете». Нет, я не знаю — папиросы другой марки. Тогда— шопотом, на ухо, чтобы господь бог не услышал: «Семь геллеров»... И снова трясется борода над старой книгой, замаливая свеженький грех.

О чем говорить тут — деньги корчмари любят! Молодой этнограф Богатырев обошел пешком чуть ли не всю Подкарпатскую Русь. Повсюду крестьяне его потчевали кислым молоком или хлебом, отказываясь от денег. Человек забыл совершенно все законы капиталистического общества. Вот и попал он как-то к еврею-корчмарю. Выпил стакан чаю, благодарит: «Данке», но тот весь перепуганный как закричит: «Кайн данке! Эйне кроне!»..

На севере Словакии находится городишка Бардиев, словаков там мало — русские, цыгане и евреи. Евреев около тысячи душ, из них восемьсот — лавочники или ремесленники с достатком, а двести — нищие, причем эти нищие живут тем, что ходят побираться к восьмистам, из дома в дом. Все они, разумеется, «хасиды». Я попал туда в пятницу вечером. Из всех окон раздается заунывное пенье: что ни дом, то молельня. В главной синагоге «хасиды» приплясывают. Даже в нищих домах сверкают обязательные свечи. Эти евреи неприступны. Они продадут вам мыло или булку, разговаривать с вами они не станут. Пройдите мимо них с фотографическим аппаратом, они на всякий случай закроют руками лицо. В городе четырнадцать отщепенцев, еретиков, безумцев. С ними никто не разговаривает. Знаете, кто такие эти страшные «революционеры»? Сионисты! На выборах бардиевские евреи голосуют за самую правую партию— за «католических клерикал». Это похоже на анекдот, но это сущая правда. Во-первых, чтобы был «порядок», во-вторых, чтоб угодить своим самым непримиримым врагам, в-третьих, чтобы никто не подумал, что они сочувствуют каким-то сумасшедшим коммунистам, как это сделали преступные евреи в Будапеште и в Москве.

Недалеко от города целебные источники. Туда приезжают лечиться хасиды из Словакии и из Подкарпатской Руси. Едут они не в автобусах, но на телегах — это, оказывается, более соответствует Моисееву закону. Тощая лошаденка, в такт качаются пять выхоленных бород. В целительность минеральных вод евреи верят свято, почти как в талмуд. Приезжают сюда даже прославленные «цадики»; они ходят с кружками воды, окруженные богомольными взглядами последователей, которые ждут, какое

золотое слово проронит учитель между двумя глотками наредкость тухлой воды. Здесь «цадики», однако, не работают, они в отпуску, они предпочитают вместо исцеления «хасидов» своей мудростью самим полечиться от застарелых катаров.

Отъединенность от мира, верность уж не закону, но полупонятным словам, почти значкам алфавита, этому черному пятнистому сну, особенно разительны здесь, среди незадачливых полей, среди простой деревенской жизни. Возле Попрада я видел маленькое село, где помещается высшая раввинская школа. Туда присылают бледнолицых пейсатых подростков, и там изучают они талмуд, окруженные гусями и сострадательными взглядами словацких баб. Годы и годы проходят. Юноша все накручивает на палец пейс, обдумывая, «что хотел сказать этим словом мудрый реби Акиба?..» Не видит он ни гусей, ни баб, ни неба, ни жизни. Он заведомо мертв, и не этой ли добровольной смертью окупается вся баснословная живучесть его народа?..

9. Свобода!

Отъединенностью и живучестью евреям родственны другие постояльцы словацких деревень — цыгане. Но здесь нет ни мечтаний о государственной карьере, ни раздумий над притчами мудрого Акибы. Самый большой чин, до которого может дорваться цыган, — это «первая скрипка» кошицкого кафешантана, а к религии он чрезвычайно равнодушен. Правда, он числится католиком, но этим и ограничивается дело. В церковь цыгане никогда не ходят, предпочитая валяться на солнце, резаться в карты или, при наличии лирического настроения, петь. Большинство словацких цыган ведет оседлый образ жизни, следовательно среди них немало избирателей. За какую же партию могут голосовать эти беспокойные фантасты?.. Выбором они себя не утруждают. Нет, кажется, еще никто не видал цыгана с избирательным бюллетенем. Что касается кочевых цыган, для тех безразличны не только политические партии, но и государственные границы. С беспечностью иных столетий переходят они в Венгрию или в Румынию. Что им Трианонский мир, консульства и визы?..

На окраине любой деревни имеется несколько грязных полуразвалившихся хижин; там ютятся цыгане. В словацких избах тьма-тьмущая всякой бережно расставленной или развешенной дребедени: блюдечки, открытки, пасхальные яйца, олеографии, подушки. Здесь — хоть шаром покати. Когда стоят руины кровати, а когда и того нет — спят на земле вповалку. Вместо сложных «фертушков» и чепчиков — несколько ярких тряпок: или рубашка или штаны (то и другое, видимо, почитается крайним излишеством). Ребята зачастую вовсе голые. У старух — наружу дряблые груди: скрывать больше незачем. Так рядом с деревянными церквами, с этими сестрами нашего далекого севера, рядом с белобрысыми словацкими детьми, рядом со всей славянской тишиной и медлительностью расположились подлинные негритянские деревни: голые тела, темнобронзовые, гортанная резкая речь, музыка, по трагизму веселости схожая с

сказом, избы без дверей, двери без запоров, без запоров жизнь — все наружу: и котелок старухи-ведьмы, где варится какой-то преехидный «гуляш», и парень, облапивший красавицу лет этак двенадцати, и почтенный «вайда» — вождь племени, с коренастой дубиной, наводящий свой, цыганский порядок, а пока что выискивающий на волосатой груди вшей.

Чем живут они помимо солнца и веселья? Трудно ответить на этот вопрос — всем или, если угодно, ничем. Дали им землю, пробовали пристрастить к земледелию. Ничего из этого, конечно, не вышло. Ко всякому постоянному труду цыгане чувствуют непреодолимое отвращение. Порой мужчины нанимаются на самые тяжелые и неблагодарные работы: дробят камень или таскают лес, хоть силой они уж никак не отличаются — эта работа на время, на несколько дней, отработав можно месяц валяться на солнцепеке. Еще занимаются они своими традиционными цыганскими ремеслами, которые повсюду одни: и в Испании и в России: лудят посуду, обжигают кирпичи, гадают, крадут лошадей, нищенствуют и, конечно, музыканствуют. Словаки куда хуже знают свои народные песни, нежели цыгане, и без цыган не обходится ни одной свадьбы, ни одних поминок. Будьте уверены, вот у этого красавца рубахи нет, но скрипка у него непременно имеется. Здесь-то открывается единственная возможность выдвижения: попасть в город! В Словакии повсюду музыка, даже в самой дрянной харчевне: за музыкантов — понятно, цыгане. Слух у них изумительный, и сыграют они все: и словацкие старые песни, и фокстрот и Вагнера, причем даже знаменитейшие виртуозы, все осыпанные брелоками, безграмотны и нот не читают. Свои песни цыгане исполняют неохотно, как будто даже стыдятся их. Но когда начинают, загораются, старики подпевают, а детвора — голая, грязная, отчаянная детвора — в экстазе танцует не то чардаш, не то доморощенный чарльстон.

Середины нет ни в цыганской судьбе ни в цыганском костюме: вчера он гулял без рубахи, а сегодня попал в какой-нибудь городской оркестр и сразу напяливает на себя фрак. Бывают падения: «первая скрипка», спившись, возвращается назад в лачугу, где фрак уж донашивается без рубахи, прямо на тело, вызывая загадочными своими фалдами богомольный трепет детей.

Обучение в Словакии обязательное, и цыганских детей берут в школы. Все учителя в один голос говорили мне, что ученики они наредкость способные, но и наредкость ленивые. Вдруг пропадает мальчонок на месяц-другой. «Болен был?» — «Нет».—«Почему же ты в школу не ходил?» — «Не хотелось» — это без всякого вызова, вполне естественно: «не хотелось», как его отцу не хотелось работать, оба лежали на пригорке. Возле Ужгорода я видал цыганскую школу, учат там и по-цыгански и по-словацки. Опять-таки дети все мигом схватывают, в двенадцать лет он чуть ли не ученый, а в шестнадцать уж не помнит, чему его учили и зачем.

Сходясь с женщиной, цыган ее холит и ревнует, крадет для нее, что подвернется под руку, покупает на толкучке тряпье поярче. Когда на-

доест жить вместе, супруги премирно расходятся. Между двумя «браками», краткими, но отменными по силе страстей и по сугуб ности, женщина подрабатывает: цыганские шалаши — это пуб. дома словацких деревень. Понравится снова цыгану и снова будет н ной женой. Свадьбу справляют с восточной пышностью, собирают гане со всего уезда и приносят обязательно подарки: кто тряп бусы, кто старую кастрюлю, а кто и четверть дохлой лошади. Ни поделаешь, в выборе съестных продуктов цыганам на приходится редничать, они едят и дохлятину. Власти приказали обливать н скотину керосином, но даже это не помогло. И правда, чем запах ке хуже запаха падали?..

Обвиняют их сейчас в пристрастии к другому харчу: я был в ской деревушке Молдава, — там тихо, уныло, не кричат ребята, с чей не видно, сам «вайда» повесил голову. Сорок «молдавцев» с тюрьме по обвинению в людоедстве. Предварительное следствие установило, что они съели шесть человек. Дело это темное, и как верится, чтобы цыгане стали есть людей: уж больно это изыска хлопотно, а они прежде всего неприхотливы. Разве не могли бы они как словаки? Но нет, они предпочитают лохмотья, землянки, дохл заботясь об одном: как бы сберечь свою свободу.

Да, вот он пафос всей пестрой, нищей и загадочной для евр жизни: свобода!.. Глядя на танцы цыганских детей в Важице или н диевскую слободку, понимаешь, что поэма Пушкина не только лите ный памятник эпохи, не только профессиональная романтика по: это еще достоверность, точная как отчет этнографа. В Тистовце смуглых цыган можно увидеть одного русого с светлосиними гл: Это словак. Он был крестьянином, вел хозяйство, работал. А пот что-то понял или что-то перестал понимать. Вот он здесь, уже в лохм Он вполне счастлив. Крестьяне, говоря о нем, сумрачно машут р «Ушел человек к цыганам»... Это не перемена местожительства или фессии, — это иное, что пугает флегматичных домоседов, пугает, быть, своей высокой притягательностью, как безумье или сон.

10. Пряшевская русь.

О существовании Подкарпатской (или Угорской) Руси в Р хоть смутно да знают, но вот уж наверное никто не подозревает, что ствует какая-то Пряшевская Русь, которая упорно отстаивает свои на русский язык. Это — горная область восточной Словакии, узкая по. скудной земли, на которую мало кто зарится. Русских давно уже выт ли с равнины, остались они только в «верховине», то есть в горах. I езжая к Карпатам, замечаешь, как постепенно меняются деревни, зают пестрые одежды, вместо костелов — деревянные церковки с кр ми куполами, еще беднее глядят крытые соломой хаты. Разговари чужестранцем, то есть с «паном», крестьяне стараются объяснитьс

словацки. Да, как и ни чудно это, здесь словацкий — «панский» язык. На вопрос, кто они, крестьяне, однако, отвечают без обиняков: «мы русские», и друг с другом говорят они на карпато-русском наречьи. Оно кажется смесью русского, украинского, белорусского языков со многими «мадьяризмами» и «словакизмами». Как бы ни был причудлив этот язык, мы хорошо понимаем их, они — нас. Не знаю, чье удивление сильнее: крестьян деревни Никлова, к которым приехали «люди из Москвы», или наше при виде этих соплеменников, сберегших среди многовековых гонений и нищеты родной русский язык.

По официальным данным, в Пряшевской Руси живет 85 000 русских. Цифра эта много ниже действительности. Она основана на переписи, произведенной вскоре после войны. Крестьяне, еще вдоволь запуганные и плохо разбиравшиеся, к чему клонят дело, на вопрос о национальности сплошь да рядом отвечали: «словаки». Во многих деревнях нам говорили: «Вот теперь переписывать будут — все объявимся русскими», «Подаем прошение, чтобы в школе учили по-нашему, по-русски»...

Вопрос о Пряшевской Руси уж по своему масштабу никак не может стать вопросом «высокой политики». Но психологу небезынтересно будет отметить еще одно приложение старой басни о зайце и о лягушке. Кто же лучше словаков знает, что такое национальный гнет? Их давили и немцы и мадьяры. Теперь они узнали вежливый, если угодно задушевный, «прижим» чехов. Все это, разумеется, оправдывалось и оправдывается «культурным превосходством». Что же мы видим? Оказывается, при случае и словаки не прочь заняться тем же. Здесь они чувствуют «культурное превосходство» и во-всю стараются словакизировать русских. У людей, привыкших скорей к жалобам или причитаниям, находятся ноты высокомерия. Что касается аргументации, таковая перемене не подлежит. Словацкий администратор пожимает плечами: «Русские? Здесь нет никаких русских. Это просто словаки греко-католического вероисповедания, которые говорят на местном говоре»... Как быстро усваивают дети все повадки старших!

В Пряшеве — центр «русской интеллигенции», то есть там живет человек сто русских со средним образованием. Там — учительская семинария, типография с кириллицей, книжная лавка. Пряшев — богатый городок, торговля почти целиком в руках евреев. Пышен католический собор, пышны фасады ренессансных домов, есть здесь осанка и чванство немецких зодчих, венгерских администраторов, еврейских буржуа. С окрестными селами город связан только базаром. А помимо Пряшева и вовсе нет городов. Не считать же за таковые хасидско-цыганский Бардиев или разрушенный в годы войны, так и не отстроившийся Зборов?.. В прошлом столетии Пряшев был духовной столицей Подкарпатской Руси. Здесь назначались тайные совещания, печатались русские книги и журналы. Теперь новая произвольная граница отделила «словацкий» Пряшев от якобы автономной Подкарпатской Руси.

На юг от Пряшева до Кошиц и дальше желтеют тучные нивы. Русских там нет. Русские прижаты вплотную к Карпатам, где только леса,

принадлежащие государству, да овцы — эти крестьянские, они і богатство. Кулаки здесь не водятся. Одежды женщин много прош вацкой, расшиты только обшлага рукавов: «чтоб не трепались»... О стости словацких костюмов русские бабы говорят с легким прене(нием. Это не отсутствие умения, но иной художественный строй. М и в здешних церквах орнаментального начала, постройки строже, ф вая живопись монументальней, чувствуется забота о чистоте форм і декоративных пятен. Старинные церкви Никловой или Мирошоі обычайно хороши. Мало кто о них знает, и уж никто о них не забо Они тихо гниют и вскоре сгниют, если не сожгут их до того крес рассуждающие так: «Деревянная церковь — срам для села, надо вить каменную»... Две церкви, впрочем, спасены: их разобрали по нам и перевезли в музей.

Приверженность крестьян к религии здесь в сильной степени диктована национальным вопросом. Православное, да и униатско ховенство отстаивало русский язык. В противовес судье, жандарм частую и учителю, поп был «своим», «русским человеком». Рассказы Подкарпатской Руси, я подробней остановлюсь на этом любопытном нии, и тогда понятным станет, как это крестьяне-коммунисты ухитр быть одновременно церковными старостами.

Оторвавшись от русского языка, карпато-русское наречье сохр архаический характер. К тому же литераторы прослоили его церк славянизмами. Вот почему, проглядывая учебник физики, издан Пряшеве, думаешь — не анекдотический ли дьякон его составлял зирая на сии газы совокупно»...

Что станет с «пряшевчанами»? Сохранят ли они свой язык до часа, когда Подкарпатская Русь получит возможность распоряж своей судьбой? Или словакам удастся то, что не удалось немцам и м рам?.. В полях возле Зборова тысячи и тысячи крестов. Это — рус русские не из Пряшевской Руси, нет, из Калужской или из Перм губерний, пригнанные сюда на верную смерть. Они, наверное, немало вились, после долгих переходов попав к «землякам». Они остались з среди этих нечаянных и неведомых соплеменников. Еще кладбище, е Эти братские могилы как бы предостерегают. Дело ведь не только в і риализме Санкт-Петербурга или Вены. «Москва», «Россия», «СС(эти слова здесь определяют и акафисты, и избирательные бюллете жаркий шопот молодых парней в летние грозные вечера. Великое де родной язык, но, может быть, человеческая жизнь еще выше?..

11. Любовь не вчуже.

Побывал я снова и в Польше; правда, это мое посещение было ве кратким и для поляков никак не обременительным: в Татрах поль пограничники, приняв нас за чехов, милостиво нам разрешили осве ся в польской корчме. В избе, где, конечно, уж красовался «мар

мы разговаривали друг с другом по-словацки или по-французски, боясь обронить русское слово, как нелегальную прокламацию. Если б только узнали эти симпатичные жандармы, что у нас за паспорта в кармане!.. А вернувшись полчаса спустя назад в Словакию, мы почувствовали себя чуть ли не дома: ведь здесь слово «русский» открывает все двери и все сердца. Да, кажется, Словакия — теперь единственная в Европе страна, где русский путешественник — это нечто вроде американца в Париже, хоть он не обладает ни долларами ни прочими достоинствами этой породы. Власти всюду предоставляли нам средства передвижения, музеи оказывались доступными даже вечером, страну нам показывали, отрываясь от работы или от летнего отдыха, друзья-словаки, в любой избе крестьяне, узнав, что мы — русские, становились радушнее и разговорчивей. Таково обаяние нашей страны.

Немецкие рабочие любят теперь Москву за то, что революция разразилась именно здесь, на таком-то градусе долготы и широты. Французские рантьеры, те тоже любили Россию — до революции. А крестьянская Словакия в любви верна и последовательна. Для нее наша революция не случай — приключилось здесь, а могло бы приключиться и в Копенгагене, — нет, то, что словаки любили в нашей великой литературе и в нашей грубоватой, приземистой истории, они тотчас же опознали и в нетвердой поступи «земляков» 17-го года, которая была на самом деле поступью очередных гегемонов Европы.

На культе России воспитывалась вся словацкая интеллигенция прошлого века. Об этом говорят и могильные надписи в Святом Мартине, составленные на русском языке, и названия улиц: «улица Толстого», «улица Пушкина», «улица Гоголя», и каталоги библиотек, где русские писатели на первом месте, и все романтическое, слегка наивное, слегка подслеповатое руссофильство стариков, безотносительно от развития и положения: старых политиков, старых учителей, старых «бачей».

Дети этих мечтателей узнали Россию. Многие побывали в плену; вернувшись домой, они заполнили глухие деревушки рассказами о Сибири и о Волге, о русской широте, о революции. Нет деревни, где бы не нашлось хоть одного крестьянина, побывавшего в России и знающего русский язык. Наши пленные, находившиеся в Словакии, дополнили это знакомство. Для молодежи «Москва» после революции стала вдвойне милой. Новый смысл, влагаемый в это дорогое сызмальства имя, преобразил все словацкое руссофильство, сделал его снова действенным, связал любовь в России с любовью к современности.

Нашелся в Словакии листок, издаваемый местным отделением чешской партии Крамаржа, «Народни деник», который написал: «Политический атташе Роман Якобсон знакомится с положением на коммунистическом словацком фронте, а чтобы замести следы, он возит с собой «писателя» Элиаша Эренбурга». Что же, вся словацкая печать возмутилась. Весьма умеренный «Словенски деник» заявил, что выходки «крамаржевцев» противны, мол, и традиционной дружбе и законам гостеприимства.

Да, нелегко здесь разойтись соответствующим журналистам: проти чувства народа, который хоть и плохо разбирается в партийной ск однако хорошо знает, к кому и к чему лежит его душа. Как только ра зать, что делалось в маленьких словацких городишках, когда дошли известия об успехе «Красина». Здесь стирались грани между парт и всем дипломатам на зло этот столь далекий от «политики» подви вращался в триумф народа и государства.

Любовь молодой Словакии к сегодняшней России отнюдь не с В школах вводят теперь русский язык. Словаки жадно читают новы ских писателей. Местные газеты переполнены известиями о жизни С Это не страсть вчуже, это и духовный оплот. Словаки твердо помня мы — их естественные соседи. Всякому ясно, что Подкарпатская рано или поздно отойдет туда, куда она хочет и должна отойти. Межд и СССР — только узкая полоска западной Украины. Тогда то государ о котором деды слагали песни, похожие на сон, и о котором теперь п в газетных передовицах, как о баснословном Яношике, окажется р под боком. Так будут уравновешены различные влияния, и Слов сможет итти своим путем: ведь дерево, обдуваемое встречными вет не гнется к земле, но растет вверх.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Рассказы о городах и людях.

Георгий Устинов.

I.

Рыбинск и рыбинцы [1]).

I.

Тайна загадочных богатств, неизвесть откуда взявшихся, всегда — в преступлении, забытом, потому что дело было сделано чисто.

О. Бальзак. (Отец Горио).

Дождь. Мутно лоснится перрон, окна вокзала покрыты белесоватыми брызгами, в калужинах серебряными искрами вспыхивают и гаснут водяные пузырьки. Устало вздыхает паровоз. Тяжело отдуваясь мутно-голубоватым паром, из вагонов, неуклюже вытягивая ноги на ступени, выходят несколько пассажиров с чемоданами, с корзинами, с мешками, с пухлыми постелями, туго засупоненными в ремни. Кто-то кого-то встречает, слышны восклицания, смех, иногда — всхлипывания, иногда — восторженная брань: «Ах ты, леший!.. Да ведь это и в самом деле Николка!.. Давай же поцелуемся, чорт тебя подери!..» Заспанные лица, освеженные холодными брызгами, веселеют, на щеках выступает румянец: приехавшие торопливо перебегают перрон вокзальные залы и коридоры, выходят в подъезд. Мягко дробят по мокрой мостовой колеса извозчичьих пролеток, лошади фыркают и крутят тугими жгутами завязанных хвостов: городские строения, темные от дождя, приземились и кажутся постаревшими.

Улицы — кривые, с вскорёженной мостовой, с деревянными, кирпичными, асфальтовыми тротуарами — безлюдны: тяжелым пологом повисла над ними серая изморось на окнах скучают цветы под добродетельными тюлевыми занавесками. Знакомые улицы!.. Здесь когда-то я жил, отшагивал по волнистым дырявым тротуарам всласть отведал гробообразной одиночки в тюрьме. Так же как и я, постарел рыбинский тюремный замок, нахлюпились дома, покачнулись палисады, прибавилось много ухабов на мос... й... Нам за это время легло на плечи 16 лет — и каких лет!.. Постаревшие улицы обновлены свежими названиями, старые купе-

[1]) Это первый очерк из серии «Рассказов о городах и людях». Последующие — об Ярославле, о Костроме, о Н. Новгороде и др. — будут даны в очередных книжках «Красной нови».

ческие дома превратились в общественные учреждения, в клубы, в ки театры, в библиотеки, в больницы и амбулатории. Центральная торгов улица — Крестовая — ныне называется проспектом имени Ленина. з ние рыбинской хлебной биржи, возвышающееся на самом берегу Вол стало теперь медицинской клиникой. Когда-то был тут очень хорош городской театр, стоявший в начале парка, — огромное кирпичное з ние, сооруженное на средства рыбинского купечества, — теперь на ме театра — унылая багровая лысина. В театре этом случился пожар, у чтоживший сцену и все деревянные предметы и сооружения внутри здани На реставрацию театра потребовалось бы всего несколько тысяч рубле а театр стоил свыше миллиона. Но у бедного рыбинского коммунхоза было сверхсметных средств, а у заведывающего коммунхозом в голо нехватало каких-то частей. И огромное здание театра, почти не постр давшее от пожара, по приказу коммунхозного зава, было подвергну самому варварскому разрушению. Зав хотел обогатить коммунхозн кассу за счет этого здания мечтая продать кирпич, но театр был постро настолько прочно, железные связи впились почти в каждый кирпич н столько глубоко, — что из всего театрального здания, после длительн работы огромной артели чернорабочих, осталась лишь огромная ку щебня, от продажи которой откомхозный зав едва ли выручил достаточн сумму, чтобы заплатить рабочим за произведенные ими разрушения.

* * *

На кожаный вѐрх пролетки горохом сыплется дождь, лошадь пом нутно спотыкается на ухабах, соборная колокольня выбивает часы; т четверти двенадцатого. Четверти выбиваются мелодично, перезвона маленьких колоколов, часы — уныло и однотонно, как во время похоро Когда звон замолкает, шум дождя и цоканье подков по мокрой мостовой все звуки улицы становятся гулкими, как в сводчатом каменном подвал

«Сан-Ремо»... Бывшая «Коммерческая гостиница» Ефремова, ны гостиница ЦРК — рыбинского центрального рабочего кооператив Извозчик перед гостиницей сильно разогнал лошадь и осадил ее у само подъезда — совсем «как в столицах». ЦРК — гостиничный монополис от него никуда не уйдешь если ты решил на некоторое время остановитьс в Рыбинске. Мне дали небольшой, но достаточно сырой и грязноватый н мер с железной больничной кроватью с жестким арестантским кусачи одеялом без пододеяльника, с единственной тощей блиноподобной подуш кой, с матрацом видавшим повидимому всякие виды и оттого мстительны и жестоким. Его пружины при каждом вашем движении впиваются в тел как наилучшие аптекарские пиявки и при этом издают такие звуки, точн под вашей кроватью кто-то начинает ремонтировать вконец разлади шуюся шарманку. Если вы лежите смирно, то до вашего слуха весьма о четливо доносится подобная же музыка из соседних номеров, причем к не нередко присоединяются довольно сильные выражения отдыхающих та квартирантов. Мебель в номере могла бы украсить лавочку любого ба чужного антиквара. Обеденный стол в бурных жизненных перипетия потерял возможность твердо держаться на своих ногах когда-то ломбер ный столик играет роль письменного стола, но при этом играет настольк скверно, насколько плохой актер из любителей-провинциалов играл б главную роль в премьере Художественного театра — под суфлера, кото рого там не существует. Постельное белье в номерах меняется почти еже месячно но полотенца совсем не меняются, потому что их не дают вообще За все эти блага рыбинский ЦРК, гостиничный монополист, стоящи

во всех отношениях вне конкуренции, спокойно сдирает с приезжего человека по 5 рублей в сутки.

Революция побаловала Рыбинск; несколько месяцев он был губернским центром, отложившись с несколькими уездами от Ярославской губернии. Но хозяйственные и административные соображения центрального правительства снова поставили этот город на положение уездного, и только теперь, при районировании у Рыбинска выявляется перспектива — стать окружным центром. Изменит ли это что-нибудь в повседневном быту рыбинского населения? Несомненно, окрепнет городской бюджет, который сейчас слишком «жесток», как и во всех провинциальных городах с невысокой промышленностью и плохими торговыми оборотами, усилится приток средств на ремонт, на народное образование, на технические улучшения местных фабрик и заводов, работающих (как, например, маслодельные и сыроваренные заводы всего Рыбинского района, стоящие по количеству и качеству вырабатываемых продуктов на втором месте по всей Европейской части СССР) при допотопном оборудовании. Эти улучшения и усиление бюджета, конечно скажутся и на повседневном быту рыбинских граждан, в котором чувствуется некоторый застой. Правда, тут есть театры, кино, есть даже ежедневная газета «Рабочий и пахарь», но бедное рыбинское ОНО не в состоянии содержать хороший артистический коллектив и дать лучшие, соответствующие требованиям современного зрителя, постановки, не может заплатить за прокат новых кинофильм, и поэтому и театр и кино на которые возложена обязанность «подкармливать» нищенский бюджет ОНО экономя средства, неизбежно тянется в хвосте более мощных театров и кино в других провинциальных городах с менее ограниченным бюджетом. Рыбинская ежедневная газета с тиражем в 6—7 тысяч также производит жалкое впечатление, — и не столько из-за технической беспомощности сколько по своему пришибленному содержанию. Лозунг самокритики конечно известен и здесь, но «самокритика» «Рабочего и пахаря», которой время от времени отводится страничка, являет собою жалкую пародию на такие же отделы в центральных, областных и губернских газетах. Явная зависимость руководителей газеты от местных властей ставит ее в положение газеты-подхалима, которого не уважает никто и с которым никто не считается. Листок самокритики заполняется безграмотно-унылыми рассуждениями по поводу принципов самой самокритики. Очень охотно сотрудники этой газеты рассуждают на тему о том, что, дескать, теперь можно критиковать кого угодно, «невзирая на лица», робко на что-то и на кого-то намекают, делают кому-то за что-то грозные предостережения но открыто называют имена только таких «конкретных носителей зла», которые по служебному рангу стоят не выше председателя какого-нибудь сельсовета. Совершенно очевидно, что газетой командуют бюрократы, а у руководителей ее нет коммунистической смелости ни на полушку.

Из моей комнаты в «Сан-Ремо» окно выходит на проспект Ленина, где пересекает его Стоялая улица. Раньше это место называлось Крест, на Кресте с раннего утра, прижавшись к стенам магазинов, стояли люди — торговцы барышники, старьевщики, биржевые «зайцы» — тайные маклера безработные подрядчики, торговки, босяки, которых здесь называют «зимогорами», уличные проститутки, жаждущие счастливой встречи, чтобы заработать на опохмелку. На Стоялой улице — ряд постоялых дворов, где простецкие рыбинские купцы и подрядчики устраивали буйные кутежи с скандалами с катаньем на тройках, со всякой-всячиной. На Кресте и теперь, по традиции, с утра жмутся подрядчики, безработные, маклера, зимогоры, и, как раньше, рыбинцы зовут этих людей: «столбы».

В пролете между домами и магазинами видна широкая голубая пол Волги: изредка оттуда доносится свисток парохода и грохот якорной цепи буксирное движение по Волге «ни в тех, ни в сех», — волжский трансп вытесняют железные дороги...

Ярославль, припаявшись железнодорожным мостом к северу, отб у Рыбинска когда-то широкий грузооборот, подставив своему соседу н настолько крепко, что город этот едва сохраняет равновесие. В «добр старые времена» рыбинские патриоты, преимущественно купцы-хлебот говцы, все городское благоустройство проводили на свой счет, вскладчи От правительства они требовали лишь одного:

«Сделай милость — не мешай! Не препятствуй!»

Они, эксплоатируя рабочих волжскую служилую братию, и обдир крестьян, продававших им свой хлеб могли позволить себе роскошь украшать тот город, в котором они живут. Недаром рыбинская хлебн биржа в то время стояла на втором месте после петербургской. Здес хл ных королей и тузов было не меньше чем на нижегородской бирже, и сам дурство рыбинских купцов нисколько не уступало самодурству просл вленных нижегородцев.

Еще и теперь бывшие рыбинские купцы очень хорошо помнят тв дый кулак последнего председателя биржевого комитета Ефрема Кала никова: кулаком этим он ловко управлял биржевыми собраниями, с гр хотом опуская его на председательский стол. Он командовал не толь рыбинскими купцами, но и значительной частью Волги.

Калашников явился в Рыбинск в лаптях, в домотканной рубах бросив свою родную деревню, где он был подпаском. Был некоторое врем зимогором, грузчиком, потом начал торговать какой-то пустяковин в разнос, затем открыл мелочную лавочку. С этого времени Ефрем Кала ников начал сказочно богатеть у него появились пароходы баржи хле ные амбары. Купцы сначала выбрали его городским головой, потом - в председатели биржевого комитета. Темная история... Говорят, бывши подпасок очень счастливо взрезал пазуху какому-то разгульному купц умненько прибрал его деньги и на них постепенно поставил крупное дел Перед революцией Ефрем Калашников был миллионером...

За Калашниковым идут хлеботорговцы, пароходчики и мукомол Жилов Жеребцов Галунов, Конецкий Журавлев... Тот самый Журавле о котором писали Горький и Амфитеатров. Это он купал в ванне с шампа ским ресторанных певиц на Нижегородской ярмарке, это его нижегоро ский губернатор Баранов — личность весьма легендарная, прослави шаяся необыкновенным своим административным самодурством — вы слал однажды из Нижнего за какие-то сверхъестественные безобрази обещав выпороть розгами, если только он вновь появится на ярмарк

Многие из этих лиц приобрели свои богатства такими же сказочным путями, как и Ефрем Калашников. Некоторым подозрительно везл в карточной игре, другие очень удачно «выворачивали шубу» т. е. банкр тились и, пригласив своих кредиторов на традиционную «чашку чая уславливались платить им по гривеннику за рубль. Некоторые приобр тали богатство путем бракосочетания со старыми или безобразными, н весьма денежными девами и вдовами, которые вскоре затем — тоже чу десными путями — покидали сей бренный мир, переселившись в обител горние...

Были и такие, которые получили богатства от своих папаш и мамаш или от других родственников. Кузьма Петрович Эльтеков, только что ро дившись на свет, уже имел капитал, дома и большой универсальный ма газин. Рос он под покровительством мамаши, воспитывался ее приживал

ками, радевшими о себе и о господе чуждался разгульных купеческих компаний, обучался будущей супружеской жизни в келейном блуде. Достигнув полного совершенства в практических жизненных науках, молодой ханжа, опытный торгаш искуснейший лицемер как их тут называли, «большой крест, толста молитва» безудержный самодур, пугало для всех своих служащих и мелких торговых карасей, вынужденных прибегать к нему за одолжением — Кузьма Эльтеков еще до супружества был почти полным хозяином родительского капитала и всего предприятия. Со вступлением в супружество капиталы эти умножились, предприятие расширилось, власть Кузьмы на торговом рынке стала непоколебимой. О его самодурстве и чудачествах знали все коммивояжеры Москвы Петербурга, Варшавы, Лодзи и Риги. Неопытному коммивояжеру у Кузьмы Эльтекова нечего было делать. Под старость Кузьма стал персонажем множества коммивояжерских анекдотов.

Если неопытный франтоватый коммивояжер появлялся в магазине, Кузьма сразу же угадывал его среди своих покупателей. Он усаживался на стул за своей конторкой склонялся над какой-нибудь замусленной тетрадкой с записями кредиторов и углублялся в чтение. Коммивояжер развязно подходил к прилавку и спрашивал хозяина. Приказчики ожидая веселого представления, переглядывались, улыбаясь но не отвечали. Коммивояжер повторял вопрос — результат тот же. Он спрашивал еще раз и еще. Неожиданно из-за конторки выскакивала лысая голова в седых косичках с боков и на затылке, голова трясла жидкой серой мочалкой бороды и пронзительно кричала вояжеру:

— Ступай к чойту!

Кузьма был немоват. Грубил он всегда и всем, за редкими исключениями и те, кто его знал, на грубость Кузьмы не обращали внимания; часто она бывала беззлобна. Но ни один франт-коммивояжер, не знакомый с причудами Эльтекова не мог вынести резкости такого ответа. Он краснел от оскорбления, величественно оглядывал приказчиков и публику, презрительно усмехался и, круто повернувшись, выходил вон, крепко хлопнув дверью. В магазине поднимался гогот, но заразительнее всех хохотал сам Кузьма;

— Ф'янт, чойт его де'и!.. Таких ф'янтов на нижегоёдской яймайке п'едают по г'ивеннику за дюжину...

Для того чтобы получить от Кузьмы хороший заказ, —а заказ этот был всегда выгоден потому что Кузьма не признавал никаких векселей и покупал только за наличные вручая при этом вояжеру основательный задаток — надо было знать особый подход. Опытный вояжер, знавший этот подход к какой бы национальности ни принадлежал, какую бы религию ни исповедывал, — войдя в магазин Эльтекова, истово и долго крестился на большой киот с иконами висевший в углу за хозяйской конторкой затем, не надевая головного убора, долго кланялся лысой голове, макушка которой розовела из-за тетрадки с списками кредиторов. Кузьма, конечно притворялся, что он не заметил вояжера, что не видел, как он крестился на киот и затем кланялся хозяйской лысине. Все это Кузьма видел и ждал только того момента, когда вояжер подаст свой уничиженный голос:

— Почтеннейшему Кузьме Петровичу... Как вас, дорогой мой, бог носит? Здорова ли супружница и детки?.. На вид вы, дорогой Кузьма Петрович слава богу... Чаю что молитвы ваши доходят до господа.

Кузьма, как опытный торговец конечно знал цену этой лести, однако румяное лицо его в рамке жидкой серой бороды млело в приветливой улыбке, он протягивал вояжеру пухлую свою кисть, пожимал протя-

нутую ему руку и, не поворачивая головы, пронзительным голосом приказывал:

— Майчишка, стуй!

Мальчик приносил стул, вояжер долго и степенно спрашивал Кузьму о здоровьи всех его близких, брал мелкие кусочки нагрызенного щипцами сахара и пил жидковатый и мутный чай. Потом, уже как бы собираясь уходить, вояжер заговаривал о делах, о хороших качествах товара своей фирмы, сдержанно сулил всевозможные выгоды и, наконец, получал хороший заказ и солидный задаток.

Кузьма был резок не только с неопытными вояжерами. Малоопытный покупатель, не знающий Кузьму, возбуждал у него ненависть уже одним тем, что долго рылся в каком-либо товаре. Кузьма бросал на такого покупателя косые взгляды, сердито хмурился на приказчика, тщетно старавшегося угодить клиенту, и, если улавливал своим чутким ухом, что покупатель неодобрительно отзывается об его товаре, стремительно подбегал к приказчику, кидал товар на место, а покупателю пронзительно выкрикивал:

— Ступай к чойту!

Кузьма никого не уважал и никого не боялся, за исключением одного человека. Человека этого он ненавидел, как змею и боялся его, как смерти. Когда он — этот человек — входил в магазин, Кузьма привскакивал за своей конторкой, пронзительно выкрикивал: «Майчишка, стуй!» — и льстиво первый протягивал вошедшему руку.

— Господину Осе... мое нижайшее почтение... Майчишка, чаю! Да пок'епче. Сахаю п'инеси кускового, да ёжечку... Ах, и таянт же у тебя господин Оса! Читай я сегодня твою статейку. С пейцем — и весьма в'яумитейно...

Оса — это расшифровывалось очень просто: Овсяников Сергей Абрамович — был редактор-издатель газеты «Рыбинский листок», он писал почти ежедневно злобные фельетоны о местных купцах, об общественных деятелях, о городской управе, о чем угодно, но всегда с единственной целью — хоть как-нибудь повысить тираж своего издания. Это был широкоплечий, крепкий человек выше среднего роста, с квадратным лицом, лысый, с плоским черепом, в очках в дешовой металлической оправе, с сиплым голосом и небольшими раскосыми, острыми и холодно-злыми глазами. Раньше он был писарем в Некоузской волости Рыбинского уезда, очень усердствовал по части «побочных доходов», сколотил кое-какой капитал и приехал в Рыбинск. Здесь он долго приглядывался к рыбинской жизни, что-то узнавал, что-то высматривал, кое к чему приторговывался, потом купил по случаю типографию и взял разрешение на издание собственной газеты. Он неплохо писал этот бывший волостной писарь, он заранее угадывал — кто будет его подписчиком, постоянным читателем и клиентом.

Оса пил крепкий чай внакладку. Кузьма Эльтеков хвалил его талант, растекаясь в льстивых словах. Но «талант» Осы требовал не только славы и лести. Что там суетная слава?! Оса очень хорошо угадал, что такие вот Кузьмы с равнодушной улыбкой уплатят большой штраф за антисанитарное содержание своих предприятий или общежитий для своих служащих, спокойно похоронят отца, мать, не заплачут при смерти единственного своего ребенка, не моргнут глазом при известии о катастрофе в каком-либо из их предприятий, но не допустят публичного — печатного — издевательства над собою или над кем-либо из членов своей семьи. Оса угадал, что именно только с этой стороны Кузьмы Эльтековы — сами торгаши и барышники — понимают и расценивают всякую вообще «гражданскую

печать», потому что, кроме газеты, священных книг да своих торговых записей, они не читают ничего.

— А я уж давно собиялся пос'ять к тебе п'иказчика, — говорил Кузьма, сердито посматривая на чайную ложку, которою Оса размешивал в стакане четыре куска пиленого сахару. — Поючен тут у меня замечатейный, самый модный товай. Надо бы опуб'иковать об ём в твоей газетке пос'едством об'яв'ения. Тойко ты с меня доёго-то не бе'и...

Оса молча доставал квитанционную книжку, ровным, аккуратным писарским почерком выписывал размер объявления, проставлял сумму, какая выходила по самому высокому тарифу, напечатанному в заголовке его газеты и, протягивая квитанцию Кузьме, спрашивал:

— Текст объявления у тебя готов?

— Кто тут у меня может составить текст? — с досадой говорил Кузьма. — Составь уж ты сам. За это я тебе зап'ячу отдейно... Пиши: поючен нами шэйк танго, ючший, п'ямо из Китая, а также сайпинка самого высокого качества, шевиот, сукна на все цвета, аглицкие бумазея, свежие к'яски, батист, охотничьи сапоги, конфеты Сиу и Эйнем гойянские се'ёдки, п'ётницкие топойы... Ну, ты сам знаешь что. И вот за т'юды твои из эой поючить. Не пот'ебуется ли чего суп'юге на костюмчик? Или дочкам? Или на т'ёечку стайшему? Пожаюйте, отпущу недоёго, по своей цене... и в к'едит...

Оса зорко следил за купеческой жизнью. Он в короткое время знал всех темных дельцов. Его память хранила фамилии лавочников, купивших полицию и торговавших недоброкачественными продуктами. Он каким-то особым чутьем угадывал купца, собирающегося «зывернуть шубу»...

На Мытном дворе Оса появлялся почти каждое утро. Завидев его широкую как шкаф, фигуру, лавочники, осеняя чело свое крестным знамением шептали испуганно:

— Пронеси, господи...

Оса, ссутулившись, просовывался в дверь мясной лавки, протягивал хозяину крепкую широкую ладонь, садился на стул около прилавка, широко расставив ноги и завязив между ними огромную корзину для продовольствия. Почти всегда он был немного пьян, в пьяном состоянии томился «проклятыми вопросами» о жизни, о боге, или рассказывал похабные анекдоты.

— Как живешь, купец? — спрашивал Оса, вытаскивая кожаный портсигар и закуривая. — Барыши лопатой гребешь?

— Да живем... — скорбно отвечал мясник. — За нуждой в люди не ходим своей достаточно...

— Будто? — прищурившись, сверлил его холодным взглядом редактор. — А кто в «Коммерческой» сразу с двумя певичками с «Городской дачи» ночевал? Я вот шепну жене-то...

«Городская дача» — это загородный кафе-шантан. Там часто разгульные лавочники прокучивали довольно большие суммы. Об этих кутежах Оса всегда очень подробно ухитрялся узнавать от лакеев.

— Ну, уж и с двумя!.. — смущенно говорил мясник, закрываясь окровавленным своим фартуком, чтобы скрыть покрасневшее лицо. — Кто богу не грешен... А вот о жене ты совсем напрасно...

— Я пошутил, — отвечал Оса, прицеливаясь к лучшему куску мяса, лежавшему на прилавке. — А у тебя, Гаврил Матвеич, сегодня даже парная говядина есть...

— Как же-с! — радостно говорил мясник, довольный тем, что редактор бросил тему о певичках. — У нас всегда парная-с...

— Ну положим, не всегда... Тут недавно купила у тебя одна моя знакомая. Я и рекомендовал-то ей твою лавку... А ты такое мясо продал этой барыне что она едва-едва не отнесла его в полицию. Насилу я ее уговорил... Утешил тем что, мол, в газете заметочку тисну.

— Заметочку!.. Ведь мы с тобой, Сергей Абрамыч, дружки-то старинные. Не правду я говорю?

Мясник тут же шел к свежей еще непочатой мясной туше, с хрястом отрубал от нее увесистый лучший кусок и, смущенно улыбаясь, с трудом просовывал мясо в объемистую редакторскую корзину.

Оса, показывая вид, что он лезет в карман за бумажником, хозяйственно спрашивал:

— Сколько? Ты уж мне немножечко уступи, купец.

— И не говори! — махал руками мясник. — Гроша не приму. Это подарочек от меня хозяюшке вашей Катерине Лексеевне.

Оса мрачно собирал морщины на своем квадратном лбу и долго молча смотрел на оторопевшего мясника.

— Ты это что ж купить меня хочешь?! Ты у меня — смотри!..

— Господи помилуй... И в уме-то не было...

— То-то же. Ну, запиши там в книжку. Завтра пришлю с мальчиком.

Покряхтывая под тяжестью корзины, в которой кроме мяса, лежали и другие продукты купленные таким же способом, Оса, холодно распростившись с хозяином протискивался в дверь. Хозяин провожал его испуганным взглядом медленно вытягивал из кармана большую красную тряпицу и вытирая пот протяжно, с изумлением произносил:

— Ну и хапуга.. Это братцы будет даже похлеще полиции...

Приказчики и покупатели, сочувственно вздыхая, шопотом отзывались;

— Д-да-а...

Газету Овсяникова рыбинские обыватели считали «Красной». Почему? Чорт ее знает! В обличительной своей деятельности «Рыбинский листок» далеко не шел. Захолустный урядник деревенский стражник, рыбинский городовик, волостной старшина, писарь мелкие земцы — вот те административные высоты которые изредка осаждались Осой на страницах его газеты. Зато биржевые тузы крупные и мелкие хлеботорговцы, отказавшиеся «позолотить руку» Осе или позолотившие но очень плохо: фирмы и отдельные предприниматели обходившие объявлением овсяниковскую газету; рестораторы и содержатели пивных уклонившиеся от кредитования Осы и газетной братии из «Рыбинского листка»; «отцы города» земцы театральные антрепенерры бенефицианты, директора цирков и ярмарочных балаганов, владельцы кино кафе-шантанов, компании пароходств и пристанские агенты торговцы и буфетчики — все кто давал публикации о своих предприятиях в других газетах обходя «Рыбинский листок» разделывались Осой в его газете с большим чувством, с толком, с умением, настойчиво и организованно. Если фактов не было, они выдумывались. Если была угроза привлечения за клевету фамилии владельцев предприятий и названия фирм и компаний подавались в извращенном виде, но так что всякий сразу же догадывался — о ком тут идет речь. Вот это-то «прохватывание» по всей вероятности, и создало «Рыбинскому листку» кличку «Красной» газеты.

Однако и эта сомнительная «краснота» сразу же слиняла, как только началась война. Почуяв выгоду от патриотизма, Оса повел свою газету в откровенном махрово-черносотенном духе. Перво-наперво он напечатал донос на своего конкурента Н. И. Любина редактора «Рыбинской газеты», такого же темного дельца, как и он сам. Сей Любин кормился около мелких

биржевых акул, упорно стремившихся ниспровергнуть председателя рыбинского биржевого комитета Ефрема Калашникова и захватить биржевую власть в свои руки. Очень может быть что Любин — редкая шельма и подхалим — в настоящее время где-нибудь занимает хорошо оплачиваемую советскую должность и — чем чорт не шутит — проник даже в ряды коммунистической партии...

Донос Осы на «Рыбинскую газету» был напечатан в «Рыбинском листке» после какого-то манифеста, из текста которого в любинской газете неизвестно куда исчезло слово «самодержец». Донося об этом Оса обвинял Любина в конституционализме, в намеренном подрыве самодержавнейшей монаршей власти, рекомендуя «кому следует» присмотреться к «Рыбинской газете» и к ее сотрудникам с сугубым вниманием...

Впрочем доносся на Любина, Оса лишь повторил его же прием. В 1912 г. Любин напечатал в своей газете донос на одного журналиста (автора вот этих строк), работавшего фельетонистом в конкурирующей с ним газете — «Рыбинский вестник». Любин также предлагал присмотреться к этому журналисту с сугубым вниманием и обеспечить ему бесплатную казенную квартиру. т. е. тюрьму. При этом приводилось название фельетона, в котором Любин усматривал признаки преступления по 128 и 129 ст.ст... Дня через три после напечатания этого доноса в Рыбинск приехал из Ярославля товарищ прокурора. Журналист тут же был взят под стражу и посажен в одиночку рыбинской тюрьмы.

Несколько позднее, когда этот журналист, отбыв тюремное заключение, снова разгуливал по рыбинским улицам, на него сделал печатный донос в своей газете Оса. Это было во время войны, в 1916 г. когда патриотизм Осы рос в полном соответствии с барышами которые приносила ему его газета. Оса, восхваляя писателей, которые «огненными словами призывают к защите родины», в то же время сокрушался что есть такие писатели, которым наплевать на патриотизм, и эти писатели, скрываясь от воинской повинности живут, дескать, вот тут, среди нас, — мы знаем не только их псевдонимы, но и настоящие имена, и адрес их квартиры...

Донос этот я прочитал утром в тот же день случайно; газету мне принес один из товарищей. Надо было немедленно бежать но это было невозможно; арестовали бы тут же при выходе из квартиры. Надо было что-то придумать, и мы с товарищем решили что я притворюсь тяжело больным и буду ждать ареста у себя дома. Для меня не столько опасен был арест за уклонение от воинской повинности: с арестом меня «догнали» бы другие дела, по которым в то время разыскивала меня нижегородская охранка и костромская полиция.

Товарищ ушел, я лег в постель и стал ждать. Скоро явился пристав с сообщением что меня приглашает к себе, в канцелярию полицейского управления, полицеймейстер Ораевский.

У меня вид смертельно больного человека. Дыхание частое и слабое, порою бред, лихорадка, ответы бессвязные, невпопад. Опешив от такой неожиданности, пристав просит успокоиться и предлагает папиросу. Но разве смертельно больному человеку — до папирос!

— Тошнит... — говорю я слабым голосом. — Не могу переносить табачного запаха... Прошу вас... не курите!

Пристав торопливо смял папиросу. Тишина. Пристав думал. Думал он долго, несколько раз принимался читать газету, — то место, где был приверстан донос на меня, потом упавшим голосом спросил:

— Значит, вы сегодня не можете?

— Не могу. Я не в силах дойти даже до двери.

— Когда же сможете?

— Когда? Может быть, завтра. Постараюсь.

— Да, уж пожалуйста, постарайтесь. Часам к десяти утра... А то сами понимаете — в какое положение вы меня ставите.

— Понимаю. Ждите завтра около десяти.

Пристав сочувственно пожал мою руку и ушел. Он был глуп, этот пристав, как и сам полицеймейстер Ораевский который спустя несколько месяцев, когда его «для пользы службы» перевели из Рыбинска в Ташкент, в одном из писем к Овсяникову обнаруженных у последнего при обыске, писал в постскриптуме: «А Клим-то Залетный [1]) у нас так и улетел»... Повидимому, редактор-издатель «Рыбинского листка» и рыбинская полиция в то время работали в очень тесном содружестве.

Весь тот день, до наступления тьмы мне пришлось пролежать в постели. А ночью собрав в чемодан необходимые вещи, я переселился до утреннего поезда к товарищу. Поезд шел в шестом часу: я пришел на вокзал, взял билет до Москвы и вскочил в вагон. Не доезжая до городской станции «Ярославль», я слез на платформе «Всполье» и заявившись к ярославским товарищам, прожил у них несколько недель. А в это время рыбинская полиция несколько раз принималась обыскивать не только мою комнату, но все квартиры в доме, в котором я жил, все кладовые, амбары, даже ледник и подполье.

Все это было в 1916 г. Тогда патриотизм оплачивался очень хорошей ценой. Овсяников и Любин заработали на нем немалые деньги. Но в 1918 г., во время белогвардейского мятежа в Рыбинске, революция посадила взяточника, шантажиста и черносотенца Осу на раскаленную булавку; он был пристрелен на улице ночью советским патрулем. Любин скрылся из Рыбинска, кажется, немного позднее.

II.

... Но — что же это за жизнь там, наверху, откуда люди падают так страшно низко?

М. Горький. Мои университеты.

Будний вечер. В той стороне Волги где впадают в нее Шексна и Молога, от солнца багряно пылает вода, острые лучи дробятся в мелкой ряби реки, заливая громадную водную равнину ослепительным светом. С другой стороны — там где Волга округло загибается к Тутаеву река и небо плавятся нежной голубизной, слегка расцвеченной оранжевым. В этом освещении, которое кажется искусственным и зеленые берега, и темные лодки и одинокий буксиряк с плывущими за ним двумя баржами и плот, который как будто застыл на речной глади — все окрашено в лиловый цвет, — даже белая колокольня едва отграничивающаяся в сизоватой дымке за заволжским перелеском кажется нежно-лиловой. Когда-то в этом месте, от Копаева до городских пристаней по летам на реке щетинились в небо копья баржевых мачт шумно гудели буксиряки лоцмана и командиры сиплыми голосами кричали ночью и днем в медный ярко-начищенный рупор слова команды и забористые ругательства.

— Эй, там на полулодке! Подавай сюда шкипера... мать...

— Баржа Зырянова, слушай! Баржа Зы-ыря-а-но-ва! Да что вы, передохли все што ли, мать вашу...

---

[1]) В то время этим псевдонимом я подписывал свои статьи и фельетоны в газетах Верхнего Поволжья. *Г. У.*

Теперь это место Волги гладко и ровно, вода сливается с небом, не слышно ни пароходных гудков, ни громового волжского мата. Редко-редко увидишь теперь на Волге как меланхолический буксиряк неторопливо хлопая красными плицами тянет нефтянку или несколько захудалых баржонок; иногда взбурлит воду пассажирский пароход, плавно заваливаясь к пристани, тоненько прогудит паровоз — и снова надолго, на несколько часов Волга погружается в голубую дремоту.

Хороши эти будние тихие вечера! Иногда сумеречную тишину встревожит задорный вскрик гармоники, мелкую рябь реки неторопливо разрежет лодка, другая... Где-нибудь от городского берега резко защелкает мотор, загорится молодая песня. Это закончив трудовой день, выехала на Волгу повеселиться рабочая и служилая молодежь.

Старый рыбинец и писатель Алексей Алексеевич Золотарев и я — оба мы стоим у берегового поручня, вспоминаем такое еще недавнее и такое далекое прошлое Рыбинска и горюем об его «упадке». Под ногами у нас ямы проваливающейся и оползающей в Волгу набережной: огромные камни и каменные плиты режа спустились вниз, почти к самому прибою, решетка накренилась, отдельные звенья печально легли на тротуар или повисли над обрывом. Бюджет у города маленький, откомхоз не может найти средств на ремонт набережной, оползень, усиливающийся с каждым годом, грозит всей береговой части города катастрофой... Рыбинск не в силах перепрыгнуть свой «твердый бюджет», откомхоз, уисполком, кооперативные организации, дом крестьянина, уоно, — все старательно изыскивают «местные средства», экономят, пускаются в торговые операции, порою очень сомнительные, — а средств все-таки нет. И по всей вероятности, именно поэтому всюду, во всем Рыбинском уезде, так бросаются в глаза старые, еще неизжитые купецкие торгашеские навыки, барышнические устремления со всеми атрибутами, свойственными частному торговцу. И, может быть, именно потому здесь в таком убитом состоянии находится культурно-просветительная работа, которая, как известно, является самым «убыточным предприятием», если не считать доходов от кино. Но кино в счет нейдут, ибо их «просветительная» роль, при халтурном подборе «заграничных боевиков», привлекающих обывателя, весьма сомнительна...

Вчера был воскресный день: этим днем начиналась «пионерская неделя». Тысячи юных пионеров в красных галстуках, слишком больших даже для взрослых, — ничего не поделаешь, такая уж форма, — с песнями, с музыкой несколько раз проходили по главной улице — по проспекту Ленина, им кричали «ура» даже обыватели, даже бывшие лавочники и подрядчики, с ними очень тепло, совсем по-отечески, здоровались проходящие роты красноармейцев, группы рабочих, работниц и комсомольцев.

День был погожий, с румяным солнцем, омытым быстрыми короткими дождями, не жаркий и тихий. Пионеры катались на грузовике, а по проспекту Ленина несколько раз проезжал даже легковой автомобиль с каким-то, должно быть очень большим, уездным начальством. Как и шестнадцать лет назад, автомобиль здесь еще в диковинку, его панически боятся лошади, а тихий рыбинский обыватель, не покидавший родного города ни разу за всю свою жизнь, смотрит на эту безлошадную телегу, как на чудо, придуманное антихристом. Я вспомнил об автомобиле, когда мы с А. А. Золотаревым стояли у покачнувшейся решетки, и этим автомобилем у меня связался образ рыбинского пивовара-миллионера Ивана Ивановича Дурдина, по которому, как и по газетчику Осе, революция проехала беспощадным стальным колесом.

Иван Дурдин был очень красив: он носил русскую поддевку из тонкого заграничного сукна, шелковую рубаху, легкие лакированные сапоги.

У него была золотисто-русая, аккуратно подстриженная бородка лопаточкой, наглые серые глаза, неистощимый талант на озорство и на неописуемые похабные выходки. Мне кажется, что именно такой должен быть Рогожин из «Идиота». Разница только в том, что Дурдин кончил высшее учебное заведение, был гвардейским офицером и любил не одну женщину, а всех сразу, считаясь лишь с возрастом да с внешним сбличьем.

...Однажды летом, в сумерки, возвращаясь из редакции к себе на квартиру через Ярмарочную площадь, за рекой Черемхой, я должен был остановиться перед огромной толпой, плотно сомкнувшейся по обеим сторонам дороги. В цирке скрипел скверный духовой оркестр, в балаганах осипшие певицы надсадно выкрикивали модные кафешантанные песенки, пронзительно визжали балаганные шуты, у качелей, крякая, как дровосеки, крючники и рабочие ожесточенно били кувалдой по шляпке рычага, вскидывающего чугунную «бабку» по рамке «силомера». Пустующая карусель призывала к себе разудалой музыкой гармонии, бубна и барабана. Солнце медленно ложилось за слободскими домами, дневная пыль липла к земле. Была ярмарка.

Толпа, замкнувшая дорогу, восторженно гоготала. Лавочники, поденщики, наряженные мещанки, солдаты, мелкие чиновники, кухарки и горничные, зимогоры — все эти люди, ищущие дешевых ярмарочных развлечений, дружно хохотали, вытягивая головы туда, в образовавшийся круг, откуда доносились истерические взвизги, плач, ругань, звон разбиваемого стекла, грохот.

Протиснувшись в круг, я увидел на площади знакомую мне дурдинскую «немецкую» одноколку, дурдинского вороного иноходца и самого Ивана Дурдина, который молча, с сосредоточенным видом, направлял лошадь по краю дороги, где стояли лотки баб, торгующих разными подкрашенными водами и сладостями. Разгоряченный иноходец бешено мчался прямо на лотки, торговки с визгом разбегались, одноколка опрокидывала осью бутыли с водою и сладости на дорогу, в пыль.

— Охальник!.. Сердца у тебя нет, у подлеца!.. Последние гроши у сирот отнимаешь, нечистая сила!.. Купил полицию-то, так и безобразничаешь!

— Погоди, дьявол! Мы и на тебя управу найдем...

— Миллионщик...

— ... а хуже зимогора. Сволыч!..

Когда лотки были опрокинуты, Дурдин остановил лошадь, опустил вожжи и склонил голову, как бы в тяжелом раздумьи. Прошла минута, другая. Бабий вой начал затихать, толпа напряженно молчала, дожидаясь нового представления. Тяжело вздохнув, Дурдин поднял голову, презрительно усмехнулся и, быстро натянув вожжи, с места во всю прыть пустил иноходца прямо на цирк. На галдерейку цирка вели три широкие ступени, перед которыми лошадь остановилась со всего бегу. Дурдин сильно качнулся вперед, скверно сбругался и, разогнав лошадь, снова пустил ее на цирк. Иноходец, уже сильно уставший, опять не решился взять ступени. Тогда Дурдин опустил вожжи и прищурившись, снова обвел подзадаривавшую его толпу тяжелым презрительным взглядом. На галдерейке цирка, у окошечка кассы, стоял директор цирка и что-то горячо говорил околоточному. Молодой околоточный Красильников, который был весьма лют до взяток и одевался щеголем, с беспомощным видом пожимал плечами, небрежно поигрывая белой лайковой перчаткой. Дурдин повидимому прислушивался к словам директора, который показывал околоточному, как из цирка, оставив представление, один за другим выходили зрители, узнавшие, что на площади Дурдин дает более забавное

зрелище. Повернувшись опять к толпе, он заметил меня и сделал знак рукой:

— Идите сюда, Клим. Мы вкатим прямо на арену...

В таких озорниках, как Дурдин, есть что-то ребяческое. Если не возбуждать в них упрямства, с ними так же легко поладить, как с детьми. Я сел рядом с ним в одноколку и со скучающим видом сказал:

— А знаете; это совсем не оригинально...

— Что?

— Да вот... на одноколке. Если бы автомобиль...

Я знал, что Дурдин только несколько дней тому назад привез из Петербурга автомобиль,—первый автомобиль, который увидели рыбинцы.

Дурдин опять опустил вожжи, раздумывая.

— Вы правы, — сказал он, сверкнув глазами. — Это будет номерок!.. Но как мы въедем на приступки?

— Да уж въедем. Можно захватить два бруса. По ним...

Дурдин натянул вожжи, толпа расступилась, мы выехали на железнодорожный переезд, одноколка проковыляла по ухабам немощеной центральной улицы зачеремухской слободы, на краю которой стоял пивоваренный завод Дурдина, обнесенный высокой досчатой изгородью. При заводе у Дурдина была квартира, где он жил с своим управляющим Карлом Иогановичем, немцем-холостяком, постоянным своим спутником в кутежах.

— Карлушка! — крикнул Дурдин своему управляющему. — Распорядись, чтобы наши феи единым духом накрыли стол. Я хочу угостить Клима пивом моего собственного изобретения. Такое пиво не снилось ни одному немцу, даже моему Карлушке. Вот вы увидите... «Кульмбахское», в особых графинах. Пить его надо литровыми кружками, потому что вся суть в пиве сокрыта на дне сосуда, из которого ты пьешь. Самое вкусное начинается только со второй половины кружки, а кружка эта должна быть не менее как литровой. Немцы, хоть и подлецы, но они понимают толк в пиве. В ихних биргаллях меньше литровой кружки не пьет ни один немец.

Автомобиль и цирк были забыты. Дурдин еще долго говорил о необыкновенных качествах изобретенного им пива, потом вдруг вспомнил о бабах, у которых он опрокинул лотки, вскочил со стула и, приседая на паркете, стал повторять их позы, когда они пытались защитить свой товар и в то же время смертельно боялись разгоряченной лошади. Он показывал это очень картинно, визжал бабьим голосом, бежал от воображаемой лошади, ругался теми ругательствами, какие слышал от торговок. Управляющий и две молоденькие горничные, накрывавшие стол, хохотали — весело, но несколько преувеличенно; чувствовалось, что они хотят угодить хозяину. Дурдин быстро понял это, оглядел всех хмурым тяжелым взглядом и медленно сел к столу и, опустив голову на ладонь, задумался с закрытыми глазами, словно заснул.

— Я понимаю, Клим, — заговорил Дурдин, медленно открывая глаза и поднимая голову, — я понимаю, что вы меня осуждаете. Конечно, вы правы: я озорник, охальник, потому что у меня миллион. Но ведь и те — эти «сироты», — он презрительно усмехнулся, — нисколько не лучше меня. Почти любая из них с такой же легкостью, как продает вам фунт семечек, стакан загрязненной фуксином воды, полфунта изюму, продаст вам и собственную, еще несовершеннолетнюю дочь. Я знаю, Клим... Вот вы посмотрите — какой замечательный базар будет у меня завтра здесь, у конторы... Нарочно посмотрите, это будет такое зрелище, которое стоит посмотреть. Как вы думаете, сколько всего лотков я сбил?

— Я думаю, лотков двадцать.

— Пусть будет сорок. Штук тридцать баб, вот этих самых «сирот», да с десяток греков, персияшек... Но завтра к моей конторе привалит человек сто, и каждый будет плакать, божиться умершими родителями, всеми богами, что я у него опрокинул лоток, в котором было товару не меньше как на двадцать пять рублей. А у них у всех-то было не больше, чем на полсотни. И мне придется завтра выдать рублей пятьсот...

— Придется?

— Да, я выдам. Я не скряга, а есть такие зрелища, за которые не жалко заплатить и больше. Вид мерзкого пресмыкающегося человека отвратителен, но бывают такие люди, омерзение к которым достигает почти такой же остроты, как вдохновение у поэтов и художников. Не улыбайтесь: вы этого еще не испытали. А что касается меня, то мой миллион вполне заменяет мне талант: я так же, как и некоторые гении, нечеловечески презираю людей... Всех людей вообще, даже и тех, кого нельзя купить. Ведь я знаю, что их нельзя купить только потому, что сознание собственной неподкупности дает им н:большую остроту переживаний, чем то, которое они могли бы получить за деньги...

— Однако...

— Не сердитесь, Клим. Я никогда не давал ни одного рубля Овсяникову, — это тупой человек. Вот Достоевский очень хорошо понимал всю сладость, всю остроту человеческого уничижения. Овсяников туп и глуп; нет средств, чтобы заставить его наслаждаться собственной низостью. Для него взять самую мерзкую взятку — все равно, что разгрызть орех. Он, как проститутка, привык продаваться всем, не разбирая. Овсяниковы, проститутки и полицейские, вроде Красильникова, — вот люди, которых я не только презираю, — в моих отношениях к ним есть что-то такое, что ниже, оскорбительнее презрения, — и оттого-то я никогда им не дам ни одного рубля!.. И они знают это, и тем не менее ни тот, ни другой не сделает по отношению ко мне никакой подлости, потому что все еще ждут, надеются, что когда-нибудь я вздумаю их купить. Нет, Клим, как бы я ни был подл, глуп, развращен, но таких людей я не стану покупать никогда...

«Кульмбахское» в темных пузатых графинах было уже на столе, Карл Иоганнович слушал своего хозяина с какой-то мертвой улыбкой, — он не понимал Дурдина и вероятно, жалел, что у него нет миллиона, который дал бы ему возможность постичь премудрость дурдинской философии.

— А ведь хорошо иметь миллион, Карлушка?! — спросил Дурдин, подмигнув своему управляющему. — Наливай, дурак, пива! От твоей тупости тебя не спасут даже десять миллионов. Что бы ты сделал, если бы у тебя был миллион? Ты уехал бы нах свой фатерлянд, построил бы усовершенствованный пивоваренный завод, выдал бы мое «кульмбахское» за собственное изобретение, женился бы на шестипудовой Гретхен с пятьюстами миллионов марок и тремя любовниками, был бы уважаемым человеком, членом рейхстага, умеренным либералом и весьма рогатым супругом... Вот твой идеал, Карлуша, налей нам еще по эйн фляше... Если ты украдешь мое изобретение, я приеду в Берлин и вздую там тебя в самом рейхстаге русской дубинкой. Хорошее пиво, Клим? А жаль, что мы с вами не приехали в цирк на автомобиле. Был бы замечательный номерок...

...Дурдин ошибся; на другой день рано утром перед дверями заводской конторы шумели и плакали не сто, а сотни полторы баб, с полсотни курчавых бронзовых мужчин и с десяток босяков-зимогоров. Дурдин распорядился выдать всей этой толпе по три рубля «на рыло».

Лиловый цвет едва заметно переходит в синий, на пассажирском пароходе, прильнувшем к дебаркадеру, появились первые огоньки. С реки, покрытой синим сумраком, доносит всхлип гармоники, изредка вспыхнет песня и оборвется смехом. На набережной увеличилась толпа гуляющих. Интеллигентная молодежь, рабочие, степенные учителя, врачи, клубные работники, советские служащие — все, кто имел хоть однажды соприкосновение с А. А. Золотаревым, проходя мимо нас, кланяются ему, дружелюбно улыбаясь, иногда о чем-нибудь спросят и, чтобы не мешать нашей беседе, торопливо жмут нам руки и идут дальше. А. А. Золотарева знает весь культурный и просвещенческий Рыбинск. Упорством и усилиями этого человека в революционное время создана и сохранена одна из лучших библиотек СССР, имеющая свыше 100 тыс. томов научных и художественных произведений мировой литературы. В сущности, это даже не библиотека, а книгохранилище. В годы гражданской войны, разрухи и голода, когда нужны были винтовка и хлеб, а не книги, А. А. Золотарев создавал эту ценнейшую сокровищницу человеческой мысли. Он с величайшим упорством отстаивал каждую книгу, которую требовали у него «для нужд такого-то учреждения», выдавая только такие, которых в его распоряжении было по нескольку экземпляров. Персонал библиотеки, как и сам А. А. Золотарев, работал почти безвозмездно. Впрочем и теперь Рыбинский отдел народного образования выдает на содержание книгохранилища самые ничтожные средства; ничего не поделаешь: жесткий бюджет.

Рядом с нами, перегнувшись за накренившуюся решетку, разговаривают двое служилых людей, — один из укома, другой из уика. Внизу тихонько позванивает вода, у пристани резко шипит пароход: матросы греют куб. Слева, в здании бывшей биржи, поблескивает огнями клиника им. Пирогова. Мы молчим, я невольно прислушиваюсь к разговору рыбинских работников, Золотарев задумчиво следит за нарастающим движением на дебаркадере.

— А ведь больница-то полетит...

— Обязательно. Когда была комиссия, она установила вполне определенно, что катастрофа рано или поздно совершенно неизбежна...

— Погано! Говорят, что в подземельном помещении огромные трещины, из гранитных стен выкрошился цемент, образовались огромные щели... Бетонные полы сильно опустились...

— Комиссия, которая приезжала из центра, прямо сказала: «Если во-время не приостановить оползень и не произвести серьезного срочного ремонта, катастрофа угрожает не только Пироговской больнице, но и всему берегу — от старой биржи и до устья Черемхи — целому кварталу жилых каменных зданий»... Хорошенькая будет картинка с натуры...

— ...ежели вся больница, вместе с больными, полетит в Волгу...

— Угу!

Они закурили. Дым от папирос белесоватой струйкой потянулся над обрывом, служилые люди смачно сплюнули вниз, к прибою. Тот, который рассказывал о комиссии, продолжал:

— При НКВД было созвано даже специальное техническое совещание управления коммунального хозяйства по поводу нашего почтенного оползня. Совещание установило, что оползень явился в результате чрезмерно высоких весенних разливов и плохого, допотопного устройства канализации. Для этой набережной, по мнению совещания, необходимо следующее: устроить водонепроницаемый каменный покров, гончарную,

а не деревянную канализацию, более устойчивый реж из цемента или гранита, и кроме того необходимо прекратить просачивание воды из Черемхи...

Он говорил так, словно сам делал доклад на техническом совещании при НКВД; его товарищ, поплевывая за решетку, время от времени покачивал головой.

— В чем же дело? — спросил он, выпрямляясь.

— Дело в средствах. У города денег нет, а в центре вопрос об ассигновках на ремонт нашей набережной только еще в процессе обсуждения.

— Вот когда мы станем окружным центром...

А. А. Золотарев, очевидно услышав эту фразу, быстро оживился, снял очки и, протирая их платком, заговорил:

— Да, когда наш Рыбинск будет окружным центром, у нас будет более мощный бюджет, появятся ресурсы для усиления культурной работы. А сейчас мы — нищие... Нас ограбил Ярославль.

Пассажирский пароход теперь весь расцветился огнями; вдали, на темно-синей речной глади, вспыхнули огоньки бакенов — красный и желтый.

— Пойдем выпьем пива, — говорит работник из уика своему товарищу.

— В пивную неудобно. Пойдем лучше ко мне... Пошлем Машутку к Александру Дмитричу...

Мы с Золотаревым уславливаемся так: завтра утром я зайду в правление Естественно-исторического общества, где он состоит председателем, и оттуда вместе пойдем в книгохранилище. А. А. теперь в книгохранилище не служит, он всецело занялся научной и краеведческой работой.

Я прихожу в правление в девять утра. Золотарев уже там. Он ежедневно поднимается в шесть, завтракает, уходит из дома и возвращается только к обеду — к 6—7 час. вечера. После обеда немного отдыхает, потом уходит на различные собрания и заседания и возвращается в 1—2 часа ночи... И никогда не жалуется ни на усталость, ни на плохую обстановку для работы, хотя бы и имел на это право: рыбинские головотяпы уплотнили этого крупнейшего научного и культурного работника в его квартире, оставив ему и его семье всего лишь две комнатки, вселив в остальные две каких-то жильцов...

Старое розоватое каменное здание книгохранилища вытянулось по проспекту Ленина; под боком у здания — двор, во дворе — каменная двухэтажная кладовая — теперь это главное помещение книгохранилища, где на гигантских полках, проходящих в высоту через оба этажа, аккуратно поставлены книги на всех почти существующих языках, в разнообразных переплетах — от современных изданий и до изданий далекой древности. Книги разделены по отделам, есть отделы старых журналов, комплекты старых газет... Если все издания, скопленные в книгохранилище, занести в каталог, потребовался бы огромный штат переписчиков. Хорошо уже одно то, что руководителям этой гигантской библиотеки отпустили средства на сооружение простых деревянных полок, выкрашенных суриком, — это дало возможность разобрать и привести в порядок все это огромное книжное достояние. Сколько всего книг — этого не может сказать точно ни А. А. Золотарев, ни Мария Константиновна — теперешняя заведывающая книгохранилищем. Она уже не молода, но когда она узнала, что я хочу посмотреть вверенное ей книжное достояние, она стала похожа на восторженную девочку. С большой связкой ключей в руках Мария Константиновна бегает по лестницам из этажа в этаж, откры-

вает шкафы, с готовностью отвечает на все вопросы, дает объяснения, обнаруживает особую любовь к старым изданиям.

— Вот эта книжка, — говорит она, показывая небольшую книгу в темном, полуистлевшем кожаном переплете,—издана во Франции в 831 году...

Она бережно перелистывает книжку и кладет обратно в шкаф.

В здании библиотеки чисто, в ней как-то не чувствуется казенной атмосферы других больших библиотек. Сюда, в тишину библиотечных кабинетов, изредка приезжают ученые и литераторы из Москвы и Ленинграда, чтобы «позаниматься» вдали от сутолоки и шума столиц и казенщины столичных библиотек и книгохранилищ. Здесь к услугам ученого и литератора всегда найдется уединенная комната, полная тишина, радушное товарищеское отношение и любая нужная книга.

А. А. Золотарев еще и сейчас не потерял связь с многими европейскими писателями и учеными. Высланный царским правительством «за неблагонадежность», он несколько лет жил за границей — в Париже, в Италии, у него сотни писем от лучших людей Европы, десятки писем от М. Горького, с которым они очень крепко дружили, когда жили вместе на Капри, множество книг с надписями авторов. Все эти книги и письма А. А. Золотарев не захотел хранить у себя, он отдал их созданной им библиотеке, открыв ими постоянно теперь пополняющийся «отдел автографов».

В библиотеке принята американская карточная система. Это позволяет при минимальном штате библиотеки — всего 5—6 человек — быстро найти любую нужную книгу, за исключением, конечно, тех, которые стоят на гигантских полках в книгохранилище и которые еще не все разнесены по каталогам.

Мы выходим из книгохранилища часов в семь вечера; на улице — дождь, на тротуаре, в выбоинах, — калужины воды, на продавленной мостовой —.грязь. Но после библиотеки я отчетливо понимаю, что за эти 16 лет, в течение которых я не видал Рыбинск, он стал другим, лучшим, более близким, чем был, и жизнь в нем меняется не только снаружи, с показной стороны, а и в самой человеческой психике.

— Когда начнется учебный сезон, — раздумчиво говорит Золотарев, — тогда наша библиотека заживет кипучей жизнью. К нам приходят ученики почти всех школ II ступени, много студентов. Мы им даем помещение, здесь они занимаются лучше, при больших удобствах, чем дома.

Он высок и худощав, обвисшие рыжие усы таят хорошую человеческую улыбку. Дождь затихает, над головами у нас зеленоватая кружовеня неба. Перед закатом покажется солнце, завтра будет погожий день. Вот она, моя гостиница «Сан-Ремо».

Узкие сумрачные коридоры пропитаны запахом кухни, на крутых лестницах темно, тут не зажигают свет даже ночью—экономия. Из столовой доносится глухой гул голосов, в соседнем номере московские музыканты, приехавшие сюда на гастроли, назойливо играют раз десять все одну и ту же часть какой-то музыкальной пьески.

III.

Неизмеримо прекрасно уже одно то, что все бывшее неповторимо.

Неумышленный афоризм.

Музыканты легли спать в двенадцать часов. В двенадцать часов в номерах выключается свет, — администрация гостиницы, взяв высокую цену, очень скупо допускает даже такие маленькие удобства для

жильцов, как освещение. Ни поработать, ни почитать; в комнате тьма, тишина, запах сырости и клейстера, — тут недавно меняли обои. С улицы к окнам прильнула ночь, в верхнем этаже дома, стоящего напротив, в одном окне тускло горит одинокая лампа. На улице звучно отстучали чьи-то торопливые шаги, после них стало как-то особенно тихо, — так бывает ночью в тюрьмах, — и кажется, что вот-вот, сейчас подойдет к двери крадущимися шагами надзиратель, щелкнет «волчок», и в комнату, вместе с мутным светом коридора, проникнет сторожк й человеческий взгляд.

Жесткая, не в меру музыкальная кровать, кусачее одеяло, тишина и тьма — все это с такой отчетливой ясностью воскрешает прошлое, что невольно хочется распахнуть дверь, открыть окно и удостовериться, что за ним нет издевательски-толстых прутьев железной решетки и что там, за стеной, в непроницаемой тьме тюремного двора, не вспыхнет спичка закуривающего часового и не раздастся унылый замогильный возглас: «Слу-у-ша-ай!..».

Мысль капризно останавливается на прошлом: вспоминается полиция, прокурор, оставивший в душе моей настолько глубокую ненависть к себе, что я в любой момент могу вызвать в своем воображении всю его фигуру, до мельчайших подробностей в костюме, в манере держать себя — наглой, высокомерно-нахальной и подло-трусливой: он никогда не входил в камеру, а всегда останавливался у двери, стараясь пропустить вперед себя надзирателей, чтобы не подвергнуть себя опасности нападения со стороны заключенных, над которыми он любил издеваться. Фамилия его была Соколов, он был в 1912 г. товарищем прокурора ярославского окружного суда.

Сон нейдет, я курю папиросу за папиросой, придумываю для Соколова всевозможнейшие, наижесточайшие казни и злюсь, что, будь он в моей власти, я — не знаю из какого чувства — не мог бы прикоснуться к нему даже носком сапога...

За стеной на своем шумливом ложе повернулся приезжий музыкант. Я слышу, как он с ворчанием надевает штиблеты и, сильно шаркая ногами, идет в конец коридора — к уборной. Внизу, у подъезда гостиницы, извозчик с бегу осадил лошадь: лошадь остановившись громко и протяжно всхрапнула, извозчик пьяным голосом благодарил кого-то и пожелал «всего наилучшего». В парадной двери сонный дежурный номерной долго гремел ключом, потом приглушенным голосом вел какие-то переговоры. На лестнице послышались сдержанные шаги, негромкий говор, щелкнул ключ в двери второй моей соседней комнаты слева и тут же — ура! — у меня в номере вспыхнул свет, правда — единственной электрической лампочки. Несказанно благодарный неведомым ночным посетителям, я потянулся за книгой...

Приезжий музыкант уже вернулся и опять скрипел своим шумливым ложем, в номере слева двигали стульями, звенел женский смех, сдержанно гудели мужские голоса, едва слышно доносились однообразно-покорные ответы дежурного официанта: «Слушаю-с... слушаю-с... слушаю-с»...

Во всех номерах электрический выключатель — общий. Поздние гости даже и не предполагали, какое они совершили для меня благодеяние. Но уже через час я начал постепенно разочаровываться в их невольной услуге. Они теперь уже оставили всякую попытку быть сдержанными, — шумели, гремели стульями, звенели посудой, несколько раз порывались спеть хором песню о каком-то весьма бесстрашном и мрачно-расчетливом мичмане Джоне, у которого были необыкновенно крепкие нервы. Дежурный официант робко стучал к ним в дверь, войдя — умильно просил вести себя «немножечко потише», женщины для приличия уговаривали мужчин,

мужчины вежливо соглашались, но затем шумели еще усерднее. Приезжий музыкант довольно отчетливо выговаривал за стеной очень крепкие слова, сердито кому-то угрожая:

— А чорт ли мне?!. Вот возьму да и стану играть на контрабасе!..

Я потушил свет, но «окружающая обстановка» к этому времени была такова, что о сне нечего было и думать. Соседи слева разделились теперь на два хора — мужской и женский. Мужчины пели «Из-за острова на стрежень», а дамы — они никак не могли спеться — репетировали «Кирпичики». Мне опять вспомнился Иван Дурдин, вспомнился один из его многочисленных «номерков» — громкий скандал в кафе-шантане «Городская дача». Он тогда волочился за певичкой П-ко; певичка в этот вечер была абонирована какими-то приезжими купцами, кутившими в одном из садовых кабинетов. Дурдин занял кабинет рядом с ними и, когда купцы ушли к открытой эстраде слушать свою певицу, оставив кабинет на попечение официанта, Дурдин дал этому официанту четвертной билет и сделал на столе у купцов совершенно неописуемую гадость. Купцы, вернувшись, били официанта по лицу, потом вызвали хозяина, грозили подать в суд и, не заплатив по счету, уехали. Певичка перешла в кабинет к Дурдину.

В комнатный сумрак вплелась синева, из темноты медленно выплывали предметы: стул, на стуле — одежда, на полу — одинокий окурок. На стене едва уловимо отпечатался переплет оконной рамы.

Приезжий музыкант привел свою угрозу в исполнение. Сначала, во время коротких пауз среди ворчания, я услышал звуки от резких его движений, стук штиблет, затем — редкие, но довольно энергичные шаги, потом — неуверенный, довольно хриплый, как бы спросонья, густой звук контрабаса. За стеной слева теперь было относительно тихо, слышались только мужские голоса, — женщины, повидимому, прилегли отдохнуть. Я почему-то вспомнил бывшего рыбинского пристава Новицкого — великого взяточника и обжору, — у него был голос почти такой же, как у контрабаса, сердито гудевшего за стеной, — и тут же мне опять припомнился очередной «номерок» Дурдина, который он выкинул, желая проучить Новицкого за очень уж откровенную склонность к взятке.

Однажды в праздничный день, встретив Новицкого на Крестовой, Дурдин, дружески взяв его под руку, предложил:

— Пойдем, ваше благородие, позавтракаем. Говорят, что у Бархатова новый повар, который делает растегаи не хуже, чем в Москве у Тестова...

Позавтракать с миллионером!.. Румяная, совершенно круглая, рожа Новицкого засияла, как июльское полнолуние. Усевшись с приставом в общей зале, где было много народа, Иван Дурдин начал заказывать лакею «завтрак». Он пересмотрел все прейс-куранты выбрал самые дорогие закуски и самые дорогие вина, какие имелись в этом ресторане, заказывая все это в размерах, сильно преувеличенных. Пристав потел, но кушал, усердно запивая дорогими винами, люди из-за соседних столов смотрели на Дурдина с любопытством и ожиданием, предчувствуя, что он задумал какой-то номерок, ибо было известно, что Дурдин не долюбливал полицию и никогда не давал ей взяток.

Завтрак длился часа три. Пристав ел и пил с усердием, Дурдин ухаживал за ним, как за дамой... потом вдруг выхватил часы, сердито протянул: — «А, чо-о-рррт!» и, торопливо позвонив, велел лакею принести счет. Лакей принес. В счете общий итог был что-то около 120 рублей...

— Хорошо, голубчик, — сказал Дурдин лакею, — вот тебе моя доля 60 рублей и вот красненькая на чай. Вторую половину уплатит их.

благородие. Он сегодня хочет заплатить ана-партес... пополам... Начальству свойственны разные причуды.

Он говорил умышленно громко, чтобы слышали все, сидевшие в зале, потом очень вежливо простился с Новицким и быстро убежал, провожаемый хохотом всего зала. Пристав сидел еще несколько минут — мрачный, с багровым лицом, с злобным тяжелым взглядом; затем он медленно поднялся и, сделав лакею нетерпеливый сердитый жест, каменной поступью направился к буфету «объясняться» с хозяином.

— Я хотел проучить этого обдиралу, — говорил мне Дурдин как-то при встрече. — Кто вам рассказал об этом?

— Да уж рассказали...

— Верно, был такой случай.

Он задумался, потом сказал с брезгливой гримасой:

— Разве его проучишь, такого скота?! . Все равно не заплатит, весь долг повесит на шею Бархатову. Жаль вот — писать про эту сволочь нельзя. Дал бы я вам материалец...

За стеной к контрабасу присоединилась виолончель, потом скрипка, потом что-то еще. В окна вливался мягкий утренний свет, на улице послышались голоса, грохот телег, надсадливый выкрик какой-то ранней бабы: «Молока, молока, молока!»; За стеной слева тихонько всхлипывала женщина.

Вспомнив о Новицком, я невольно начал разматывать клубок воспоминаний о людях, которых я знал, о своей работе: нужна ли она комунибудь? Издатель газеты, в которой я работал фактическим редактором, был крепкий толстый человек, с подстриженной рыжеватой бородой, в поддевке, в жилетке, через которую — от кармана до кармана — была лихо, по-купецки, пущена толстая серебряная цепь от часов, — с неизменной, самой дешевой вонючей сигарой во рту, с толстой суковатой палкой, которой он нередко колотил свою жену, газетчиков, бравших у него газеты, и редакционных мальчишек-курьеров, а порою даже и конторщиков. Как и Ефрем Калашников, он пришел из деревни из подпасков, служил судомойкой в трактирах, был потом трактирным «шестеркой», торговал газетами, заработал немного денег и открыл свой газетный киоск. Затем он стал контрагентом у Суворина, арендовал все его киоски по Северной железной дороге. Приехав в Рыбинск, он открыл книжный магазин и газетное контрагентство, построил большой деревянный дом за рекой Черемхой и начал издавать собственную газету «Рыбинский вестник». Имя этому весьма одаренному русскому самородку Семен Яковлевич Разроднов.

Он был малограмотен, крепко пил спиртное, был находчив и ловок в коммерческих делах. В дела газеты — при мне — не вмешивался, заботясь лишь о том, чтобы не падал тираж, и нисколько не жалел «отсидочных», т. е. подставных, редакторов, которые почти беспрерывно сидели в тюрьме в административном порядке по постановлениям ярославского губернатора. Конечно, во время сидки им выплачивалось обычное жалованье, какую бы они должность ни занимали в «свободное» время — корректора или конторщика, или даже «заведывающего конторой».

Как и всякой газете в то время, главный доход «Вестнику» давали объявления. Такая установка сильно вредила редакционной работе, газета становилась зависимой от отдельных лиц и промышленных и торговых фирм. Однако редакция хотя и с большим трудом, но сумела отвоевать себе свободу, и Семен Разроднов ухитрился к этому положению приспособиться. Если в газете появлялась заметка, статья или фельетон о злоупотреблениях в каком-нибудь предприятии, или описывались самодурства, беззастен-

чивая эксплоатация рабочих и служащих, или вообще какие-либо проступки отдельного влиятельного лица, иногда дающего в газету объявления, — Семен Разроднов в тот же день, в который вышла газета с «убыточной» заметкой, старался попасть на глаза к тому, кого она касалась, и с неподдельными слезами, всхлипывая, приносил ему свою искреннейшую жалобу:

— Мои-то разбойники что делают, а?!. Читали сегодня, как они вас, сукины дети, разукрасили?! Ведь по миру хотят меня пустить... истинный бог, мать иху... Жизни решусь!

Он был невероятнейший матершинник. И потому, что редакция наша находилась при магазине, отделенная одной только дверью, нам нельзя было иметь в составе сотрудников ни одной женщины. Мы не раз делали попытки привлечь к сотрудничеству женщин, чтобы облагородить от разродновских выражений редакцию и его магазин, но ничего, кроме нашего позора, из этих попыток не выходило: даже самая терпеливая женщина могла работать всего лишь один день. На другой день она не появлялась даже за своим заработком.

— Как же ты их терпишь? — недоумевало влиятельное лицо, «пропечатанное» в газете. — Выгони к чортовой матери!..

Разроднов делал испуганное лицо.

— Что вы, родной, господи вас сохрани!.. Да они, мать иху... и так гляди того, что по горлу ножом полыснут... Я ж вам говорю: разбойники!

— В полицию пожалуйся.

Пугливо озираясь, Разроднов шептал «влиятельному лицу»:

— Жаловался... Так ведь что вы думаете: сама полиция боится их... «Мы, — говорит, — тут на них нажмем, а они нас в столичных газетах пропечатают...» Сами знаете — полиция тоже не ангелы...

Однако порою не помогала Разроднову и его изворотливость. Объявления убывали; многие уже перестали верить его слезам и жалобам. Тогда он, плача и матерясь из матушки в матушку, ворвался в редакцию и завопил:

— Ребятушки!.. Пропечатайте меня, Христа ради!.. Жизни моей решусь, мать вашу...

— Это не так-то просто — пропечатать, Семен. Сделай что-нибудь... Вот у тебя курьерам не сладко живется, например... Можно намекнуть фабричной инспекции, санитарному надзору...

Разроднов сделал свирепые глаза.

— Да уж я знаю, вы — можете... вы... мать вашу... рады в гроб меня живого заколотить... Зна-аю...

Вытащив из кармана огромный платок, он уже готовился приложить его к глазам и заплакать.

— Ты подожди, Семен. Как же тут тебя пропечатать, если ты...

— Идиоты вы, мать вашу... а не писатели. Выдумайте что-нибудь!.. Напишите, что в молодости с полатей упал, ум себе повредил... Дурак, дескать, а ведь дураков у нас любят, мать иху... Придумайте что-нибудь!

Придумать было трудновато, но помог случай. В тот же день в магазин пришел франт, околоточный Красильников — тот самый, который был особенно лих до взяток, — и молча отобрал у Разроднова десятка два разных «Ник Картеров» и «Пинкертонов». Красильников попросил у Разроднова газету, завернул в нее отобранные книги и, ни слова не говоря, ушел. После него Разроднов с матом, с ревом ворвался к нам к редакцию:

— Бра-атцы вы мои милые!.. Чем же мне торговать-то теперича... Ведь даже Пинкертонов конфискуют, мать иху... Одними молитвенниками, мать иху, буду теперь торговать... Жизни решусь, мать ее...

— Курил бы ты, Семен, махорку. Мухи околевают от твоих сигар.

— Вам смешно, мать вашу... Вот закрою газету...

— ... мы другого издателя найдем...

— О, разбойники!..

Он рванулся из редакции, набросился в магазине на кого-то из газетчиков, ругаясь так смачно, что стены лопались. А на утро «Рыбинский вестник» вышел с фельетоном про самого издателя:

У Разроднова Семена
Отобрали Пинкертона...
И мечтал и думал он:
«Чем виновен Пинкертон?
По какой статье закона
Отобрали Пинкертона?..»

И т. д.

С этим номером своей газеты Разроднов носился по городу, плача и показывая фельетон всем «влиятельным лицам»:

— Мои-то разбойники... а? Прочитайте-ка, как они, сукины дети, меня разукрасили!.. Жизни решусь, истинный бог... мать иху...

Ему должно быть поверили. Объявления начали прибывать...

...Потом, когда меня арестовали, была закрыта и газета. Разроднов вымолил у губернатора разрешение на продолжение издания, обещаясь вести «Рыбинский вестник» «в патриотическом и религиозно-нравственном духе». Газета резко изменила направление и тон, в ней появился ернический «раешник», началась мелкая травля по типу овсяниковского «Листка», — и тираж газеты стремительно ринулся вниз. Через несколько месяцев Разроднов прогорел. У него продали с торгов все его четыре дома, магазин, одежду, мебель... Он покинул Рыбинск с одной только сумкой газетчика да с своей женой. Но в Костроме он снова «раздул кадило», начав с торговли газетами вразнос, снова открыл книжную и газетную торговлю и построил «собственный дом»...

IV.

Феофан: — Чем больше пью, тем обличаю...

Л. Андреев «Не убий».

У Золотарева я застал своего старого знакомого — литератора и краеведа — И. А. Костоловского. Он простой крестьянин из села Никола-Корма, Рыбинского уезда, ему, как и А. А. Золотареву, около 50 лет. Длительная, упорная культурная и краеведческая работа поставила его в ряды лучших краеведов, в краеведческих журналах печатаются его портреты, пишутся о нем статьи. Работают люди и своим личным примером толкают на работу других!..

После обеда, за чаем, мы говорим о будущем Рыбинска, который оба они любят нежной сыновней любовью, говорим о Москве, о литературе, о революции, о мужиках, о рабочих, о загранице, о возможности новой войны.

— Два народа веками искали друг друга, — задумчиво говорит Золотарев, протирая платком очки, — целые века они стремились к соединению... «Богом избранный» еврейский народ и наша «святая Россия» — всегда тяготели друг к другу и всегда разные внешние причины мешали их соединению. Как две искры, блуждали они в пространстве, ища друг друга, чтобы соединиться и возжечь великое пламя, которое очистит жизнь...

Он не марксист, но и не мистик. «Богом избранный народ» и «святая Россия» — это у него не термин, а образы, — он писатель, — я люблю слушать его романтическую философию, мне кажется, что я даже постигаю его мироощущение, которое как-то соприкасается с теми настроениями, когда думаешь о чем-нибудь прекрасном.

— Искры соединились, — продолжал Золотарев, — два народа нашли друг друга! Это великий исторический факт. Мы даже приблизительно не можем сейчас представить себе всей важности этого события...

В стороне, в большом кресле, чутко дремлет восьмидесятилетний отец Алексея Алексеича. У него борода патриарха, белая, как лен, — она обрамляет все его лицо от самых ушей, — лицо у него чистое и свежее, как у юноши. В чуткой дремоте он слушает слова сына и изредка покачивает головой;

— Так. Так...

Краевед, — тоже седой, — слушая, рассеянно перелистывает журнал, в котором напечатана статья о нем и его портрет; он напряженно щурит то один, то другой глаз — мысль его, повидимому, не успевает за словами Золотарева, — затем говорит раздумчиво:

— Великая это штука — жизнь!.. Всегда были и всегда будут в мире беспокойные бунтари, которые, ломая собственные кости, не перестанут толкать человечество вперед. Я думаю, что природа создает таких с умыслом...

За окном — дождь. По окну медленно стекают белесоватые змейки, ноги прохожих чвакают на продырявленном тротуаре, как рука в квашне с тестом. Завтра я еду дальше, мне надо послать в газету несколько очерков о «торгашеском уклоне» в этом краю, о возмутительных безобразиях в обществе взаимного кредита, о том, что в рыбинском доме крестьянина совершенно откровенная пьянка, о том, что в сельских кредитных товариществах орудуют кулаки, бывшие офицеры и поповские сыновья.

Простившись, я выхожу на улицу, иду по Крестовой — мимо бывшей нашей редакции, мимо бывшего магазина Кузьмы Эльтекова, — почти каждый дом рассказывает мне историю людей, которые жили тут так недавно и, в сущности, так давно...

Вот тут, между двумя каменными домами, когда-то был небольшой двухэтажный дом рыбинского купца Василия Ивановича... я даже позабыл его фамилию, кажется — Неопиханов. В молодые годы он все свое состояние, доставшееся ему от родителей, спустил на девиц и на кутежи, потом ушел в толстовство и пил запоем. Пил он подолгу, иногда по месяцу, и всегда в полном одиночестве. Чувствуя приближение запоя, Василий Иваныч запасался водкой, покупал фунтов двадцать клюквы, с десяток лимонов, редьки и соленых огурцов, запирал все двери и уходил от мира в запойный бред, в сутолоку призраков — в ту особую жизнь, которую рождает в мозгу алкоголь. Во время запоя он никому не открывал дверь, никому не отзывался, как бы его ни вызывали. Он не курил и не ел мяса, летом ходил в валяных туфлях на босу ногу, зимой — в шерстяном чапане и в валяных сапогах, терпеть не мог полицию и ненавидел попов и женщин.

Во время запоя ни в одном окне дома Василия Иваныча никогда не появлялось огня. Этот одинокий человек жил в эту пору очень страшной, а может быть — неслыханно радостной жизнью, — об этом не знает никто...

Но вот однажды парадная дверь неопихановского домика широко распахивалась, и в темной раме ее появлялся хозяин. Длинный выгоревший чапан висел на нем, как ряса, на седую голову был глубоко надвинут широкополый картуз с лакированным козырьком, лопнувшим посредине:

борода спрятана под чапан, под мышкой левой руки у него был сверток белья и огромный и пухлый березовый веник, какие мог вязать только сам Василий Иваныч, — в правой руке — толстая суковатая палка. Со всеми этими доспехами Василий Иваныч степенно шествовал в торговые бани купца Мытникова, не отвечая на поклоны своих знакомых.

Сильно пьющие люди после запоя обыкновенно опухают, лица их становятся синими, одутловатыми; в глазах — тревожная робость; в жестах, в движениях в походке — превозмогаемый страх; в голосе и в словах несмелость и порою даже подхалимство. Василий Иваныч не был похож на таких людей: он совершал свой первый выход, как мудрец после длительных уединенных размышлений; он был худ, матово-бледное лицо — сухо, надменно, во взгляде жесткая твердость и нескрываемое презрение.

В мытниковских банях Василий Иваныч брал номер с паром на два часа, аккуратно запирался на задвижку и в положенную минуту, точнехонько, выходил из номера в коридор, застегнутый на все имеющиеся у чапана крючки. Грязное белье и веник он нес подмышкой левой руки, палку — в правой. Очень хорошо промытая борода теперь была пущена по груди веером. Разыскав номерного, он давал ему пятачок на чай и молча следовал к выходу, не замечая поклонов банщика. Шел он не домой, а в конец Крестовой — к церкви Воздвижения, останавливался там у крайнего магазина, поправлял веник подмышкой, гордо откидывал голову и, широко расставив ноги, мощным басом провозглашал:

— Рыбинскому купцу Ситникову, первому шельме и плуту, мошеннику, разбойнику и обирале — в толстую его харю изрыгаю я ото всех обворованных им мою блево-о-отину!..

Это было общее, так сказать — теоретическое, вступление. После этого Василий Иваныч приступал к постепенному изложению деяний купца Ситникова, приводя все преступные факты из его мошеннической жизни. Вокруг Василия Иваныча собиралась толпа, из магазина выскакивали приказчики, покупатели, из окон соседних домов высовывались лица любопытных, а сам хозяин магазина, пронырнув между приказчиков и покупателей, согнувшись бежал в первый переулок и только там устанавливал степенный купеческий шаг. Приказчики восторженно хохотали, толпа хором повторяла за обличителем его выражения, если только они не были чересчур уж крепки, иногда прибавляя кое-что от себя.

Обличив Ситникова, Василий Иваныч, окруженный все увеличивающейся толпой, шел к следующему магазину, останавливался, опять поправлял веник и потрясая своей палкой, как древний пророк, снова провозглашал тяжелые слова обличения:

— Рыбинскому купцу Евграшке Солодовникову, вору и стяжателю, родного отца отравителю, чужия дщери похитителю, в курносую его харю изрыгаю мою бле-во-о-отину!..

Так он проходил всю Крестовую улицу, обличая преступников торгового и промышленного мира, доходил до полицейского управления и тут, после первых же слов:

— Рыбинскому полицеймейстеру , взяточнику купеческому и губернаторскому лизоблюду...

...исчезал в недрах участка, подхваченный под руки двумя дюжими городовиками.

Однажды рыбинцы заметили, что запой Василия Иваныча длится что-то уж слишком долго. По городу пошли разные слухи, соседи Василия Иваныча настойчиво доказывали, что таких длительных запоев у него никогда не бывало, — парадная дверь его домика не открывалась уже третий месяц... Тогда какие-то дальние родственники решили позвать поли-

цию и взломать запор. В присутствии большой толпы дверь была вскрыта, и в верхнем этаже нашли распростертого на полу Василия Иваныча: он уже сильно протух, из раскроенного черепа на грязный пол вытекли мозги, и тут же рядом лежал дровяной колун...

Василия Иваныча хоронили, как архиерея: за гробом его шли тысячи людей. Убийцу же так и не обнаружили — впрочем его, кажется, никто и не искал... Во всяком случае, полиция была что-то уж слишком равнодушна к раскрытию этого преступления...

У гостиницы «Сан-Ремо» я встретил старого своего знакомого, газетчика. Он приходил ко мне и, не застав дома, направлялся на розыски.

Мы стоим у окна в моем холодном, промозглом номере пахнущем клейстером; товарищ мой смотрит в окно — там, на улице, с шумом, с песнями прошла откуда-то группа комсомольцев. Девушки крепко держа древко, несут знамя, с боку комсомольских шеренг вышагивают рабочие.

— Откуда они взялись Клим? — недоуменно и восторженно спрашивает газетчик. — Ведь до революции тут, кажется и рабочих-то было — раз-два, да и обчелся, а теперь — смотри... Город мещан и торгашей стал городом рабочих. Чудесная это штука революция, а?!

У нас, у литераторов, особый взгляд на вещи. Когда хорошо, мы молчим, потому что в человеческой жизни все обязано быть хорошим, это само собой разумеется и об этом нечего писать. Поэтому мы пишем больше о плохом, чтобы указать на него, сделать плохое самым отвратительным и помочь его уничтожить. Но есть такое хорошее, мимо которого нельзя пройти молча, удовлетворившись лишь его созерцанием.

— А ведь, кажется Рыбинск нисколько не изменился, — продолжает мой товарищ — дома все те же, даже постарели стало даже как-то тише, но вот в этой-то тишине и рождается какая-то беспокойная жажда к работе, к чему-то большому... Не правда ли?

Да, он совсем другой — Рыбинск. Я не могу рассказать подробно — в чем состоит эта перемена, — но внутренне я чувствую во всем его растущую тревожно-радостную новизну.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРАЯ.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ.

Д. Тальников.

Искусство и действительность. — Художественное разоблачение мещанина. — «Сейсмограф» искусства. — Современная деревня в изображении беллетристов. — Писатель в колхозе. — «Бруски» Панферова. — Литература «факта» и художественная правда. — «Необыкновенная» деревня Л. Леонова и Андрея Платонова.

I.

В последнее время, в связи с задачами обоснования марксистской эстетики, у нас много говорят о роли искусства в отношении к действительности. Каковы пределы этих взаимоотношений, каковы требования, предъявляемые к искусству в смысле обслуживания действительности, в смысле «организации» читательской психики? Оставляя до другого времени теоретическое изложение существующих в классической марксистской литературе воззрений на этот счет (главным образом, достаточно разработанных воззрений Плеханова и В. Воровского), мы здесь на некоторых произведениях нашей текущей литературы проследим только основные моменты художественной «практики», очертим тот практический круг вопросов, который ждет своего теоретического разрешения.

Начну с последнего рассказа Вс. Иванова «Особняк», вызвавшего разговоры и споры. Рассказ и в художественном смысле представляется нам очень интересным — своей манерой, характеризующей последний этап творчества писателя, сжатостью, сконцентрированностью, где несколько страничек рассказа составляют, в сущности, уже содержание большой повести. Думаю, что следует особо остановиться на этом новом писательском стиле Вс. Иванова; здесь сейчас меня интересует другая — идеологическая сторона последнего произведения Иванова, именно в силу своих художественных достоинств подымающего свои образы на высоту художественных символов. Весь смысл, все содержание этих символов — в том, что сейчас выползают на свет божий притаившиеся в дни революционного подъема и бурь мещанские элементы общества, обыватель, который «скоро забыл о революции», но жил одной мечтой, одной «непререкаемой необходимостью» своей классовой собственнической природы: «он должен иметь дом, жену, скот». Это был приспособившийся к революции элемент, подыгрывавшийся к ней, рядившийся в защитные одежды, умевший извлекать из нее всю личную выгоду, накапливавший на ее муках свое благосостояние, «нувориши» революции, терпеливо ждавшие своего. Писатель превосходно передает путаную, казалось бы, психологию своего героя, а в действительности очень понятную. За «монархизм» ли Чижов? Нет, он «политику презирает», он за тот порядок, при котором он может владеть своим имуществом, своим наполеоновским креслом, обстановочкой. Он как будто «сильно скорбел о монархии», но он же «искренно»

пишет о «правах бедноты», ибо детство его в условиях монархии вовсе не обеспечивало ему радостей жизни: и «корки черного хлеба не было», «ночевал на барке у пруда», «мастера били колодками по рукам» — гнусная жизнь мелкого нищенского мещанства. Нет, в прошлом не было для этих промежуточных элементов надежд на выход «в люди». Пролетарской революции они предоставили охотно мстить и за свои классовые обиды. И он пишет доносы в исполком, он «способствует уничтожению великого князя», офицера-белогвардейца; пишет донос и на комиссара; «ni foi, ni loi». Впрочем, есть одна вера и один закон — это собственность священная, «это мой дом и моя мебель!» Он ждет и подкарауливает, этот хитрый, настойчивый, мелочный враг, «мелкий бес» пошлости и спекуляции, — он старается, когда это «можно», обмануть власть так же, как он обманывал раньше учреждения или торговцев, он учитывает и чуждые ему общественные дела, и когда эти дела как будто очищают перед ним поле его деятельности, он моментально захватывает это поле: и вот он вновь очутился в своем «особняке», среди своей обстановочки. На сцене фигурирует малиновое варенье, солидная жена, все, что необходимо «для счастья». И «сердце Ефима Сидорыча было наполнено спокойным торжественным ожиданием...» Для «торжества» Чижова именно важны не его какая-то «внутренняя» предопределенность, а классовая определенная обусловленность, детерминированность, его классовые и социальные качества, которые художник вскрывает очень четко; для читателя нет никаких сомнений в классовой характеристике Чижова, приспособившегося к революции, сумевшего ее использовать, нет сомнений и в характере классовых чаяний и ожиданий Чижова. «Особняк», о котором мечтает поднимающий голову мещанин, — символ нео-буржуазной идеологии этого мещанина.

Чижов — этот тот «tertius gaudens», та «третья сила», которой не надо дать торжествовать, — вот социологический урок яркой повести Иванова, приобретающий свое значение именно потому, что повесть базируется на художественной правде, которая не может не быть социальной. Мог бы возникнуть другой вопрос — «неполноты» картины, взятой Ивановым, о том, что не показаны им в повести те реальные силы, которые способны бороться с кулаком Чижовым, — это вопрос писательского «зрения», пессимистической психики, социальной обусловленности, которой мы дальше коснемся. Крупнейшим социальным недостатком рассказа Вс. Иванова и его творчества последняго периода является, действительно, его пессимизм, который мрачной печатью лежит на всех нынешних его произведениях. И с этим писателю надо бороться...

II.

И вот в чем социальное значение творчества, которое ищет художественной правды и бежит опасностей преднамеренности. Плеханов прекрасно заметил, что «правильное отношение к предмету требует от нас, чтобы мы взглянули на него не с точки зрения того, что должно было бы быть, а с точки зрения того, что было и что есть». Искусство должно художественно-правдиво выявлять скрытые силы общества, «то, что есть», вскрывать и его болезни и его здоровый рост. Искусство, позволяющее нам заглянуть бестрепетным оком художника в формирующиеся в недрах жизни явления, выполняет, повторяю, огромную общественную функцию «следопыта», «разведчика», тонкого барометрического аппарата. Когда Ник. Никитин писал, что «нельзя требовать от художника, чтобы он был общественным сейсмографом, что это не глав-

ная цель искусства, что у него свое ухо, своя игра, только ему присущая»,—он был, может быть, субъективно прав в том смысле, что «требовать» чего-либо от художника вообще нерационально, но он объективно совершенно неправ, ибо не в этом, конечно, «главная цель искусства», но в этом одна из его функций, и поскольку художник слышит «своим ухом», ведет «свою игру», он вовсе не свободен, как думает Никитин, он классово обусловлен, и обусловлено это самое его «ухо», и «игра» его—вовсе не пустая, свободная игра в бирюльки от искусства, в «кружево». А поскольку художник является выразителем социальных настроений, психики, в которой находят свое выражение известные социальные отношения, он является тем тончайшим «сейсмографом», который говорит социологу не менее внятно, чем его научные искания,—но говорит на другой лад. В этом именно смысле, а не в каком другом, вульгарно-дидактическом, искусство можно рассматривать как глубокую «интуитивную» психологическую разведку в жизни, информацию об ней, как перископ подводной лодки, отражающий на себе мельчайшие движения и изменения путей общественных.

И в этом смысле, чем непосредственнее, искреннее, «честнее», чем «свободнее» будет отдаваться своему творческому исканию писатель, «своему уху», «своей игре»,—тем ценнее и для нас его искусство—не только в смысле художественном, но и социологическом. Конечно, «приказывать» писателю писать иначе, чем он пишет, как мы уже сейчас говорили, нерационально. Литература не делается по «заказу», как примитивно и глубоко неверно, «чудовищно-элементарно» и «механически» (по выражению Л. Авербаха) понимают иные вульгаризаторы глубокую диалектическую мысль о так называемом «социальном заказе». Л. Авербах правильно формулирует сущность этой мысли: художник «свободен в выборе своей темы. Он еще более волен в пользовании методами оформления взятого им материала. Но мы знаем, что его свобода является функцией классовой необходимости. При свободном выборе темы автор детерминирован социально-психологическим заданием его современности»... Это, а не «насильственно навязываемый ордер на произведение» (как выражается образно Л. Авербах), и есть в искусстве «социальный заказ» в своем подлинном и глубоком смысле... Писатель с «ордером»—не художник... Это изложение на языке современности того, что говорил Плеханов, когда подчеркивал, что суждение Канта о природе эстетического наслаждения, «свободного от всякого интереса», «вполне верно в применение к о т д е л ь н о м у лицу». «Суждение вкуса н е с о м н е н н о предполагает отсутствие в с я к и х у т и л и т а р н ы х с о о б р а ж е н и й у индивидуума, его высказывающего» (дело изменяется только тогда, когда мы говорим об «общественном человеке», в основе эстетического чувства которого лежит «польза»).

III.

Я остановлюсь еще на примерах писателей, художественно познающих предмет так, как они видят его, «своим» глазом, и встречающих потому, вместо осмысления этого факта критиками, одно резкое отрицание. К категории вопросов, особенно интересующих современность, принадлежит вопрос о деревне. Какова она—нынешняя, современная деревня?

В свое время подверглась почти сплошному отрицанию критики превосходная в художественном смысле повесть К. Федина «Трансвааль», в которой автором выведен со всей силой художественной правды от-

вратный читателю, внушающий явную неприязнь к себе, несмотря на всю его, казалось бы, промышленную активность, — представитель кулачества, выразитель новобуржуазной идеологии, подымающей голову в нашей деревне. Один только, кажется, Зонин (в «Звезде» 1926,6) защищал писателя от обвинения в «апологии кулачества»: «Сваакер, лживо, актерски ведущий красные роли, хладнокровно убивающий крестьянина, выгоняющий из своего дома одну за другой ставших ему ненужными женщин, Сваакер-хищник возбуждает классовую ненависть».

Некоторая часть критики подчеркивала в противовес этому, что наличие изображения кулака в отвратном виде еще недостаточно и вопрос о «соотношении классовых сил» в произведении Федина решен независимо от того, «показаны ли в произведении силы, способные реально бороться с кулаком, или последний дан как единственная активная сила нашего хозяйственного и культурного прогресса» (формулировка Мустанговой в сборнике «Голоса против»). Т. е. автору ставились в упрек односторонность изображения, неполнота и этим самым извращение тех фактических соотношений, какие критики находили в современной деревенской действительности. Эта неполнота, как увидим дальше, есть, конечно, свидетельство известной социальной классовой обусловленности писательской психики, социального пессимизма, как и соответствующая «неполнота» может быть поставлена критиками в упрек и автору «Особняка», но от этих упреков далеко до обвинений писателя в «нео-буржуазной идеологии», в «апологии кулака» или в «придумывании» его. А между тем даже и сейчас — даже в последней книжке «Печати и революции» — мы опять встретили очередную критическую нелепицу об этом самом «Трансваале», в котором автор, по мнению критика, «открыл какого-то почти мистического «кулака» Сваакера, сильно смутив читателя таким до удивления нетипичным, непочвенным явлением русской деревни» («Печать и революция», 1928, 7).

И вот в № 292 «Комсомольской правды» (от 16/XII 1928 г.) находим блестящее фактическое подтверждение образа Федина. Этот «почти мистический», по уверению критика «Печати и революции», «кулак» (в кавычках), описанный Фединым, — живой портрет некоего Юлиуса Саарека, культуртрегера и владельца завода «Трансвааль-жернов» в селе Павлинове Смоленской губ., в действительности превосходящий своей энергией и культурным размахом весь масштаб фединского Сваакера: «Комсомольская правда» бьет тревогу: «Сильнее огонь по кулаку! Присматриваться, изучать, видеть, слышать»... Но это-то и сделал Федин еще 2—3 года тому назад. И не в одной «портретности» сила Федина: его образ — художественный символ явления, признанного сейчас глубоко актуальным, против которого объявлен поход партийными органами.

«Нелепо же» — опять вспомним Плеханова — «порицать» тех писателей, которые выражают «неприятные» явления действительности.

Встает вопрос — нужно ли вообще вскрыть «деревню как она есть», бестрепетно-правдиво, беспощадно, пусть и жестоко, — нужно ли следовать в этом тому разоблачению старых народнических взглядов на деревню, идеализировавших ее, той «ревизии», которую в высокохудожественном плане начали в русской литературе предреволюционной Чехов и Бунин (отчасти С. Подъячев и Ив. Вольнов)?

Слепота никому не приносила пользы в литературе. Безбоязненность постижения и учета, *предельная зрячесть* — вот чего мы ищем сейчас.

О деревне нашей, современной много у нас пишут. Роман Панферова «Бруски» считается последним достижением пролетарской лите-

ратуры и сравнивается, например, с «Разгромом» Фадеева, бесспорным, на наш взгляд, достижением. Когда критик «Нового Лефа» П. Незнамов, в связи с романом Панферова, выдвигает свою лефовскую точку зрения, что такая «общественная злоба», как деревня в условиях современности, бежит, как чумы, «художественных методов», что это «почти на все сто процентов — публицистическая тема», что «знания о деревне «полезней всего» «вкладывать в газету», — то перед нами оправдание в сущности, мотивов «дидактического» искусства, цели которого В. Фриче характеризует не как возбуждение эстетического наслаждения», а как «передачу полезных сведений и научных истин в более или менее изящной форме». «Рост научных знаний» сделал это искусство «излишним», и оно «уступило место, — по формулировке т. В. Фриче, — популярным научным книгам, статьям и лекциям». Такая формулировка ясно отграничивает область искусства от области «дидактики», и такие произведения, сообщающие «полезные сведения» вообще подлежат критике, главным образом, публицистической.

Лефовский критик «поверяет» роман Панферова «газетой», «очерком», т. е. ставит данный роман в одну плоскость с публицистическими произведениями, примеряется к нему как к факту прозаическому и документальному («дескать, не роман, а прямо путь к социализму»), и приходит к тем или иным выводам опять-таки практического характера. Любопытно, что и в «Читателе и писателе», (№ 28) другой критик ставит в упрек Панферову то, что его роман не дает ответа на следующие вопросы — перечисляю их для комизма: «Что это за тип колхоза? коммуна, артель, товарищество по обработке? Каков его хозяйственно-организационный строй? Как оплачиваются члены коллектива: по затраченному труду или по принципу уравнительно-потребительской системы?» Что же перед нами: роман или экономически-статистическое исследование?

Но то, что роман поддается этой «примерке» и «поверке», хотя бы и с неудовлетворяющими критика результатами, — явление для романа особо характерное. Когда к «Войне и миру» начинают подходить со всякого рода такими «поверками» на подлинном факте, то из этого тоже как будто ничего хорошего для Толстого не получается: и там он перепутал, а там взял недостоверное, а там использовал газетную неверную вырезку или чужое описание, — вообще получается не роман, а какой-то сложный набор ассортиментов; но все эти «поверки» ни в какой степени не харектеризуют творческого мира романа Л. Толстого; но только этот творческий мир, в себе заключенный, своими законами управляющийся, — и есть единственно важное в романе Толстого, а вовсе не «передача полезных» или фактических сведений. Роман Толстого не поддается такой публицистической «поверке». Такого рода художественные примеры полезно вообще продумать. Мы до сих пор смешиваем различные плоскости литературные: область искусства и область газетной или иной «дидактики». Задачи искусства и задачи точного изучения жизни — разные. Совершенно прав в этом смысле П. Незнамов, когда говорит, что «нельзя изучать жизнь по литературе». Литературные художественные факты имеют «слишком красивое оперение», за которым «не видно вещей». В том-то и дело, что вовсе не «вещи» — задача искусства, не «вещи» как таковые, в самих себе. Они — материалы искусства. Но будучи недоволен классической литературой именно за ее достоинства в этом смысле, смысле творческого преодоления «вещей», — лефовский критик зовет к другой литературе — натуралистической «вещи», литературе «факта», «реаль-

ного материала», литературе, которая является копией жизни, фотографией ее.

«Бруски» Панферова не удовлетворяют его с этой точки зрения, но и вообще художественная литература, как я уже сказал, не может его удовлетворить с этой стороны. Опыт проведения «фактической» литературы, осуществления практического «заказа» был проведен писателями в летней их экспедиции в колхозы. Писатели проездились в деревни тем же «галопным» аллюром, каким ездят по Европам, и, конечно, результаты оказались столь же плачевными. А задачи художественного изучения колхозов были поставлены утилитарные, служебные: в «Колхозцентр ежедневно со всех концов Союза поступают требования на художественно-правдивую книгу о колхозе» («Гудок», 1928, 23/XI). Теперь на совещании писателей, вернувшихся из своей «экспедиции», выяснилось то, чего и можно было ожидать. «Писатель познакомился с колхозами поверхностно, не проникая в сущность экономической жизни», — да где же проникнуть за какие-нибудь 2—3 недели или месяцы? У одного писателя в получившей массовое распространение книге сельские коллективисты, оказывается, доходят до такого благополучия, что пьют... какао. А представитель Колхозцентра принужден заявить, что этот факт, «на деле далеко не отрадный, и свидетельствует не о благополучии колхоза, а о легкомысленном расходовании средств». Писатели тут же на совещании указывали «на свою полную неподготовленность к этой работе». Обследуемые колхозцы с своей стороны старались «показать товар лицом»... Разве так делается «художественно-правдивая» литература? Разве писатели этого раньше не знали? Разве таким «хождением в народ» можно изучить этот народ? Лефовец Третьяков пришел наконец-то к заключению, что для такой литературы «фактов» писатель — «величина непригодная», здесь нужен журналист, который мог бы живописать, как колхоз может явиться «ценнейшим политическим экспонатом»... Конечно, искусство-то тут не при чем.

IV.

Но именно с точки зрения искусства, «художественно-правдивого», «Бруски» удовлетворяют читателя в весьма слабой степени.

Роман «Бруски» в значительной степени поддается фактической «проверке», просится на публицистическую «примерку» — и это определяет в известной степени его основной характер. С этой стороны, так называемого «содержания», роман представляет значительный идеологический интерес. Автор берет «новую» современную деревню в ее расслоении, — весь клубок событий концентрируется вокруг острой темы о колхозном строительстве, так интересующем, как мы видели, нашу общественность. Организованный деревенской беднотой колхоз «Бруски» подвергается беспрестанному натиску злобствующего кулачества, в лице Чухляева и Плакущева. В романе выведен и крепкий середняк, идеолог индивидуального хозяйства, энергичный Ждаркин, хороший работник, которого напрасно артель зовет к совместной работе. Однако, несмотря на видимое экономическое преуспевание, Ждаркин чувствует свою неустойчивость промежуточного элемента в борьбе расслоившейся деревни, чувствует свою оторванность от строительства «новой» деревни, тоску и смятение душевное. Колхоз — по мысли автора — должен втянуть его, бывшего красного командира, проделавшего гражданскую войну, в свое русло новой бодрой передовой жизни. Борьба старой и новой деревни вокруг новой экономической

организации хозяйства наполняет страницы романа своим гулом; первая часть романа кончается тяжелым звериным побоищем из-за распределения воды. Степан Огнев, — организатор колхоза и вождь «новой» деревни, представитель деревенского актива, крепкий и смелый человек, энергичный, терпеливый и мужественный, — тяжело избит в общей свалке — и был бы убит, если бы его не спас деревенский богатырь Яшка, сын кулака Чухляева, перешедший на сторону бедноты. Пусть через тяжелые испытания, через трагическую борьбу, но деревня сдвинута революцией с мертвой точки, в муках рождается «новая» деревня, обусловленная новыми экономическими отношениями в стране, — она бодро и смело движется через все препоны старого быта к светлому будущему истинного коллективизма. Таковы напрашивающиеся выводы автора.

Как видит читатель, роман затрогивает ряд событий актуальнейших в деревне, злободневных; его стержень — борьба за коллективное хозяйство; автор распределил своих действующих лиц по правильным (с точки зрения политграмоты) классовым группировкам, — но вот критик «Лефа», который, казалось, должен бы быть доволен этим практическим подходом к делу, жалуется, что автор «не сообщил этим группировкам реальности». Но и читатель, ищущий в искусстве «специфики» искусства, тоже недоволен, и мотивировка как будто бы у обоих та же: соперничество группировок, видите ли, у Панферова движется «классовыми интересами», но «вся эта борьба правильна только теоретически, в своем алгебраическом выражении. За шахматными фигурами деревенских культуртрегеров нет...» Чего нет? вот тут-то и расхождение. Лефовец жалуется, что теоретическим схемам не сообщено в романе Панферова «реальности» прозаической, натуралистической, «газетных фактов»; наш читатель будет требовать «реальности» художественной, творческой, эстетической, преобразующей жизненные факты в факты художественные. И не в том, в чем видит критик, ахиллесова пята романа, а именно в этом факте недостаточно творческого преображения натуралистических схем. «Разгром» Фадеева именно потому исключительное достижение «пролетарской» литературы (я бы сказал: вообще современной литературы), что он ушел из плоскости культивируемого натуралистического романа, (не говоря уже о том, что он ушел из плоскости так называемого «тенденциозного» и дидактического романа) — романа жизненных фактов (вернее: газетных фактов, нашей литературной практики, ибо авторы и жизнь нашу не изучают, а только газетные «вырезки» о ней), романа обязательных тенденций — в плоскость романа художественной правды, художественного претворения и «просвечивания» фактов. Роман Панферова — не роман газетных «вырезок», оттого и лефовский критик недоволен им. Но читателю нужно от художественной литературы творческого обобщения лица деревни, ее познания не практического, а творческого преодоления чисто-натуралистических фактов о классовой борьбе расслоенной деревни, борьбе за коллективное хозяйство. В романе нет художественного правдоподобия, и приходится верить на-слово автору, что в нем есть натуралистическая правда; и вот, так как в искусстве гипнозом правды обладает только художественная правда, то моменты панферовской деревни перестают казаться читателю убедительными: и в жизни, думается, все происходит более сложно, не все так прямолинейно и отграничено, не все так схематически ясно, не все так отчетливо «классово» расслоено. «Деревня красивого оперения», т. е. не обладающая всеми достоинствами художественной правды, правдоподобия, идеализированная, не-

убедительная — такою она воспринимается читателем, — деревня, как ее хотелось бы видеть сейчас, с теми элементами ее, которые рождают в нас уверенность, что деревня сдвинулась с мертвой точки, что она — «новая» деревня.

И стиль романа, язык его, образы соответствуют всему его характеру постижения действительности: они тоже в рамке старого идеалистического штампа о деревне. Тянется вяло повествование, как будто оно написано человеком 40-х и 60-х годов. Пусть деревня и сейчас в подлинности своей вялая, медленная, неторопливая, но в нашем восприятии, современных городских людей, и самая медлительность деревни отмечается под углом зрения современного «экспрессионизма», современного ритма жизни. Нет художественной напряженности, остроты в восприятиях Панферова. Мы в области штампов: «Не зама-а-ай! Чего старую болячку? — А он в нашу нужду вошел, ублаготворил нас лугами? — И замелькали корявые кулаки, кровью налились воспаленные глаза, затряслись от злобы бороды, лохматые шапки, линялые картузы». Это все трафаретно, серо, резиновая жвачка, все эти «корявые» кулаки, «кряжистые» герои, все эти «не зама-а-ай», все это мы читали бесконечно давно и много раз, — и все это потому, что имеются у автора благие намерения, а нет того, что самое важное в искусстве — «своего» уха, «своего» глаза. И оттого — скучно.

Его образы слабы и надуманны: «Галдеж улегся пылью в тихую погоду на большой дороге». «Будто телега с грохотом скатилась под гору в реку — смолкли мужики». Его мужики так говорят: «Разговору на селе вообще не оберешься. Утрось вон Железный тоже намеки, да — наплевать». Его герои банальны: «гуляют» банально, как «гуляли» до Панферова — в многочисленных романах наших — девки и парни над Волгой; «на него сегодня просто напало веселье. Ему просто хочется сегодня во всей полноте показать свою удаль... — Крой! Жарь!» А вот сусальная героиня — девка деревенская — «под березкой, совсем в стороне от других, лежит Стешка... Не спится Стешке — не клонится у ней голова. Смотрит она на Волгу, на далекую синь степей, на пароходы: «Завтра девки пойдут с ребятами чай пить... Там увижу его... За сосновыми шишками одна пойду, поманю его... Придет, чай?» У этой самой Стешки, которая трафаретно «выросла, выпрямилась, налилась спелой сливой», «выступили упругие груди», так что у парня одного «чуть дрогнула нижняя губа». Огнев, «новый» человек деревни, говорит, как по писанному: «Я вот что думаю, надо работать в ногу с нашим правительством, с партией, чтоб от всей работы радость получить». Эту правильную мысль надо в искусстве выразить образнее: это слишком казенный, «газетный» язык для живого человека действительности. «Кооперация является единственным выходом из тяжелой крестьянской жизни», — пишет у Панферова другой герой; третий указывает, «что единственным выходом из нищеты для крестьянского двора является коллективизация крестьянского хозяйства», — правда, это речь на съезде, но только критику впору бы заниматься вот этим переводом «идеи художественного произведения с языка искусства на язык социологии», о котором говорил Плеханов, а писатель должен заниматься «языком искусства»... Вместо этого мы находим «полезные» сведения, резолюции, — но и только.

Это искусство, конечно, «организует» читателя в известном смысле, подымает в нем желание уверовать в новые горизонты деревенской жизни, в то, что борьба за «новое» там уже, несмотря на все временные поражения, близка к окончательному победоносному завершению.

Пессимизма нет в этой картине, и в этом бодрое значение романа; несомненно, что добродетель восторжествует в конце концов, но все ли это, что нам надо в искусстве? Дает ли нам, однако, этот роман возможности не только «эстетического наслаждения», о котором говорил Плеханов, но вообще и художественных познаний образа современной деревни в ее художественной правде, ее настроений, ее общих черт, ее лика? Убеждает ли нас в том, о чем говорит?

Не потому роман Панферова подымает эти сомнения, что он коснулся так называемых «светлых явлений» современной деревни, а потому, что не сумел сделать их из жизненных фактов фактами искусства, — рассказал о них, но не показал, не сумел освободить их от элемента «случайности» и сделать типичными. Наличия «светлых явлений» даже и в деревне, старой «дикарской» чеховской и бунинской — сдвинутой революцией с своих насиженных мест, конечно, никто не будет отрицать, но в искусстве, повторяю, «светлые явления» (как впрочем и «темные») имеют право на существование только тогда, когда они сделаны предметами искусства. Вот почему, может быть, и правдивые жизненно факты Панферова не кажутся нам художественно убедительными, правдоподобными.

V.

Эти вопросы особенно тревожно теснятся в нашем мозгу, когда мы у других современных художников, в искусстве другого порядка, встречаемся с той же современной деревней, но совсем иначе показанной, когда «темные явления» деревенской психики неожиданно становятся вдруг художественно-убедительными под пером писателя.

Недавно художник другого искусства Эйзенштейн рассказал в «Вечерней Москве» о своей экспедиции в деревню для художественных съемок «Генеральной линии»: перед нами тоже своеобразный натуралистический этюд. Задание картины было: «Мы едем в глушь Пензенской губернии снимать мрак и бедноту, как следствие жадности, эгоизма и волчьего сожительства, вместо коллективно-организованного общего хозяйствования». Итак, задача почти панферовского типа. И что же художник находит? «Черный дым поджогов, раздоров, семейных разделов, драк и убийств, которыми кишит этот угол Пензенской губернии. Волчий угол, где на 12 000 жителей нет ни одного комсомольца! Угол, кричащий о культурном походе». Это — не деревня Панферова. Это — литература правдивого «факта», и сможет ли критик, назвавший Вс. Иванова «реакционным» писателем за то, что он художественно увидал реакционное явление в уездно-городском масштабе, назвать и Эйзенштейна «реакционным» наблюдателем за то, что он увидал реакционный жизненный факт в масштабе деревни? Но такая литература всегда «случайна»: мало ли что делается в глуши Пензенской губернии! Нам нужна художественная правда о деревне.

Совсем незамеченными прошли в нашей критике «Необыкновенные истории о мужиках» Л. Леонова, напечатанные в «Звезде» и «Красной нови». Говорят много и пишут о крупных его романах, как «Вор», а между тем насколько значительнее именно эти крошечные рассказики в несколько страничек. Они, быть может, и вообще составляют самое ценное в художественном смысле, что написано до сих пор молодым писателем.

Леонов своего отчетливого литературного лица как будто еще не имеет: он слишком рано начал печататься и пользоваться «успехом» у критиков; при больших своих способностях к стилевой имитации он

еще весь в том или ином влиянии сильных художественных индивидуальностей, он — в некотором смысле, хороший художественный «копиист», как его кто-то удачно назвал. До сих пор им владел в большой степени Достоевский, и сложную современность нашу он пытался подогнать к исключительному миру психологических изощренностей и рефлексий этого яркого изобразителя больной души русского интеллигента — разночинца эпохи великих смятений. Не зная заранее имени автора, трудно было бы предположить, что нынешние мужицкие рассказы Леонова написаны тем же пером, каким написан «Вор». В этих рассказах необыкновенно резко обнаружилось более благодарное для молодого писателя влияние Ив. Бунина и его деревенских рассказов, — влияние, которое испытали и испытывают на себе многие современные писатели (в том числе и Вс. Иванов последнего периода) и стилистически, и художественно-композиционно и тематически. Не только самый жанр маленьких рассказов-новелл, не только тематика, но и язык, система выразительных средств, интонационно-синтактический строй, композиция — вся манера вообще, весь стиль—и что еще важнее, — общее мироотношение, скептицизм, идеология — все здесь от бунинской деревни. От прикосновения к могучему влиянию Леонов сам стал неузнаваемо-крепким, сжатым, напряженным, динамическим. Эти маленькие рассказы захватывают читателя своей свежестью, в них нет обычной вялости и тягучести леоновской, нет ничего лишнего, все скупо и сжато; линия сюжетная развивается сжато и сильно, образы крепкие, четкие, запечатленные подлинным дыханием художественной правды, подымающиеся — как это во всяком настоящем художественном произведении — на степень символов. Без подчеркивания, без всякой видимой тенденции, просто течет рассказ, и просто вытекает из него потрясающий смысл.

Мы знаем бунинскую деревню, захваченную писателем в последние годы дворянского угасания, окончательного распада «Суходола», в годы новых веяний, революции 1905 года, выборов в Государственную думу и кануна наших дней.

Как живет бунинская деревня в наши дни? чем дышит? — вот тема Леонова.

VI.

Художественная литература, конечно, не является точным объективным отображением жизненных явлений. Современные литературоведы-марксисты предостерегают от такого подхода к художественному произведению. Задачу критики они видят в том, чтобы «прощупать в художественном произведении тот пункт, где объективное изображение переходит в субъект, где изображаемое и изобразитель образуют органическое единство» (сб. «Литературоведение»). Необходимо обратиться от изучения действительности, о которой говорится в художественном произведении, — к той действительности, которая в «нем говорит». Преломление действительности через своеобразную психическую призму писателя, восприятие ее каким-то углом, именно отвечающим его общему строю душевному, — субъективно-классовое восприятие этой действительности делает то, что данное произведение изображает не столько весь объект, сколько отдельные черты объекта. «Как цветное стекло пропускает только лучи определенной окраски, так и авторская психика пропускает только соответствующие ей понятия и образы», хорошо сказал об этом Воронский. На основе объективной действительности строится особый мир, «свой» новый мир — мир искусства, по-

«своему» выражающий эту действительность и не претендующий на точность исторического документа. «Чеховская Россия» в известной мере есть не подлинная Россия 80-х годов, а характерное для Чехова и людей его класса представление об этой России, — в известной степени только то, что они хотели и могли видеть в ней. В какой степени «Грибоедовская Москва» существовала в действительности как общее типичное явление действительности — и в какой ее не было, по уверению таких, тоже субъективных, хотя и бесспорно либеральных свидетелей, как кн. Вяземский? Известно, что он писал: «пора, наконец, перестать искать Москву в комедии Грибоедова. Это разве часть, закоулок Москвы. Рядом или над этою выставленною Москвою была другая, светлая, образованная Москва. Вольно же было Чацкому закабалить себя в темной Москве». Вот налицо здесь это обычное противопоставление «светлых» и «темных» явлений действительности, преломляющейся в глазу художника одним своим «закоулком», в его сознании художника — одной «стороной общественного (или классового) сознания» (Плеханов). Выяснить, «какой именно» стороной, найти этот «закоулок», где объективное изображение переходит в субъект (как выражают формулу Плеханова современные литературоведы), где «изображаемое и изобразитель образуют органическое единство», — в этом задача критики. И вот почему всякое художественное знание как знание — относительно. Бунинская деревня — тоже «закоулок», «часть» объективного целого, деревня деклассированного дворянина, ушедшего от своего класса и ставшего городским разночинцем 90-х годов, передового интеллигента-европейца, космополита, «гражданина мира», воспрявшего с особенной болью и отверженностью дикую отсталость и атавизм своей родины, но не порвавшего в конце концов со своей органической классовой психикой.

В. Воровский, отмечая в свое время художественные достоинства этой «яркой и правдивой картины быта падающей, нищающей, старой» бунинской деревни, указывал именно на «односторонность» ее образа, «неполноту» картины, — что объяснял классовой обусловленностью и «узостью» психики автора: «новая деревня, — писал критик, — т. е., собственно говоря, та переходная форма деревенского быта, которая существует сейчас, нечто промежуточное между разрушающейся старой крепостнической деревней и складывающейся буржуазной — чужда, неприятна людям, с родственной Бунину психикой. Они видят в ней только упадок и вырождение, не замечая элементов новой жизни»... «Не в том дело, что в деревне нет новых людей; они есть, это бесспорно. Но они не попадают в поле зрения нашего автора — и в силу его специфической психики, и в силу того, что сами они еще слишком новы и слишком индивидуальны». Соображения одного из талантливейших марксистских критиков истекшей эпохи не теряют своего значения и в наши дни и могут быть применены и к современному бытописателю деревни.

Современная деревня для нас в большой степени «сфинкс», каким была и для предыдущих поколений. Описания ее (Феноменова, Яковлева, Большакова) неполны, сделаны на ограниченном материале. Сдвиг, перевернувший все экономические и бытовые отношения в деревне, не мог еще найти своего полного выражения в консервативной психике деревенского человека; художественно закрепить эти глубокие и медленные «слишком новые и слишком индивидуальные» процессы — удел искусства, но трудный удел, и мы поэтому внимательно всматриваемся, зная всю относительность их, в художественные образы, подымающиеся

до степени художественных символов, знаков о жизни, — и эти знаки дают нам, конечно, свое, особого характера, знание. Мы видали, что критик прибег к «поверке» панферовской деревни данными нехудожественного порядка: он имел на это известные права. То же сделал и Плеханов в своей критике Успенского, в качестве фактического материала для ревизии его теории о природе (как главном организующем факторе) привлекши данные о состоянии земледельческого труда в Соединенных штатах, книгу Зибера, книгу Мэпана и пр., ибо и сам Успенский прибегал к документам публицистическим.

Поскольку рассказы Леонова вне этой публицистической тенденции, выдержаны в чисто-художественном плане, к этим «поверкам» их фактами действительности прибегать нам не придется: художество, как мир особый, «необыкновенный» — по своему убедительно. Нам надо только помнить о поправках на творческую психику...

VII.

Герои, действующие в «необыкновенных» рассказах Леонова, покорные, безропотные, пассивные люди, во власти природы, стихийности, без своей разумной воли, игрушки в руках судьбы, случайностей, — знакомые нам герои классической бунинской деревни, отсветы всех этих Иоаннов Рыдальцев, Шашей и пр. Эта жуткая «фантастическая» старая дореволюционная деревня живет звериным, атавистическим бытом, как жили во времена «рюриковичей». Бедность, убожество, невежество, заброшенность и душевное уродство, позерство, любование своим несчастьем, бахвальство и озлобленность против «мира»... Новые силы подрастающей деревни, как увидит читатель, не вошли в поле зрения Леонова. Писатель знает в деревне «только упадок и вырождение, не замечая элементов новой жизни», о которых говорил уже и Воровский, и о которых тем с большим основанием имеем право мы говорить. Писатель оперирует старым материалом старой деревни, живучей, конечно, в известной степени и сейчас, которая и сейчас лежит тяжелым камнем над пробивающимися ростками новой деревни. Во власти стихийности эти люди, во власти бесконечных расстояний, распутиц, тяжелых зим, неурожаев, болезней.

В «Темной воде» Мавра, огромная и жилистая, несет, «как хоругвь», бесстыдно и напоказ, свое знаменитое в округе уродство. Ее жизнь безнадежна своей безрадостностью, но ее приняла Мавра «безропотно, как умеют только мужики». Мало того: она «рисуется», «играет» своей злой судьбой. Слепота, надвинувшаяся на нее, становится «сладостным» горем (своеобразной «сладостной легендой»), «единственно важным событием за всю жизнь», равнявшим ее с «людьми и миром». В бессмысленной краже у фельдшерицы, делавшей ей только добро, ей видится месть миру «за обиды и лишение счастья»; здесь «бунт» личности, единственное проявление личности, осмелившейся на потайное и постыдное, и он осмысливает ее дни: «в звериной жизни ее объявилась, наконец, цель существования». Мавра ослепла от своего невежества, своей злобы против науки, против того, иного мира счастья и радостей. «Она шла твердо и гордо, неся горький мрак свой, как знамя безжалостной борьбы против мира: злоба влила новые силы в ее огромное тело»... Но даже такое страшное несчастье для человека, как потеря зрения, не воспринимается в этом быту как несчастье, ужас. Она «голосила тоненько, бесслезно и неискренно» — над мертвым ли петухом, задушенным ею, или над «дру-

гими двумя внезапными мертвецами, ее померкшими очами». А поголосив, она «вытерла губы и уже наощупь стала затапливать печь».

Жуткой бессмысленностью веет еще в большей степени от другого рассказа «Приключение с Иваном». Фантастика, гротеск, анекдот, как прием, обостряют художественное постижение творческой правды писателя. Глухой, беззлобный и одинокий плотник Иван случайно попадает в село во время поимки конокрада-кузнеца. Конокрада ожидает смерть, с которой он заранее уже «примирился». Но вот на сходе старик, «бесстрастный и мудрый», подходит к делу с точки зрения хозяйственной, «собственнической», всем понятной: кузнец один на полторы волости, в хозяйстве он «первый гвоздь», а плотников — четыре. Убить необходимо во имя «священной собственности», но если невыгодно убивать виновного, то убьем невинного. Такой невинный — этот самый Иван: «он был сирота, он был плотник, он был убогий человек, оплакивать которого было бы некому»; он «миру» нужен, как жертва, для умилостивления злых божеств первобытного дикаря. И вот сразу же у всех этих добрых крестьян лица стали «чужие и холодные». Превосходно изображена эта дикая бессмыслица жестокости. Мужики обещают глухому Ивану: «Уж мы тебя не забудем!.. Как сына похороним... во», и это не глумление, а граничащая с наивностью детей искренность. «Мир» повлек жертву за деревню, «деловито ковыляли старики», «впереди неслись ребятишки», «как по сговору, высоко заголосили бабы». Ивана застрелили — без злобы, даже с жалостью, — эти дети, беззлобные в своей наивной жестокости.

Еще более потрясает своей атмосферой дикарства приключение с Копылевым («Возвращение Копылева»). Копылев — тоже игрушка случая: он ушел из деревни, «вскинуло его великим ветром на житейские вершины»; он попадает случайно на усмирение родной деревни: мужики нагромоздили бороны зубьями вверх, но Мишка, «облеченный властью эпохи», усмирил деревню «своим мужицким способом», сжег ее. Согнав сход, в розовой рубахе и увешанный оружием, он сидел в кресле, и мужики «покорно преклоняли головы перед идеей, которую приносил им Мишка Копылев». Но Мишка сам за «бурные самодурства» отовсюду выкинут, в мире не пригодилась «глупая его сила», неосмысленная, стихийная. И он бежит домой, в дом отцов, к «хозяйству своему», несмотря на ожидающую его «мужиковскую месть».

И вот мир приходит в избу к Копылеву: «злобы в нас нет, а порешил тебя мир убить за твои грехи»; убивают здесь без злобы, а сосредоточенно-деловито; это дело — отстаивание своих «хозяйственных» интересов. Но Мишка, жестокий и покорный, хитер: он знает, что убивать мертвого ни у кого не подымется рука, и он начинает свою «игру» в мертвеца. И вот он лежит на лавке под образами, накрытый простыней, в головах у него горит страстная свеча. Мужики сразу поняли, они видят, что он дышит, — и они вступают сами в эту «игру»: пытают Мишку бранными словами, щекоткой, неудержимо-смешными историями, втыкают иголку в руку, прижигают огнем. Мишка вынослив: он «играет», он — актер на людях, и именно это сознание придает ему силу — не только его желание спастись: вот он я, Мишка Копылев... все могу! — Прижигая до запаха гари руку Мишке, мужики все же не переходят предела: «рука ему нужна» — и опять из хозяйственных соображений: ведь рукой он должен работать. «Руку» берегут, а убить собираются. «Игра» всей деревни — игра, которой цель ясна: «пробудить Мишку от смерти ложной к смерти истинной», — продолжается долго: благо, распутица остановила мужиковское бытие. Му-

жики приходят в разное время; в промежутках Миша занимается по дому хозяйством, подкармливает себя, меняет белье. Он «новил дом, перестелил пол и вообще существовал полным мужицким бытием». Вот это «плутовство» в игре возмущает мужиков, один даже запил из-за этого: разъяренные мужики потащили Мишку к колодцу, поливали осенней водою, бросили, «плюнув, злодея»; ничем нельзя было вызвать его из его сопротивления, сила которого тоже атавистическая, звериная. Целая деревня борется с одним человеком, и душевная — пусть актерская — сила этого человека и муки его лютые недостаточны, чтобы заставить простить его грех. Однажды все же застигли Мишку в «живом» виде, в бане. Мир решает его не убивать: он — «мужик» хозяйственник, по своему существу, то, что было прежде, его «усмирение», — было только случайностью его «ребячьего разума»: «земля» притянула его, он, — «крепкий, устойчивый, наш». Мишку порют — жестоко, зверски, до-смерти, с «рвением». Мужики, «блестя зубами», следили за происходящим. Потом полумертвого долго лечат, и та же деревня «щедро» приносит на одр умирающего дары свои: сметану, пироги, самогону. Мишка выжил, а поднявшись, полез на дом покрывать крышу. Мужики, проходя мимо, снимали шапку и вступали с ним в деловые отношения: «дороже сына ты нам теперь»...

VIII.

Я остановлюсь и на другом, небольшом, тоже отмеченном превосходной художественной силой, рассказе пролетарского писателя Андрея Платонова «Приключение» («Новый Мир», 1928, 6). Платоновым написано пока немного, читателям «Красной нови» он знаком по хорошему рассказу «Происхождение мастера» и другим повестям. Творчество этого молодого писателя говорит, что мы имеем дело с подлинным художественным дарованием, требующим самого внимательного и бережного отношения к себе. Оставляя за собой возможность вернуться к нему особо, я здесь только скажу об этом «Приключении», тоже рисующем деревенскую психику и тоже под сильным влиянием деревни Бунина, его тематики, его художественной манеры. Язык Платонова — крепкий, сжатый, свежий, как и весь динамический стержень рассказа. Я бы только предостерег писателя от замечающегося у него (и в других рассказах) натуралистических излишеств и сгущенности в описании отдельных моментов. Когда писатель, описывая падение раненого героя, отмечает, как деталь, что «природа не упустила взять от Дванова то, зачем он был создан: семя размножения» и т. д., описывает и другие низшие моменты реакции организма (нечистое белье и пр.), то ведь писатель должен помнить (а редактор должен напомнить ему, если тот забывает), что перед нами не физиологический трактат, а художественное произведение, и художественная правда не пострадает, а только выиграет от лишения ее некоторых элементов правды житейской. Художнику, говоря образно, нечего возиться с «нечистым бельем» в жизни. Этот материал «грубый» он должен «очистить» от всего случайного. Правда, у Платонова и указанные детали сделаны тонко и крепко в стиле всего рассказа, не грубо, как у нас привычно, но и в таком виде они не нужны и, значит, лишние... Но это — мимоходом!

И деревня Платонова — от «рюриковичей», чеховских «печенегов»: «какая-то древняя, давно осохшая река»; «валуны, занесенные когда-то ледниками»; голодные дворы, «странные люди, отошедшие от разнообразия жизни для однообразия задумчивости». Герой рассказа — ком-

мунист Дванов, мечтающий «создать социалистический мир» в этой округе, в степи, среди «равнодушных крестьян». И воюющие с коммунистами крестьяне, «бандиты», «безначальный народ», «кулацкая гвардия», с которыми на пути своем встречается Дванов, — в сущности, такие же «равнодушные». Им ничего не стоит встреченного человека застрелить, сначала «разрядив свой угнетенный дух» кощунственной (с их же точки зрения) руганью по... «ребру богородицы и по всему христианскому поколению», а ведь это — белые»!.. Мужик Никита, «соскучившись ждать», беззлобно требует, чтобы раненый, которого он будет сейчас добивать, прежде сам разделся, чтоб не испортить «одежи»: «что я с дохлым буду возиться, его тогда не повернешь! «Одежа на нем в талии, всю порвешь и прибытка не останется».

И Дванов покорно, понимающе, начинает раздеваться, чтобы не ввести Никиту в убыток, а Никита ему «товарищески» помогает, «бережно» подымает раненую им же самим ногу. Это враги? Оба — без злобы. Даже «помучить» тоже надо для «порядка»: «ай ты не человек?» Зачем сразу помирать? «Никита деловито обсуждает вопрос о родителях Дванова, которого он собирается «добить»: они «поскучают» о сыне и «забудут». Он понимает, что Дванов – коммунист, но и это не озлобляет его: у каждого свое «дело», «всякому царства хочется»... Это — враги, но какие странные на взгляд европейца». И как дико все: раненый Дванов, лежа на земле, готовый к смерти, ведет беседу с «начальником анархистов» о книге этого анархиста: книге о «бродячей душе человеческой»... русские люди!

И все это глубоко «российское»...

Решено с Двановым покончить в ближайшей деревне, а так как Никита «огорчился» насчет «одежи», то «помирились» на том, что раненый согласился «доживать голым». Отряд тронулся, голый Дванов шел за ним, а Никита «хозяйственно перебирал белье» врага, к которому у него нет злобы, но которого надо почему-то непременно убить. Полная неосмысленность, хаотичность, стихийность этой первобытной психики мужика выявляется резко, выпукло в этом тоже «необыкновенном» приключении. Какой же «анархист» он? Он — просто «хозяйственный мужичок», отстаивающий примитивные хозяйственные интересы, не будучи в силах их осмыслить глубже: «мне что? мне товар дорог» — вот что его интересует.

И Дванов — плоть от плоти этой же пассивной деревни, фаталист, подчиненной какой-то «извечной» бессмысленности этого дикого быта, вместо того, чтобы хоть и «немощным в теле» — бежать, попытаться скрыться, когда он предоставлен самому себе, — покорно ждет своей смерти. Он может быть стойким, терпеливым только в пассивном сопротивлении, как Копылев у Леонова, но он не годится для активного дела. Он может только «заплакать в деревенской тьме», вспомнив, что на утро «умрет», и заснуть. Это – не большевик с активной, «европейской» большевистской целеустремленностью!.. И вот идиллия этого крестьянского царства: все спят в деревне — бандиты и раненый Дванов, который может убежать, но который ждет покорно смерти.

А утром Никита его розыскал, чтобы довершить по какой-то инерции начатое вчера бессмысленное дело, — Никита, которым распоряжается стихия, никем не останавливаемый, не встречая сопротивления даже самой жертвы — этого «печального» Дванова, печального русского человека. И в том-то вес ужас, что его, как ужас бессмыслия, не осознают ко всему привычные, ничему не удивляющиеся, пассивные и повинущиеся какому-то «фатуму», «року», — обреченные и Никита, и Два-

нов и вождь этих «анархистов» российских, пишущий хорошие книги и нелепо убивающий пленного коммуниста... Человека как личности активной, разумной — нет; распоряжается слепой случай, стихия. Человек может только жалобно плакать, и никогда лицо его «полностью не смеется: что-нибудь в нем всегда остается печальным — либо глаза, либо рот»...

IX.

«Фантастика» зоологической деревни, тот «идиотизм деревенской жизни», о котором говорил К. Маркс и формулой которого В. Воровский резюмировал образ старой деревни, — вот содержание жутких рассказов современных писателей о деревне, рассказов, смысл которых не в «бытовизме», а в их символичности, — рассказов, в своей «необыкновенности» открывающих «закоулок» старой деревенской психики, преломленный через угол зрения современного скепсиса писателя-попутчика, и притом — что важнее всего — художественно-убедительно.

И это вся наша деревня, которую увидал современный писатель? — спросит читатель в тяжелом недоумении, и его недоумение понятно: с одной стороны, борьба в новой деревне за колхоз «Бруски», с другой — одно сплошное беспроссветное дикарство. Где же правда? Анализ Воровского и здесь как раз обнаруживает свою полную современность; этот анализ тоже восходит к «субъекту» изображающему: «неполнота» и «односторонность» в изображении элементов новой деревни, и, наоборот, яркость и талантливость изображения «упадка и вырождения» старой деревни объясняются в плане марксистской критики классовой обусловленностью и «узостью» психики авторов. «Не в том дело, — писал Воровский, — что в деревне нет новых людей; они есть, это бесспорно. Но они не попадают в поле зрения нашего автора — и в силу его специфической психики, и в силу того, что сами они еще слишком новы и слишком индивидуальны». С одной стороны, сами авторы в своей психике — люди не нового восприятия жизни. Над ними тяготеет психика «отжитого времени»; здесь в стилевой родственности дореволюционной психике Бунина отразилась родственность идеологическая. С другой стороны, художественное закрепление фактов объективных всегда сильно запаздывает, как отмечал в другом месте Воровский же, — и отмечал очень определенно и четко в формулировке, представляющей значительный интерес и в смысле разрешения волнующих нас сейчас проблем творчества. «Те явления, — новые явления, — которые регистрируются и классифицируются нашим мышлением, еще не воздействуют на нашу художественную психику. Если присмотреться к ходу политической, научной и художественной эволюции человечества, придется признать, что на всех стадиях развития общества... раньше всего складывалась политическая (практическая) идеология, затем уже следовало научное формулирование нужд класса, а уже позади с большим опозданием шло художественное отражение жизни и борьбы этого класса. Конечно, — прибавляет критик, — я говорю о действительно художественном творчестве, а не о тех младенческих попытках излагать лозунги класса в стихах и прозе, которые нередко предшествуют логической формулировке их» (В. Воровский, Литературные очерки, 140).

Та деревня, которую видят Леонов и Платонов и которую они только и могли запечатлеть в своем талантливом творчестве, — это реакционные уголки деревни; забитая, кулацкая и мещанская деревня, еще ждущая культурного воздействия революции, — темная, инертная

сила страны, путы на ее великом революционном движении вперед, деревня, враждебная городу и культуре, угроза всем нашим идеалам, цивилизации нашей, частью потому, что она — кулацки-«хозяйственная», частью потому, что она — невежественная, отсталая, та «глушь» дикая пензенская, в которую забрел Эйзенштейн, чтобы ужаснуться. Конечно, осветить и эти «уголки» — художественная заслуга писателей, проникающих, как лазутчики городской культуры, в эту темень непроглядную неизжитой старой дореволюционной психики. В свое время на Чехове и на Бунине за их решительный отпор от традиционной идеализации деревни вешала собак наша либеральная общественность, те же Чириковы, повторяя замусоленную народническую легенду о «золотом сердце» и «гармоническом» цельном мире мужиков. Когда позже деревня, — эта самая Мавра леоновская со своей «злобой», как «знаменем безжалостной борьбы против мира», против ужаса дикарства, против нищеты и тяжести жизни, — поднялась, те же Чириковы сразу иначе заговорили об этом самом народе, захотевшем новой жизни. Но нужен не гнев «барский» и не идеализация «барская». Нужно бестрепетное знание, нужна правда. Но можно ли ограничиваться одними «уголками» старого? Нужна деревня в ее художественно-современном, идеологически-современном постижении, деревня в ее целом, в сложных противоречиях современного расслоения идущего в ней. И «светлые явления» деревни современной, которые легли тематикой романа Панферова, — ждут не тенденциозного или одностороннего, искажающего общие перспективы, освещения своего, а глубокого художественного оформления, художественной правды, которая и составляет предмет искусства.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ЛИТЕРАТУРА АНЕКДОТА.

(**К. Ф. ВАЛЬЦ**, 65 лет в театре, изд. «Академия», Л. 1928 г., стр. 240, ц. 1 р. 40 к.)

Мы не подымаем общих вопросов. Мы не хотим делать обобщений, мы только констатируем. Воспоминания и мемуары людей эпохи начинают подменяться литературой анекдота, закулисной сплетней, мелким никчемным бытовизмом. *Обилие мемуарной литературы обратно пропорционально ее качеству.*

Воспоминания Гиляровского, Пименовой, Щепкиной-Куперник, Белоусова — воспоминания, в которых нет ни грана эпохи, зато много pro domo sua, мелкого, личного, ненужного и даже чуждого.

Воспоминания К. Вальца, декоратора Большого театра, прослужившего в нем 65 лет, — очень ярко выявляют недостатки целого цикла воспоминателей.

Анекдот вместо факта, фотографические карточки вместо людей, мелочи вместо событий, господство пустяка, апология старой жизни, дурной лиризм... и необычайное «ячество» — выпячивание собственной персоны на первый план, на авансцену — вот характерные черты таких воспоминаний и воспоминателей.

К. Вальц сам признается в отсутствии у него литературного дарования, абсолютной чуждости для него литературной работы (стр. 11). Это признание — правдиво, воспоминания лишены стройности и глубины, записи носят случайный характер, порой противоречат фактам (стр. 76, 142, 164 и др.).

Но мы и не требуем от К. Вальца литературного таланта. Шестьдесят пять лет он делал честно свое дело, пережил интереснейшее время — целую эпоху, и общественную и театральную, — и что же вспомнилось?.. «Эйхенвальд играла на своем инструменте (арфе) с какой-то особенной грацией и легкостью, приковывавшими внимание всех окружающих. Кстати (!?) у нее были две дочери девицы, *также очень миловидные*»[1]) стр. 178). «Как-то раз Гербер поехал обедать в ресторан Роше де Канкаль с одной дамой и, сидя с ней в отдельном кабинете, внезапно умер от разрыва сердца в ее объятиях» (стр. 177).

Вспоминаются люди по каким-то странным ассоциациям. «Мне она памятна по одному трагикомическому происшествию» (о Павловской), из-за смешного инцидента (о А. Джурия), из-за разительного скандала (о Корсаковой), по одному инциденту (о Гейген), по карточке меню (о Шехтеле).

И даже Лев Толстой у К. Вальца ассоциируется с котлеткой из каши, которую одна из дочерей Толстого перекинула кому-то через весь стол, — «и все даже очень смеялись» (стр. 143).

Очевидно, кто-то недостаточно правильно осведомил автора о характере воспоминаний, необходимых советскому читателю, ибо К. Вальц, извиняясь за скудость воспоминаний о первых годах работы в театре, пишет: «Мои первые шаги в театре были столь неуверенными и столь робкими, что *ни о каком более подробном ознакомлении с закулисными тайнами и сплетнями и речи быть не могло. Этим обстоятельством должна быть объяснена скудость воспоминаний*» (стр. 34).

Кто же уверил автора, что полнокровные воспоминания это не те, что отражают эпоху, а те, что отражают «закулисные тайны и сплетни»?!.

---

[1]) Курсив везде наш. *Автор.*

Отдельные интересные и колоритные штришки, характеризующие самодуров и помпадуров театральной старой России, картина убогости выдумки художника и бескультурья актера тонут, как в морях патоки, в таких воспоминаниях:« Борх был крайне вежливый и деликатный человек, видной барской наружности» (!..) (стр. 44).

«У Циммермана одевалась вся элегантная (!) Москва. Я (автор мемуаров), любивший быть хорошо одетым, тоже заказывал костюмы у этого портного» (стр. 85).

Об известном помпадуре генерал-губернаторе Москвы Долгорукове: «Генерал-губернатор был гол, как блоха, получаемое жалование он не умел сохранять, а взяток не брал» (стр. 74).

О П. С. Шиловском, барине-самодуре: «Он любил строить. Эту свою страсть он проявил в возведении Петровских линий, Славянского базара и больших домов на Страстной площади» (стр. 37).

Эти идиллические и буколические порттреты генерал-губернаторов и рыцарей «первоначального накопления» не украшают книжку!..

На примере воспоминаний К. Вальца нам хотелось продемонстрировать, какие воспоминания не надо издавать.

Здесь же уместно спросить, в чем выразилась «общая редакция» П. И. Новицкого, фамилия которого значится на титульном листе?

Семен Розенталь.

Демьян Бедный. Полное собрание сочинений, т. XI, редакция, примечания и вступительная статья А. Ефремина; т. XII, редакция, примечания и вступительная статья его же. Гиз, 1928 г., М. и Л., стр. 404 и 364, тираж 10 000 экз., ц. 2 р. и 1 р. 75 к.

В XI и XII томах собраны стихи преимущественно из центральных газет 1927 и 1928 гг. (есть несколько более ранних). В томе XI сгруппированы вещи на «международные» темы, в XIII — на темы внутренне-политические.

В этой поэзии почти нынешнего дня особо ярка характернейшая для нашего поэта черта — тесной слитости, полного единства формы и содержания. Форма — чисто реалистическая (революционная лирика), содержание — жгучая, сегодняшняя революционная злоба дня.

Возьмем для примера маленькую лирическую поэмку «Куриный брод» в томе XII.

Сатирическая (и в то же время боевая) форма этих стихов — не просто высказывание чисто личных, так сказать, «уединенных» чувств поэта по поводу общественного. Нет, в этих стихах — чувства нашей, советской, трудовой массы в связи с ее же собственной повседневной борьбой.

Конечно, чувств просветленных, таких, какие испытывает революционный рабочий и крестьянин, когда приподнимается над уровнем своего старого, затхлого быта.

Например, лирики деревенской молодежи-передовиков, которых в той же поэмке автор приравнивает к радостной птичке в небе:

Резво жаворонки вьются,
В синем небе колокольцы,
Полевые комсомольцы.

Таким путем растворения своего единичного, «лирического» субъекта в субъекте живо чувствующей революцию массы разрешает. Д. Бедный на практике спор поэтических направлений — объективного (реализма) и чисто субъективного (формализма).

Вся суть спора ведь в том, что формалисты-лирики принципиально оторваны от массового субъекта именно своей формой, узенько-единоличной, выражающей, в лучшем случае, лишь чувства интеллигента, т. е. человека не-массы.

Пусть в эту «формочку» пытаются вложить широкое, «гражданское» содержание, лирика становится навязанно-тенденциозной, но не массовой по существу.

Есть же, наконец, какая-то закономерная, не случайная причина в том, что сама масса, массовый читатель, как магнитом, притягиваются к демьяновой лирике.

Стихотворение «Снег», например (по поводу беды для извозчиков — обнаженные мостовые московских улиц) вызвало множество писем, даже стихов в ответ со стороны извозчиков и подмосковных крестьян.

Ясно: вот свой голос, свое чувство, свой лирик тысяч и миллионов.

Эта лирика, оставаясь, как таковая, конечно, субъективной, в то же время превращает себя в истинно-объективную, как прямое выражение дум и чаяний целого класса — творца нового общества.

Надо прямо сказать: никто из лириков, представлявших ранее только чувства и воззрения господствующего меньшинства (пусть иногда и «освободительные»), не мог дать непосредственно этого слияния себя с «народом» даже приблизительно в такой степени.

Д. Бедный в этом смысле — первый и пока единственный.

Вот почему и его стихотворная манера тоже так непосредственно «народна» — без всякого спора, без сравнения.

Его песенные размеры, его «вольный стих», так неподражаемо искусно усвоенный им для сатирических фельетонов (всегда с точки зрения рядового рабочего, красноармейца, передовика деревни), — прямое воскрешение, но в очищенном, просветленном опять-таки в виде, прибауточного стиха в лубке, в райке.

Нет возможности привести особо удачные примеры.

«Советский царь» — вот почти наугад типичное, необычайно меткое, едкое и звенящее малиновыми переливами коренной русской речи стихотворение.

И самые картинки-лубки в нем — пьяного «всероссийского императора» Кирилки, сглупу замышляющего надуть советского мужика нелепой программой «советского царя», — так и дышат злою издевкой трудовых масс над вековым надувалой-барином.

От правительствующего сената
Два делегата,
Состав таков:
Крупенский и Башмаков.
От высших чинов армии и флота
Два идиота:
Один дурак —
Так,
А другой — вселенский,
Башмаков и Крупенский.

Ведь это прямо — музыка из «дураков так и вселенских», хоть Римскому-Корсакову впору на ноты класть.

И тем же размером, в той же массово-заражающей лирике он умеет подымать чувство читателя на верхи революционного пафоса, а с ним — и классового самосознания. Таково стихотворение «С подлинным верно!», писанное опять подобным «лубочным» речитативом. Это о героической биографии т. Сталина, факты которой взяты из белогвардейской газеты «Дни», где какой-то эсер Верещяк хотел было т. Сталина изругать, а вышло совсем наоборот. В скобках Д. Бедный вставляет обширные выдержки из «Дней», вроде: «Когда в 1909 г., на 4-й день Пасхи 1-я рота Сальянского полка пропускала сквозь строй, избивая, весь политический корпус, Коба шел, не сгибая головы под ударами прикладов, с книжкой в руках». И в стихах добавляет:

Разве сталинское прохождение сквозь строй
Не сюжет для героической картины?

Обратите внимание: самая картина берется у него такая, которая прямиком, как она есть «в природе» (или в истории), безо всяких «формальных» словоухищрений, максимально действует на массу. Так человек из массы и сам при случае проявляет себя, попавши бедою в лапы врагов...

Содержание Демьяновых песен неисчерпаемо-богато, как текущая жизнь и борьба.

К ознакомлению с этим богатством томов сочинений Д. Бедного мы призываем самих читателей.

А. Дивильковский.

Н. Ляшко. Минучая смерть. ЗИФ. Москва — Ленинград. Стр. 144. Ц. 1 р. 20 к.

По своей теме «Минучая смерть» вплотную подходит к группе более ранних рассказов Ляшко, представленных как отличной, «резюмирующей» повестью «С отарою», так и рядом отдельных мелких произведений: «Первое красное знамя», «Рассказ о кандалах» и др.

Все указанные рассказы составляют как бы отдельные звенья единой художественной эпопеи, рисующей подпольную

революционную борьбу в царской России. В свою очередь, «Минучая смерть» органически связана с повестью «С отарою», и не случайно сходство главных «типажей» в обоих произведениях. Почти всегда основной рисунок у Ляшко изображает постепенное пробуждение у рабочего классового чувства, медленное созревание и переплавку этого вначале «пролетария в себе» в «пролетария для себя» и, наконец, превращение его в сознательного революционного борца.

В огромном большинстве случаев герои Ляшко — рабочие от станка. Автор избегает показывать революционеров-интеллигентов. По их адресу он склонен даже пустить злую шутку, ироническое замечание (см. например, характеристику «умников из конторы и чертежной» в «Минучей смерти», или рассуждения Пахомова с «отарою»). С откровенным недружелюбием относится автор к мужику за его скопидомство, шкурничество, жадность (Егор Колозолотый в той же повести).

Зато с особенной любовью, вниманием и подробностями рассказывает Ляшко о своем излюбленном герое-рабочем, кующем себе освобождение «своею собственной рукой». Таков герой «Отары», таков Федор Жаворонков в «Минучей смерти». Они разнятся друг от друга тем, что первый имеет уже некоторый революционный опыт, второй же на наших глазах превращается из неофита революции в серьезного партийного работника, заканчивая первый этап своей революционной деятельности тюрьмой, длительной голодовкой и внутренним повзрослением. Сближаются между собою и два других действующих лица из обоих произведений — Тютя и «Фома Кемпийский», одинаково пестующие молодых революционеров и вводящие их в технику подпольной борьбы.

Сюжетное построение у Ляшко всегда очень несложно. В последней повести оно еще проще, чем обычно. Почти отсутствует всякая внешняя интрига, которая в конце повести заменяется совсем прозрачным психологическим рисунком («игра» жандармов с Федором, провокация, эпизод с Казаковым и «усатым арестантом»), исключительно ровный, спокойный язык— все это, казалось бы, могло придать известную тусклость рассказу. Ничего подобного не произошло. Повесть полна какой-то особой ясности, описания четки, образы выпуклы. Язык «Минучей смерти» привлекает своей простотой, правильностью и лаконичностью.

Эта суровая простота рассказа сменяется, где нужно, лирической взволнованностью, где нужно, снижается до уровня будничной, повседневной речи. «Ее все радовало, она всему улыбалась, не открывая рта, пела песни, прислушивалась к себе и ждала новой, еще большей, радости». Или: «Федя шагнул к ней через две ступеньки и кивнул. Она слетела к нему в стуке каблуков, обмахнула его ветерком платья, своим дыханьем...».

Очень досадно, что иногда Ляшко изменяет этой простой манере и попадает во власть неубедительного громоздкого импрессионизма: «Во рту ее комом барахтался шопот», или: «старик посыпал его след словами благодарности». Нехорошо звучит: «всхохатывать», «позвонить в уши голосом» и т. п.

Малое количество действующих лиц искупается яркой сжатостью характеристик. Так, всего двумя-тремя штрихами дается портрет взяточника-мастера; путем немногословного описания оживляются фигуры рядовых котельщиков; наконец, в силу той же выразительной штриховки, запоминаются лица главных персонажей: старика Жаворонкова, Федора, Наташи, Казакова, Фомы Кемпийского.

Нас особенно привлекает в авторе его приверженность к изображению р я д о в ы х г е р о е в. В то время, как товарищи Ляшко по группе «Кузница» часто оперируют с исключительными личностями (Мартын Баймаков у Бахметьева, или Акатуев в «Пьяном солнце» Гладкова), Ляшко неизменно обращается к типическим представителям массы. Отсюда отсутствие в его творчестве всякого позерства, выспренности, которые свойственны порой другим «кузнецам».

Н. Ляшко несомненно движется вперед. У него установился свой стиль — сжатое, ровное, реалистическое описание на основе детального знакомства с эпохой, средой и обстановкой.

Герои Ляшко — живые рабочие, и каждая строка особенно последних его произ-

ведений напоминает, что в лице Ляшко мы имеем подлинного пролетарского художника.

М. Майзель.

И. ЖИГА. Начало, повесть о великих днях, изд. «Московский рабочий», 1928 г., стр. 205, ц. 1 р. 50 к., тираж 5 000 экз.

«Новые рабочие», изд. «Московский рабочий», 1928 г., стр. 159, ц. 1 р. 15 к., тираж 5 000 экз.

«Думы рабочих, заботы, дела», второе исправленное и дополненное издание, изд. «Земля и фабрика», 1928 г., стр. 235, ц. 1 р. 50 к., тираж 5 000 экз.

Рабкоровское движение на наших глазах перерастает из подсобного орудия в инструмент по организации рабочим классом новых норм поведения, вытекающих из нового социально-этического бытия. Выделяются силы, приемлющие к исполнению заказ эпохи, художники слова, из среды пролетариата, живописующие быт и жизнь рабочих.

Рабкором такого типа является Иван Жига, ныне выпустивший в свет третью книжку своих записок.

Иван Жига принадлежит к типу рабкоров, для развития таланта которых Октябрьская революция создала чрезвычайно богатые предпосылки.

Иван Жига — рабочий, молотобоец.

У Жиги свой стиль, он пишет просто, невычурно, спокойно и зачастую чрезвычайно метко.

Книга под названием «Начало» посвящена описанию Октябрьской революции.

Она читается легко, с большим интересом. Описание Октябрьской революции здесь дано с точки зрения рядового участника революции.

Хорошо показано в книге Жиги, как пропитывался воздухом Октября рабочий класс. И показано на живом материале, через переживания отдельных рабочих и сквозь призму автора — участника событий.

Особенно хорошо выявлена психология рабочих и их героизм при схватках с войсками Керенского.

«Бронепоезд замедлил ход. Остановился. Вдруг затикал пулемет и, выпустив две очереди, замолчал. Кто-то крикнул «ура», другие подхватили, и все мы изо всех сил помчались по железной дороге в атаку на бронепоезд. Мы все бежали на открытом месте, нас расстрелять — пара пустяков, но поезд почему-то медлил, чего-то выжидая. Это еще больше раззадоривало и подмывало нас взять в плен бронепоезд.

— Мы возьмем, мы возьмем! — кричали рабочие, задыхаясь от быстрого бега.

Поезд уже в двух шагах от нас. Мы уже видим черненькую морду пушки. Кто-то закричал:

— Сдаются!

— Сдаются! ура!

В это время бронепоезд плюнул в нас снарядом, снова застучал пулемет, запели пули, снаряд где-то ухнул позади нас, кто-то дико заорал от боли, человека три торкнулись на рельсах и не поднялись, а бронепоезд на наших глазах дал пар и не торопясь пошел обратно».

Вторая книга Жиги «Новые рабочие» характеризует новые пришедшие на производство слои рабочего класса в живых образах, через беседы, зарисовки живых людей, «существующих на свете».

У автора живут даже статистические таблицы, страницы книги волнуют и заражают, ибо это сама подлинная жизнь — без прикрас.

На книге Жиги молодые наши рабкоры могут учиться, — как писать живые очерки так, чтобы взволновать читателя, чтобы книга прочитывалась до конца с неослабевающим вниманием.

Жига в своей книге «Новые рабочие» не только живописует рабочую жизнь. Он в ней ставит ряд волнующих вопросов, и зарисованные автором картинки рабочего быта — лишь красочная иллюстрация к этим вопросам.

В книге Жиги вскрыта «дубининщина» — пришлый из деревни элемент, не порывающий со своим хозяйством, постепенно перерастает в деревенского кулака.

Это те «новые рабочие» для кого завод, — это побочный заработок, черное дело для поправки своего хозяйства, у них нет чувства класса.

Дубинины опасны тем, что в великие строительные будни, когда страна без внешней героики творит легенду, Дуби-

нины тянут рабочий класс от общих задач в мещанское болото, создают «правые» настроения.

Очень хороша глава «Суд», где разоблачается не только дубининщина, но и сопутствующие ей настроения разгильдяйства и наплевательства, представленные рабочим Гусевым.

Но рядом с Дубининым у нас, как показал Жига, имеются активные партийцы Симаковы, которые помогают изживать и сами борются с дубининщиной.

Жига беспощадно и смело вскрывает язвы рабочего быта: пьянство, семейный деспотизм, грязь, неопрятность, рабочее чванство.

Старый рабочий Иванов, скорбя об отсутствии душевности среди рабочих, говорит о необходимости переделки рабочих.

«Новые заводы работать начали, теперь и людей восстанавливать да переделывать надо», говорит Иванов.

И ростки этого переустройства показаны Жигой в третьей его книге под названием «Думы рабочих, заботы, дела». Хотя эта книга и носит скромный подзаголовок «Записки рабкора», на самом деле она представляет сборник очерков и небольших рассказов из жизни рабочих.

Этой последней книгой, выходящей уже вторым изданием, Жига доказал, что он растет как художник слова: от очерков и зарисовок с натуры он переходит к рассказам.

Правда, эти рассказы еще слишком натуралистичны, взяты в своей основе из фактов действительной жизни, но это — уже не зарисовки, в них элементы подлинной художественности.

Жига — вдумчивый наблюдатель рабочей жизни.

Наряду с зарисовками старого быта он ставит также вопросы новой этики, новой морали.

Яркий рассказ «Портянки», рассказ о том, как портянки помогли рабочему увидеть в женщине человека в противоположность ученому инженеру, смотрящему на женщину только как на объект наслаждения.

Художественный и правдивый рассказ— «Разрыв» о душе женщины, умеющей жертвовать самым дорогим для себя — любовью — ради общественного долга.

Рассказ «Шкет» о возрождении человека под влиянием работы, «Кровати с шишками» — о привнесении рабочими внешнего благоустройства в свой быт.

К недостаткам Жиги как очеркиста и художника нужно отнести некоторое однообразие, однотонность его зарисовок, нередко — отсутствие меры в подаче материала.

Но все это искупается свежестью, правдивостью и безыскусственностью изложения, а главное — верным глазом, позволяющим Жиге из-за мусора жизни не упускать из вида то новое, что прорастает в рабочем быту и служит основой для новых форм жизни. В этом — главная ценность творчества Жиги.

Н. Гудков.

Виктор Шкловский. Материалы и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». Изд. «Федерация». М. 1928 г. Стр. 249. Ц. 3 р. 30 к., в папке 3 р. 50 к. Тир. 3 000 экз.

«Мне пришлось ездить по Чехии, и я убедился в том, что это — трудное занятие. Дороги по Чехии идут через нее на Вену. В стране остались несвязанные или связанные потом, сходящиеся где-то вовне, отрезки». Эти чешские железные дороги,— говорит Шкловский, — то же, что «пути истории для Толстого» (стр. 109).

Гораздо более уместно сравнение чешских дорог с книгой самого Шкловского. Можно прямо сказать: чтение его книги о Толстом — «это трудное занятие».

Вся книга состоит из «несвязанных между собой отрезков» мыслей; отсутствие всякой цельности, единого стержня, органичности — вот те отрицательные моменты, которые характеризуют книгу Шкловского.

Начнем с главного — с методологической стороны книги. Формалист Шкловский сменил вехи: он на новом пути — на пути к марксизму. Об этом узнаем мы почти с первых строк его предисловия:

«...Я посвятил большую часть своей работы выяснению вопроса связи Толстого с его классом» (стр. 7).

Об этом в свое время уже сообщалось на страницах «Нового Лефа» (№ 5, 1928, ст. «В ожидании методологии»): «...В своих последних работах представители научно-

исследовательской группы Лефа, в частности В. Шкловский в его работе о Л. Н. Толстом ставит проблему стиля не отвлеченно, а диалектически и связывает ее с вопросом жанра, деформации материалов и классовой установки писателя».

И действительно, на 13 странице мы узнаем, что «Толстой — самый помещичий писатель»; на 27 стр., что у Толстого «есть деревенское недоверие к чужой мысли и деревенская замкнутость» (отсюда изобретение его «собственной, нравственной системы», «собственной педагогики», «собственной геометрии и арифметики», собственного «способа кормления свиней» и, очевидно, собственного приема «остранения»); на стр. 86 мы встречаемся у Шкловского с марксистской фразеологией о том, что «количество переходит в стилистическое качество», и т. д. Не будем умножать примеров, говорящих о «марксистской» устремленности автора.

Но на ряду с «марксизмом» Шкловского мы читаем: стр. 199: «...Автор... иногда оказывается жертвою жанра»... «бытие литературного жанра в конечном счете определяет писательское сознание». На стр. 237: «Новый жанр возникает в недрах старого»... «литературная форма находится под воздействием определенных задач, и новое накапливается в старом количественно» и т. д. и т. д.

В результате всего этого книга насквозь эклектична: классовость писателя, с одной стороны, литературный жанр, определяющий писательское сознание, с другой стороны. Большую принципиальную путаницу, методологический хаос трудно себе представить.

Теперь попробуем разобраться в содержании книги. Основная тема работы Шкловского — исторические источники «Войны и мира», их выбор и деформация Толстым. На ряду с этим Шкловский дает ряд наблюдений по стилю «Войны и мира» вне связи с источниками романа.

Даже с внешней стороны, по своему построению, книга лишена какой бы то ни было стройности. Зачем понадобилось Шкловскому разбить и разрознить свои и без того нечеткие выводы и наблюдения? После глав II, III и IV, связанных с историческими и бытовыми источниками «Войны и мира», Шкловский вставляет главы V и VI о стилистических «деталях» романа, об одном характерном приеме Толстого («передача событий через героя»), чтобы затем в главах VII и VIII снова вернуться к историческим источникам: к «первоначальному методу включения исторического материала» и его «деформации» и, наконец, последние главы (IX и X) закончить опять вопросами стиля (язык и сюжет «Войны и мира»).

Итак, основной вопрос, занимающий Шкловского, — это исторические источники «Войны и мира». К этой теме обращались уже не раз наши историки литературы. Впервые затронул вопрос об источниках «Войны и мира» Кирпичников (статья «Московское общество в изображении Грибоедова и графа Толстого», «Исторический вестник» 1895, № 6), затем Бороздин («Исторический элемент в романе «Война и мир», «Минувшие годы», 1908, № 10). Известны в этой области работы Покровского («Источники романа «Войны и мира», сборник «Война и мир» под редакцией Обнинского и Полнера) и другие. Таким образом в изучении исторических источников «Войны и мира», в сличении их с текстами романа Шкловский далеко не пионер. В приведенном в конце книги Шкловского списке источников из 54 названий только 3 указаны звездочкой, «как найденные нами» (кстати не Шкловским, а Трениным). Но Шкловский любит быть оригинальным, а потому, в противовес обычному мнению историков литературы о том, что Толстой «перевернул десятки тысяч страниц, прежде чем создал» «Войну и мир», Шкловский считает, что количество материала, которым располагал Толстой при написании «Войны и мира», «не очень большое».

Конечно, трудно сказать, какое количество книг удовлетворило бы Шкловского. Но думается, что 54 названия, приведенные самим Шкловским, из которых многие 3—4-томные, плюс те, которые Шкловский упустил и те, которые могли остаться еще неизвестными нашим исследователям, и, наконец, не вошедшие сюда материалы периодических изданий составят не малое количество и могут поспорить даже с библиографическим указателем книг, использованных самим Шкловским для его исследования о «Войне и мире».

Далее: недостаточно отыскать источники и сличить их с текстами романа, как это делает Шкловский на протяжении многих страниц, — необходимо выяснить принципы выбора и деформации материала писателем. Попытку этого рода мы находим у Шкловского, но только попытку.

Шкловский и тут хочет быть оригинальным и вместо того, чтобы установить принципы выбора материала, говорит о том, «что именно вытеснил Толстой из того материала, который был у него на руках».

Принципы вытеснения материала писателем — прием не только оригинальный, но и ценный для литературоведа, если он дан на фоне исследования принципов выбора материала. В противном случае он односторонен и не разрешает поставленной проблемы.

Еще хуже обстоит дело у Шкловского, когда он пытается дать принципы «деформации исторического материала в «Войне и мире». Здесь мы имеем текстуальные сличения Толстого с Михайловским, Данилевским, с Тьером, Богдановичем, Липранди и др. на протяжении десятков страниц и отдельные малоговорящие и не обобщающие фразы об «установке автора... на снижение героической фазы» (стр. 152), о приемах остранения исторических источников (стр. 174), о приемах «недоверия к исторической фразе» (стр. 175), о «введении несуществующей у источника реплики» (стр. 179) и т. д. Все эти оторванные друг от друга выводы, «отрезки» не объединены общим принципом. Поэтому они не объясняют методов деформации исторических источников Толстым, которая связана с введением в историческую ткань портретных изображений, пейзажа психологизации образов, ряда стилистических приемов, характерных для Толстого, и, наконец, известной социальной окраски, объясняющейся классовым восприятием Толстого.

В четырех главах своей книжки (V, VI, IX и X) Шкловский анализирует стиль «Войны и мира». Здесь основной прием Толстого, вокруг которого вертятся все наблюдения Шкловского, сводится к приему «остранения», т. е. «выведения вещи из обычного восприятия». Об этом приеме нам поведал Шкловский давно (см. сб. «Поэтика», вып. II, Петр. 1917 г., ст. «Искусство как прием»). С тех пор этот термин прочно вошел в научный обиход, но в работе о Толстом Шкловский настолько им злоупотребляет и так широко его толкует, что он покрывает почти любой прием не только Толстого, но и всякого другого писателя.

Стр. 96—прием повторения у Толстого сводится к остранению: стр. 108: «передача события через героя, как один из методов остранения» (целая глава): здесь остранено все—и Наполеон, и «то общество, которое он хотел реабилитировать», и «бой», который «остраняется традиционным небом», и «словесное остранение через слова неумеющего говорить по-русски командира», и театр, и церковная служба и т. д. и т. д. Деформация исторических источников (гл. VIII) тоже, как мы уже указывали, сводится у Шкловского нередко к остраненному пересказу. В главе IX о языке романа «Война и мир» мы опять сталкиваемся с приемами остранения: иностранный язык в тексте романа связан с тем же пресловутом остранением, а «для увеличения остранения иностранной речи она дается в русской обработке» (стр. 214), для остранения Толстой пользуется «транскрипцией» (стр. 216) и т. д. и т. д. «Толстовское остранение мало может быть оценено, как метод характеристики героя»,— пишет Шкловский,—оно вообще метод характеристики события» (стр. 114).

После такого расширенного толкования термина «остранение» возникает вопрос, не является ли художественное творчество по существу целиком остранением жизненного материала, и можно ли что-либо в художественной литературе, в частности у Толстого, вынести за скобки «остранения»? На анализе стиля «Войны и мира» Шкловский сам уничтожает теоретическую ценность термина, введенного им в науку.

Не будем останавливаться на отдельных приемах (снижение, пародирование), о которых мельком говорит Шкловский, и которые вырываются им случайно и произвольно из общей ткани романа, несмотря на то, что на странице 100 он грозно предостерегает литературоведов не заниматься отдельно, например, вопросами пор-

трета в «Войне и мире» и советует «видеть вещь в механизме целого или, вернее, видеть, как она создает механизм целого.

Не будем подробно останавливаться на отдельных спорных, а порой просто неправильных утверждениях Шкловского, как, например, о литературном прототипе Наташи — Авроре Флайд из английского романа «Мистрис Браддон» (стр. 229), о том, что «акцентированные приметы» имеют у Толстого только второстепенные действующие лица, а главные в этом не нуждаются (стр. 101; а «неуклюжий», «толстый» Пьер, «глядящий сквозь очки», «лучистые глаза» княжны Марии или ср. в «Воскресении» «косящие глаза» Катюши, в «Анне Карениной» «черные, вьющиеся волосы» Анны и т. д.); о необъясненных терминах вроде «военный писатель», в применении к Толстому.

По поводу каждого из этих учреждений, гипотез, незаконченных намеков, словом, «отрезков» мыслей можно спросить.

Насквозь спорна и неубедительна глава о языке «Война и мира». Правда, сам Шкловский оговаривается, что это «общие замечания» в постановке вопроса. Но даже и общие замечания нельзя строить так без оказательно, как это сплошь и рядом делает Шкловский. Приведем только два примера.

1) «Традиция, на которой ощущался толстовский язык,—это традиция тургеневская» (200 стр.), Толстой «отталкивается» от Тургенева. Это положение преподносится в виде аксиомы. Между тем, это пока только гипотеза и довольно сомнительная, требующая доказательства. Почему от Тургенева, а не от других современников или предшественников?

2) Речь Толстого Шкловский рассматривает как «речь унтерскую, офицерскую» (стр. 202). Раньше всего важно было бы установить, в чем особенности этой речи (со стороны лексики, синтаксиса, семантики и т. д.), а затем доказать это на анализе языка «Войны и мира». Вместо этого Шкловский дает отрывок из письма Дружинина и 3 строчки отзыва другого современника Толстого — Навалихина, воспринимающих язык Толстого, как речь «безграмотного офицера» и «ограниченного унтер офицера». Привлечение мнений современников — вещь полезная и интересная, когда они служат подтверждением выводов, полученных на оснований исследования материала. Заменой же последнего они ни в коем случае служить не могут.

Разюмируем сказанное: отсутствие цельности книги сочетается с поверхностностью, схематизмом и спорностью анализа Шкловского. К числу положительных сторон книги надо отнести:

1) Привлечение большого и интересного подчас материала - высказываний современников о «Войне и мире», но, к сожалению, Шкловский иногда чересчур загружает книгу этими цитатами и еще больше нарушает четкость своего анализа.

2) Очень интересны иллюстрации—карикатуры с надписями из журнала «Искры» конца 60-х годов, характеризующие восприятие романа современниками Толстого, но некоторые из них даны, к сожалению, в отрыве от текста.

3) Отдельные свежие интересные наблюдения о романе, разбросанные по всей книге (напр., прием характеристики персонажей), отдельные замечания о вытеснении материала, связанные с классовой принадлежностью Толстого, нетоторые замечания о самом Толстом (в гл. I), иногда вносящие какую-то новую точку зрения, в разрез с традиционной, установившийся; но они настолько случайны и не связаны между собой, что тонут в общем хаосе книги.

Надо еще отметить, что почему-то Шкловский пренебрегает эпистолярным материалом. Между тем, ряд писем Толстого к жене, к Фету и другим имеет непосредственное отношение к работе Толстого над «Войной и миром», в частности по вопросам истории.

В общем анализ книги Шкловского еще раз убеждает, что научные исследования, иостроенные и широком материале,—не «к лицу» Шкловскому, не являются его жанром. Фельетонный острый стиль, легкое перескакивание мысли с одного предмета на другой—характерные черты всего, выходящего из-под пера Шкловского—гораздо более уместны в критических и полемических статьях, чем в научных исследованиях.

Отдельные главы работы Шкловского были напечатаны до выхода книги в журналах (напр., «Новый Леф», за 1927 г. № 10, за 1928 г. № 1, 2, 4, 5, 6, «Звезда» 1928 г. № 6, «Чип» 1928 г. № 14, 36.)

Л. Поляк.

А. Матьез. Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. Автор. пер. с франц. Госиздат. Москва 1928. Стр. 467. Тир. 4000. Ц. 4 руб.

Рассматриваемая книга входит в состав издаваемой Институтом Маркса и Энгельса социально-исторической библиотеки, посвященной истории пролетариата и его классовой борьбы. Новая книга А. Матьеза представляет одно из выдающихся произведений исторической литературы, посвященных Великой французской революции. Не будучи марксистом, Матьез фактически применяет в своей работе историко-материалистический метод. Вопрос о максимуме цен он рассматривает не только с политической, но и с социально-экономической стороны, положив в основу своего исследования огромный фактический материал, показывающий, как тесно борьба политических партий была связана с экономическими отношениями и с борьбой различных общественных классов. Особенно много места уделено в работе Матьеза выступлениям народных масс и характеристике тех левых идеологических течений, которые выражали стремления и интересы этих масс, в особенности «бешеным», а также «эбертистам». В книге Матьеза мы ощущаем первые содрогания тех социальных слоев, которые впоследствии дали начало коммунизму.

Сам Матьез не всегда делает определенные выводы из сообщаемых им материалов. Но собранные им факты сами по себе дают основание для заключения о характере политических партий, шумно толпившихся на авансцене французской истории того времени, и об их социальной подоплеке. Якобинцы выражали настроения революционной мелкой буржуазии (да и то ее верхушечных слоев), но находились под влиянием буржуазной идеологии. Словесные нападки на «алчную» буржуазию, напр., в устах Сен-Жюста и отчасти Робеспьера, шли рука об руку с политикою, выгодною для капиталистов (свобода торговли и т. п.). Напротив, «бешеные», особенно Жак Ру, выражали требования и стремления низших слоев мелкой буржуазии плюс рабочих («простонародья»), которые в то время во многом совпадали, особенно в области вопросов потребления. Агитация «бешеных» против конституции 1793 г., этого высшего выражения мелкобуржуазной революционной демократичности, была подсказана им пролетарским инстинктом, ибо эта конституция, утверждавшая принцип частной собственности, несмотря на теоретически вносимые в него ограничения, была по существу благоприятна для спекулянтов, ростовщиков, вообще для «новой аристократии» капитала, явившейся на смену прежней землевладельческой аристократии. Насколько верно было выдвинутое против крайних обвинение, будто роялисты поддерживали агитацию сначала «бешеных», а затем «эбертистов», трудно сказать. Сам Матьез на этот счет не высказывается. Это, конечно, было возможно и даже естественно, но этим ни в коей мере не умаляется действительный характер этого протеста городской бедноты против того обстоятельства, что все издержки революции возлагались восторжествовавшей буржуазией на плечи трудящихся масс.

Законы о максимуме, о реквизиции и т. д. навязаны были якобинцам, с одной стороны, фактическим положением вещей, превращением всей Франции в осажденный лагерь, потребностями внешнего и внутреннего фронтов, а с другой — агитацией крайних левых, отражавших эти потребности. Якобинцы сначала упирались, но активные выступления масс, страдавших от голода и недостатка предметов первой необходимости, назревание в массах новой революции, направленной на этот раз против Конвента и даже против якобинцев, принудили последних против своей воли стать на почву законодательства, ограничивавшего, а затем фактически уничтожившего свободу торговли. Максимум естественно переходил в реквизицию (вплоть до отмены семейного запаса) и в систему разверстки со всеми ее аксессуарами, как-то: обысками у торговцев и производителей продуктов первой необходимости, введением хлебных, мясных и др. карточек, организацией продотрядов

(«революционная армия»), развитием мешочничества, арестами, судами и даже смертными казнями за спекуляцию и т. д. Невольно напрашивается аналогия с историей нашей страны в эпоху «военного коммунизма» с тем только различием, что у нас победившая пролетарская революция отменила частную собственность и получила в свои руки командные высоты, тогда как буржуазная французская революция, не коснувшись принципа частной собственности, неизбежно проявила в этом отношении бессилие, колебания и в конце концов закончилась поражением.

В высшей степени характерно, что в процессе борьбы за оборону революции начали выдвигаться проекты, направленные уже и против принципа частной собственности. Чрезвычайно любопытно, что в петиции Шомета уже намечается национализация предприятий, оставленных своими хозяевами в бездействии, — мера, которая впоследствии была проведена Парижской Коммуной 1871 г. Естественно возникла мысль о трудовой повинности, которая в то время обращалась, впрочем, против рабочих (отмена воскресного отдыха, принудительная мобилизация рабочих для уборки урожая и для проведения дорог, установление максимума заработной платы и т. д.).

Крестьянин, получивший от переворота землю, опустошал городские лавки, но не хотел давать городу своих продуктов. Для борьбы с деревенской жадностью были созданы продовольственные отряды, с которыми крестьяне в целом ряде пунктов вступали в вооруженную борьбу. Тогда появились проекты устроить национальные фермы на обширных поместьях, конфискованных у эмигрантов, с тем чтобы их продукция шла на снабжение городов, производился принудительный засев земель, заброшенных своими владельцами, и т. д. Уже тогда давало себя чувствовать противоречие между революционными законами и нереволюционностью государственного аппарата, призванного их применять. Не только местные власти, но и эмиссары Конвента, сплошь и рядом саботировали революционные законы. И недаром Сен-Жюст принужден был меланхолически заявить, что «законы революционны, но исполнители их не революционны», и угрожать, что власть народа в конце концов поставит на колени монархическое меньшинство и будет властвовать над ним по праву завоевателя. Этого, впрочем, сделано не было, что и обусловило конечное поражение революции.

Рабочие и низшие элементы городского простонародья не были еще достаточно организованы и классово сознательны чтобы определенно выразить свою волю, выставить свою собственную программу, отличную от программы мелкобуржуазных якобинцев и настоять на ее осуществлении. Правда, они кое-где добились улучшения своего положения, пустив в ход пролетарское оружие коалиции и стачки (против которых якобинские власти мобилизовали жандармов, производили аресты и т. п.). Но в конце концов первая атака пролетарской политической экономии против буржуазной не увенчалась успехом. В то время как эти элементы (беднота и ее идеологи — сначала «бешеные», затем «эбертисты») шли налево, якобинцы во главе с Робеспьером уклонялись вправо. Нападки на торговцев и богачей, которые раздавались из рядов левой оппозиции и которые инстинктивно выражали протест против частной собственности, отвергались якобинской верхушкой, объявившей их проявлением контрреволюции и началом разложения общества. Торговец перестал считаться врагом, а за публичные нападки на торговцев виновники их уже стали подвергаться аресту. Еще до термидора революция повернула направо, и неудивительно, что 9 термидора парижские рабочие в большинстве остались равнодушными к развернувшейся на их глазах решительной схватке между робеспьеровцами и термидорианской коалицией, готовившейся поставить революции точку.

Матьез резюмирует свое исследование следующими словами: «Отныне ничто не препятствовало безличной и невидимой диктатуре владельцев реальных ценностей. В этом смысле можно сказать, что издержки революции наряду с духовенством и эмигрантами нес и народ. Буржуазия, которая едва не была экспроприирована во II году, в конце концов увеличила свою мощь с помощью инфляции. Благодаря инфляции она почти за бесценок приобрела земли духовенства и эмигрантов. При помощи

инфляции она победила своих внешних и внутренних врагов. Инфляция дала ей возможность дешево оборудовать свои военные заводы. С помощью инфляции французская буржуазия на целое столетие приручила беднейшие классы народа».

Этот вывод честного исследователя естественно повергает в бешенство современную французскую буржуазию. Пресса объявляет Матьеза большевиком и возмущается тем, что такие идеи преподаются в Сорбонне с разрешения государства и под покровом университета. Но это только доказывает, что в лице Матьеза историческая наука становится на верный путь и подходит к изучению еще далеко не освещенной французской революции с правильной классовой точки зрения. Правда, многие его выводы не убедительны, многие оценки с нашей точки зрения неправильны. Тем не менее его работу можно приветствовать как приступ к исследованию запутанных событий французской революции с помощью материалистического метода, единственно способного разъяснять действительный ход этого великого исторического события, его характер и движущие причины.

Ю. С.

Список книг, полученных редакцией на отзыв с 15 по 31/XII 1928 г.

Госиздат

Николин А., О внутренней торговле, 238 стр., 1 р. 40 к.

Горький М., О писателях-самоучках, 71 стр., 25 к.

Бескин Эм., История русского театра, 240 стр., 2 р. 75 к.

Гетель Ф. (перевод с польского М. Троповской с предисловием Феликса Кона), Изо дня в день, 279 стр., 1 р. 65 к.

„Летопись марксизма", журнал, №№ IV и V. „Записки института К. Маркса и Ф. Энгельса", 1927 г., 159 стр., 1 р. 50 к.

„Печать и революции" книга 7, 1928 г., 235 стр., 2 р.

Каутский К., Сочинения, том I, под ред. Д. Рязанова, Экономические работы, часть I, 393 стр., 3 р.

„Труды публичной библиотеки им. Ленина", Письма Толстого и к Толстому (юбилейный сборник), 325 стр., 3 р.

Владиславлев И. В., Литература великого десятилетия (1917 — 1927 гг.), том I, 300 стр. 5 р.

Маяковский В., Собрание сочинений, том I, 356 стр., 3 р.

Его же, Собрание сочинений, том II, 342 стр., 3 р.

Гаузнер, Невиданная Япония (очерки), 123 стр., 80 к.

Воронский А., Литературные портреты, том II, 327 стр., 2 р. 80 к.

Лежнев А., Литературные дни, 319 стр., 2 р. 50 к.

Гриц Т., Тренин В., Никитин М. (под редакцией Шкловского и Эйхенбаума), Словесность и коммерция (Книжная лавка Смирдина), 373 стр., 3 р.

Тачалов Ив., Мрачная повесть (с предисловием Горького), 170 стр., 1 р. 20 к.

Садовской Борис (романы приключений, „Круг"), Приключения Карла Вебера, 141 стр., 75 к.

Перевод с немецкого, Цедербаума В. О., Месть молодого Ме, или чудо вторичного цветения (роман из китайской жизни, „Круг"), 291 стр. 1 р. 50 к., пер. 20 к.

Менделеев Д. И. (по воспоминаниям Озаровской О. Э.), 163 стр., 1 р. 15 к., пер. 20 к.

Гессен С. и Модзалевский Л., Разговоры Пушкина, 300 стр., 2 р. 25 к., пер. 25.

Пестюхин А. Тундра, стихи, 103 стр., 1 р. 25 к., перепл. 10 к.

Новиков Иван, В гостях у себя, рассказы, 254 стр., 1 р. 80 к., пер. 20 к.

Замятин Евг., Уездное, повести, театр, 255 стр., 1 р. 75 к., пер. 25 к.

„Землч и фабрика"

Скотт Вальтер, Веверлей, роман, 468 стр., 2 р. 25 к.

Его же, Приключения Нигеля, роман, 440 стр., 2 р.

Его же, Айвенго, роман, 536 стр., 2 р. 25 к.

Его же, Ламермурская невеста, роман, 280 стр., 1 р. 40 к.

Катаев В., Отец, сборник рассказов, 317 стр., 2 р.

Ширяев Петр, Цикута, сборник, 174 стр., 1 р. 25 к.

Зенкевич М., Поздний пролет, роман, 102 стр., 1 р. 40 к.

Верн Жюль, Пятьсот миллионов, роман, 279 стр., 2 р.

Его же, Упрямец Керабан, роман, 283 стр., 1 р. 70 к.

Островер Л., Лечебница Рикарди, роман, 252 стр., 2 р.

„Альманах", № 3, 346 стр., 2 р. 50 к.

Володин С., О чем стучит колотушка, 136 стр., 90 к.

Олеша Ю., Три толстяка, роман для детей, 188 стр., 2 р. 90 к.

Денис Рис (перевод с английского А. А. Гавриловой с предисловием Д. Петровского), Засохший корень, 247 стр., 1 р. 40 к.

Мугуев, Хаджи-Мурат, Смерть Николы Бунчука, 163 стр., 1 р. 30 к.

Евдокимов Ив., Гнезда, роман, часть I, 541 стр., 3 р. 75 к.

Его же, Грозовые облака, роман, 286 стр., 2 р. 25 к.

Купер Фенимор, Колония на кратере, морские львы, 228 стр., 1 р. 25 к.

Дрейзер Теодор, (перевод с английского Вершининой З., пред. Динамова С. С.), Титан, роман, 681 стр., 3 р. 50 к.

„Федерация"

Соколов-Микитов Ив., Морские рассказы, Собр. соч., том I, 284 стр., 1 р. 90 к.

Жувенель Анри (новости иностранной литературы), Бурная жизнь, роман, Мирабо, 343 стр., 1 р. 20 к.

Понч Петро (перевод с украинского), Голубые эшелоны, 409 стр., 2 р. 30 к.

„Прибой"

Панфилов Евг., На седьмом этаже, стихи, 53 стр., 75 к.

Медведев, Формальный метод в литературоведении (Критическое введение в социологическую поэтику), 231 стр., 3 р.

Эйхенбаум, Лев Толстой, книга I, пятидесятые годы, 416 стр., 4 р.

Дюртен Люк (перевод с французского Н. Рыковой и Г. Рубцовой, под ред. Сверчкова), Голливуд, роман, 197 стр. 1 р.

Ванек Карл (перевод А. Г. и Г. А. Зуккау), Приключения бравого солдата Швейка, часть 5, 258 стр., 1 р. 35.

Манн Генри (перевод с немецкого Л. А. и В. А. Шполянских, под ред. Г. А. Зуккау), Счета жизни, 174 стр., 75 к.

Сборник под редакцией Скворцова-Степанова, под редакцией и с предисловием Арк. Ломакина, Ленин о Чернышевском, 128 стр., 75 к.

„Московский рабочий"

Клебер К. (перевод с немецкого Войтинского), Пассажиры III класса, роман, 254 стр., 1 р. 75 к.

Алексеев Михаил, Атаманщина, роман-хроника в 3 частях, 488 стр., 3 р. 50 к.

Шолохов М., Тихий Дон, часть 4 („Роман-газета"), 46 стр., 25 к.

„Октябрь", журнал, № 11, 189 стр., 1 р. 40 к.

Мопассан Г., Рассказы из жизни крестьян, 160 стр., 1 р.

Олещук, ред. Ральчевича В. Н., Школа и воспитание активных атеистов, 124 стр., 55 к.

Тверской педагогический институт

Горький Максим, Сборник статей, 57 стр., 25 к.

Книгоиздательство писателей

Лившиц-Кротонский, Полдень, стихи, 134 стр., 1 р.

„Academia"

Петников Г., Ночные молнии, 4-я книга стихов, 76 стр., 90 к.

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский, Вс. Иванов, С. Канатчиков, Ф. Раскольников, В. Фриче.

Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСИЗДАТ РСФСР

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1929 г. на журнал литературы, искусства, критики и библиографии. 9-й год издания

ПЕЧАТЬ и РЕВОЛЮЦИЯ

В 1929 году особенное внимание будет обращено на развитие отделов:

Под редакцией ***Вяч. Полонского***

При ближайшем участии А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА и М. Н. ПОКРОВСКОГО

С переходом на ежемесячный выпуск журналу удастся быстрее откликаться на текущие вопросы литературного движения. Курс на талантливую ученую молодежь является для нашего журнала неизменным. Общий объем журнала остается прежним.

В 1929 году ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ

1. Теории литературы (методология изучения литературы, теоретическая поэтика).
2. Теоретического искусствоведения.
3. Истории литературы (статьи и исследования).
4. Критики современных искусств и литературы.
5. Обозрения современных искусств и литературы в СССР и за границей. Особое место уделяется литературе и искусству народов СССР.

Применение марксистского метода при изучении и критике литературных явлений—руководящая задача журнала. В журнале кроме того будут широко поставлены:

6. Дискуссионный отдел. Отражение методологических исканий, характеризующих современное литературное движение. К участию в этом отделе будут привлечены представители существующих школ и направлений.
7. Материалы и документы по истории литературы и революции. Не опубликованные переписки, мемуары, произведения деятелей литературы и революции.
8. Библиографические обзоры новейшей литературы СССР и Запада.
9. Отзывы о книгах.
10. Хроника литературной и культурной жизни СССР и других стран.

ЖУРНАЛ БУДЕТ ИЛЛЮСТРИРОВАН

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год — 12 руб.,
на 6 м.—6 р. 50 к.,
на 3 м.—3 р. 75 к.

Цена отдельного номера—1 р. 50 к.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ: МОСКВА, центр, Ильинка, 3. Госиздат, тел. 4-87-19. ЛЕНИНГРАД, пр. 25 Октября, 28, Ленотгиз, тел. 5-48-93. В отделения, магазины и киоски Госиздата, уполномоченным, снабженным специальными удостоверениями, во все киоски Всесоюзного контрагентства печати, во все почтово-телеграфные конторы, а также письмоносцам.